

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В О П Р О С Ы Я З Ы К О З Н А Н И Я

ГОД ИЗДАНИЯ
IX

3

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—1960

СОДЕРЖАНИЕ

А. С. Мельничук (Киев). Следы взрывного ларингального в индоевропейских языках	3
Эмилио Перуцци (Флоренция). Структура и язык минойских надписей	17

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

[А. Н. Гвоздев.] О звуковом составе морфем	28
Об образовании восточнославянских национальных литературных языков	42

Обсуждение русского этимологического словаря М. Фасмера

В. Н. Топоров (Москва). О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа	44
О Н. Трубачев (Москва). Об этимологическом словаре русского языка	60

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Ян Станислав (Братислава). Из истории словацкого языка	70
Р. М. Фрумкина (Москва). Статистическая структура лексики Пушкина	78
И. И. Ревзин (Москва). О сильных и слабых противопоставлениях в системе падежей современного немецкого языка	82
Е. А. Крашенинникова (Москва). Ирреальная модальность в немецком языке	86
К. И. Бахман (Тарту). К вопросу о грамматических способах в эстонском языке	91
Д. М. Насилов (Самарканд). К вопросу о перифрастических формах глагола в древнетюркских языках	93
М. Ш. Ширалиев (Баку). Об этимологии деепричастной формы на -ыбан, -ибан, -убан, -үбан	98

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

З. М. Волоцкая (Москва). Установление отношения производности между словами (опыт применения трансформационного метода)	100
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

В. В. Каракулаков (Сталинабад). «Studii și cercetări lingvistice» (I—X)	108
---	-----

Рецензии

В. М. Иллич-Свитыч, Г. К. Венедиктов (Москва). <i>Ї. О. Дзендзелівський. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР (Лексика)</i>	116
Фр. Славский (Краков). «Атлас болгарских говор в СССР»	121
С. А. Копорский (Москва). <i>L. Kjellberg. La langue de Gedeon Krinovskij, prédicateur russe du XVIII siècle, I</i>	125
Т. М. Николаева (Москва). <i>A. Kent. Machine literature searching and translation- an analitical review.</i>	130
А. З. Розенфельд (Ленинград). <i>М. Ф. Фазылов. Изобразительные слова в таджикском языке</i>	131
О. С. Ахманова (Москва). «On Translation»	133

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Над чем работают ученые	136
Хроникальные заметки	141
А. А. Зонов (Москва). Первый опыт машинного перевода с русского языка на китайский	154
Л. А. Покровская (Москва). Первые итоги развития гагаузского литературного языка	154
А. С. Аманжолов (Алма-Ата). О языке казахстанских гагаузов	156
Н. Раджабов (Самарканд). Об изучении узбекских говоров	157
Новые издания	158
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию	160

А. С. МЕЛЬНИЧУК

СЛЕДЫ ВЗРЫВНОГО ЛАРИНГАЛЬНОГО В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Принятая в расшифрованных хеттских клинописных памятниках система письма не имеет специального знака, который свидетельствовал бы о наличии в хеттском языке взрывного ларингального с такой же очевидностью, с какой в этой системе отражается заднеязычный *h(h)*. Однако некоторые особенности хеттского правописания не могут быть поняты иначе, как косвенное обозначение взрывного ларингального. Речь идет прежде всего о довольно последовательно применяемом и не зависящем от несовершенства хеттской клинописной графики повторном написании гласных в известных формах хеттских слов — написании, не получившем единого и удовлетворительного объяснения.

Повторное написание гласных в начале хеттских слов, которым в других индоевропейских языках соответствуют слова с краткими начальными гласными (например, *e-eš-har* «кровь» — санскр. *ásrk*, греч. *ἄρ*, латыш. *asins*; *e-eš-zi* «есть» — лат. *est*, греч. *ἔσσι*, ст.-слав. *ѣстѣ*; *a-ar-ra*, реже *a-ra* «сзади, снова» — греч. *ἀπό*, санскр. *ара* и т. п.), иногда объясняют тенденцией клинописи к тому, чтобы «закрытыми» знаками (типа *eš*, *ar* и т. п.) после «открытых» знаков (типа *še*, *ra*, в том числе и после *e*, *a*) обозначать только конечный согласный в слове¹. Но такое объяснение, вполне удовлетворительное для ряда написаний, оказывается неубедительным в случаях чередования типа *e-eš-zi*: *a-ša-an-zi* или *e-it-mi* «ем», *e-iz-zi* «ешь» (*-it-*, *-iz-* произносится как *-et-*, *-ez-*): *az-za-aš-te-ni* «едите», *a-da-an-zi* «едят»². Этому чередованию в родственных языках соответствует чередование начального *e-* с нулем в этимологически тождественных формах: ср. ст.-слав. *ѣстѣ*: *сѣмѣ*, санскр. *ásti*: *sánti*; лат. *edo* «ем»: *dens* «зуб», санскр. *admi* «ем»: *dant-* «зуб». Э. Х. Стертевант считает, что хеттские написания в данном случае, как и в параллельных примерах с начальными согласными перед изменяющимся гласным, отражают чередование гласного полного образования *e* со ступенью редукции *ь*³. Предположение Э. Х. Стертеванта само по себе возражений не вызывает, но вместе с тем оно и не объясняет, почему хеттские формы, соответствующие в данном случае формам с начальным кратким гласным в других индоевропейских языках, пишутся с удвоением этого гласного. Для объективного решения вопроса о значении двойного написания начального гласного в хеттском языке необходимо учесть, что ряд других слов, начинающихся с гласного, независимо от качества начального слога, последовательно пишутся в хеттских памятниках без удвоения; например: *e-ku-zi* «пьет», *a-ku-ua-an-zi* «пьют», *ak-ku-uš-ki-iz-zi* «попивает», *ak-ku-uš-kan-zi* «попивают»; *an-na-aš*. *an-na* «мать», *at-ta-aš*, *at-ta*, *ad-da-aš-ša-an* «отец»; *ar-nu-uz-zi* «несет», *ar-nu-an-zi* «несут» и т. п.

¹ Н. Р e d e r s e n, Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen, København, 1948, стр. 4.

² К двум приведенным примерам можно присоединить аналогичное чередование *e-ip-zi* «берет»: *ar-ra-an-zi* «берут», но здесь дело усложняется тем, что в других индоевропейских языках соответствующий глагол обнаруживает чередование *i* (= *ə*?) с *ā* (лат. *apiscor*: **co-ēpi* (>*coepi*), санскр. *āpnoti* «потучает»).

³ Е. Н. S t u r t e v a n t, A comparative grammar of the Hittite language, Philadelphia, 1933, стр. 98—99; Е. Н. S t u r t e v a n t, Е. А. H a h n, A comparative grammar of the Hittite language, New Haven, 1951, стр. 33.

мое в качестве примера подобного обозначения долготы аккадское слово *be-e-el* «господин» представляет собой сравнительно позднее видоизменение корня *b'l* со значением «покорять, овладевать», слово *ru-u-ku* «далеко» восходит к корню *r'k* и т. п. (ср. аккад. *zibu* «волк» из *zi'bu*, *abut* «я уничтожал» из *a'but* и пр.). Под влиянием форм с долготами, образовавшимися в результате ослабления ларингального, двойное написание гласного могло распространиться в аккадском письме и на случаи с долготами другого происхождения. Что же касается хеттского языка, то в нем установить прямое соответствие между двойным написанием гласных и их долготой вовсе невозможно¹¹. С другой стороны, чисто внутренние признаки хеттского письма свидетельствуют о том, что написание двойных гласных внутри и в конце хеттских слов по своему значению несколько не отличается от двойных написаний гласных в начале слов и представляет собой, по аналогии с аккадским письмом более раннего периода, обычное стражение ослабленного смычного ларингального после соответствующего краткого гласного перед другим гласным или перед согласным.

Одним из наиболее веских доказательств отражения хеттского взрывного ларингального согласного внутри слова являются случаи с двумя следующими друг за другом неодинаковыми гласными, в которых оказываются возможными параллельные написания с удвоением то первого, то второго из этих гласных. Например: *na-a-iš* и *na-i-iš* «обращал, посылал», *na-a-ir* и *na-i-ir* «они обращали, посылали», *da-a-ir* и *da-i-ir* «они брали», *da-ma-a-iš* и *da-ma-i-iš* «другой», *ta-ma-a-in* и *ta-ma-i-in* «другого». Отмечая некоторые из подобных случаев, Х. Педерсен рассматривает их как указания на двусложный (не дифтонгический) характер сочетаний соответствующих двух гласных, в частности как отражение влияния между двумя гласными¹². Но если понимать влияние именно как отсутствие какого-либо согласного звука между соседними гласными, то предположение Х. Педерсена вряд ли можно считать полностью удачным. Отмеченные параллельные написания свидетельствуют прежде всего о том, что удвоение на письме предыдущего гласного в положении перед начинающим следующий слог отличным от него гласным *i* (*e*) равнозначно удвоенному написанию следующего гласного в начале нового слога. Поскольку же удвоенное написание гласного в начале внутреннего слога представляет собой тот же самый прием, который в начале первого слога является отражением ослабленного смычного ларингального, то и внутри слова подобное написание вместе с параллельным ему удвоением предшествующего гласного невозможно понимать иначе, как обозначение такого же ослабленного взрывного ларингального. Так же должны быть расценены и все случаи повторного написания гласного внутри слова перед согласными и в абсолютном конце слова. Как уже отмечалось, подобное звуковое значение двойного написания внутренних гласных признается и для аккадской системы письма. При этом возможно, что в части соответствующих хеттских написаний отражается рефлекс еще одного ларингального — придыхательного¹³, но для проверки этого предположения пока что нет надежных данных.

Важное значение для определения звукового характера ларингального согласного, обозначаемого внутри слова двойным написанием предшествующего гласного, имеет тот факт, что при непосредственном соприкосновении такого ларингального со следующим согласным он имеет свойство сливаться с этим согласным, иногда, по-видимому, вызывая его удлинение (удвоение). Так, например, встречаются параллельные написания: *da-a-at-tin* и *da-at-tin* «берите», *te-e-te-ni* «говорите» и *te-iz-zi* «говорит»,

¹¹ См.: E. H. Sturtevant, A comparative grammar of the Hittite language, стр. 61—64; его же, The Indo-Hittite laryngeals, Baltimore, 1942, стр. 33; H. Kronasser, Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen, Heidelberg, 1956, стр. 29, 35—37; иначе H. Pedersen, указ. соч., стр. 164.

¹² H. Pedersen, указ. соч., стр. 38, 88.

iš-da-a-pi и *iš-tap-pi* «запирает», *ḫu-u-ki-iš-kan-zi* и *ḫu-uk-ki-iš-kan-zi* «про-
 клинают», *še-e-ša-an-zi* «спят» и *še-eš-zi* «спит», *ḫa-a-ši* «открывает» и
ḫa-aš-ša-an-zi «открывают», *la-a-ḫu-i*, *la-a-ḫu-wa-i* «льет» и *la-aḫ-ḫu-tin*
 «лейте» (ср. *la-ḫu-uh-ḫi* «льют») и др. Сюда же следует отнести и случаи,
 в которых ассимиляция взрывного ларингального следующему согласному
 происходит в условиях редукции предшествующего гласного: *da-a-i*
 «берет»: *tum-me-ni* «берем»; *da-a-i* «кладет, ставит»: *ti-it-ta-mi* «ставлю,
 сажаю»¹³. Хендриксен считает, что подобные явления представляют
 собой лишь варианты написаний, не отражающие каких-либо особенностей
 в произношении¹⁴. В действительности же эти факты убедительно свиде-
 тельствуют о смычном характере ларингального, который по своей
 природе легче других согласных поддается ассимиляции соседним звукам.
 Это подтверждается, в частности, и сравнением с соответствующим звуком
 аккадского языка, который тоже часто подвергался ассимиляции со
 стороны соседних согласных¹⁵.

Таким образом, сопоставление отдельных особенностей хеттской
 клинописной системы между собой и с особенностями непосредственно
 связанной с ней системы аккадского письма дает возможность сделать
 вывод о наличии в хеттском языке II тысячелетия до н. э. ослабленного
 взрывного ларингального, который обозначался дополнительным напи-
 санием гласного перед соответствующим гласным (в начале слога) или
 же после него. Этот вывод подтверждается сравнением фактов хеттского
 языка с родственными фактами других индоевропейских языков.



Данные других индоевропейских языков, представляющие прямые
 соответствия или несомненные параллели отражениям взрывного ларин-
 гального в хеттской письменности, относятся преимущественно к поло-
 жению ларингального внутри слова. В основной массе индоевропейских
 языков исторического периода исчезло не только различие между рефле-
 ксами отдельных ларингальных в начале слов, но и сами эти рефлекс-
 ы, оставив свой след, по-видимому, лишь в окраске начальных гласных. Тем
 не менее имеются веские доказательства в пользу того, что в более ранние
 периоды развития всех индоевропейских языков им были свойственны ла-
 рингальные согласные в начале слов перед гласными. Известно, например,
 что в древнегерманской поэзии с характерными для нее аллитерациями
 начальных согласных смежных ритмических отрезков стиха вместо алли-
 терирующих одинаковых согласных могли выступать гласные, в том чис-
 ле и совершенно разные. Эти случаи объясняются тем, что в период созда-
 ния таких стихов перед начальными гласными в соответствующих местах
 звучали исчезнувшие впоследствии согласные звуки, которые и создавали
 аллитерацию¹⁶. Этими согласными могли быть только ларингальные,
 которые вовсе не обязательно должны были сохранять старые различия
 между собой¹⁷. Возможно, что отдельные ларингальные в германских
 языках исчезли еще раньше, другие же ларингальные — вероятнее всего,
 именно взрывной ларингальный или его ослабленный рефлекс — распро-

¹³ О связи между *da-a-i* и *ti-it-ta-mi* см. Н. К r o n a s s e r, указ. соч., стр. 180 (сноска).

¹⁴ H. H e n d r i k s e n, Untersuchungen über die Bedeutung des Hethitischen für die Laryngalthorie, Kóbenhavn, 1944, стр. 39.

¹⁵ Ср. A. U n g n a d, указ. соч., стр. 8. 44—45.

¹⁶ См. L. L. H a m m e r i c h, Laryngeal before sonant, Kóbenhavn, 1948, стр. 34 (со ссылками на работы специалистов).

¹⁷ Отвергая предположение о гортанной смычке как аллитерирующем элементе в древнегерманской поэзии, В. П. Лёман исходит главным образом из того, что гортанная смычка не обозначалась на письме и не установлена для общегерманского сравнительно-историческим путем. Ни эти, ни другие его аргументы не доказывают отсутствия гортанной смычки в период формирования древнегерманской аллитерации (см. W. P. L e h m a n n, The alliteration of Old Saxon poetry, Oslo, 1953, стр. 18—22).

странились на все слова с начальными гласными¹⁸. В свете фактов из древнегерманской поэзии не исключена возможность, что сильный приступ, характерный для начальных гласных в современном немецком языке, представляет собой продолжение древнего взрывного ларингального, распространившегося тем или иным путем также и на место других начальных ларингальных.

Что касается рефлекса индоевропейского взрывного ларингального внутри слова, то, помимо хеттского, он сохраняется наиболее отчетливо в современном латышском языке в виде гортанной смычки, характерной для латышской прерывистой, или ломаной, интонации, которая своим общим движением тона приближается к интонации нисходящей¹⁹.

После работ Я. Эндзелина по данному вопросу, первая из которых вышла в 1900 г., стало обычным объяснение латышской прерывистой интонации как особой разновидности длительной (т. е. древней акутовой) интонации, развившейся в латышских словах, в прошлом имевших подвижное ударение. Однако соответствие латышской прерывистой интонации литовскому подвижному ударению при акутированном корне (именно на этом основана теория Эндзелина) заметно преобладает только в именах существительных на -o-, между тем как в именах существительных на -a- и в именах прилагательных такое преобладание отсутствует²⁰. В теории Эндзелина остается необъясненной и внутренняя природа предполагаемой им связи между прерывистой интонацией и подвижностью ударения в слове с акутом на корне. Приведенная у К. Буги схема развития прерывистой интонации в виде *kēlma's* → *cēlma's* (*hēlma's?*) → *cēlmas* → *cēlms* (пшшется *cēlms*)²¹ производит впечатление сконструированной только под влиянием положения Эндзелина, а не на основании определенных общезвонических закономерностей.

Е. Курилович справедливо отвергает предложенное Эндзелином объяснение латышской прерывистой интонации как недостаточно обоснованное. Но выдвинутое Куриловичем утверждение о связи латышской прерывистой интонации с балто-славянской окситонезой не более убедительно, чем положение Эндзелина, так как фактически Курилович только подставил под литовское подвижное ударение, на котором основывалось положение Эндзелина, предполагаемую более древнюю окситонезу²². В действительности некоторая связь между латышской прерывистой

¹⁸ Ср., впрочем, частые написания так называемого протетического *h* в древневерхненемецких памятниках: (*h*)*uns* «uns», (*h*)*ūze* «aussen», (*h*)*arbei*t «Arbeit», (*h*)*erda* «Erde» и др.

¹⁹ Подробное артикуляционно-акустическое описание латышской прерывистой интонации см. в книге: R. Ekblom, Die lettischen Akzentarten, Uppsala, 1933; см. также П. Шмидт, Тройная долгота в латышском языке, сб. ОРЯС, т. LXVII. № 2, 1899; J. Endzelin, Über den lettischen Silbenakzent, «Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen», Bd. 25, Hf. 3—4, Göttingen, 1900, стр. 259—273; е го же, Latviešu valodas gramatika, Rīga, 1951, стр. 34—45, с библиографией. Проводимое в работах Р. Экблома утверждение о факультативном и приводящем характере гортанной смычки в латышской прерывистой интонации, призванное подкрепить основное положение Экблома об эмфатическом происхождении прерывистой интонации в латышском, как и гортанной смычки (*stōd*) в датском, представляется малоубедительным. Отмечаемый Экбломом факт отсутствия гортанной смычки в значительной части случаев произношения прерывистой интонации (ср. аналогичные характеристики прерывистой интонации в работах H. Schmidt-Wartenberg, *Phonetische Untersuchungen zum lettischen Akzent*, IF, Bd. X, Hf. 1, 1891, стр. 117 и сл. и А. П. Абеля, Об акцентуации ударенных простых гласных в латышском языке, ИОРЯС, т. XX, кн. 2, 1915, стр. 152 и сл.) представляет собой лишь обычное ослабление гортанной смычки, более или менее последовательное в различных говорах.

²⁰ См. J. Kuryłowicz, L'accentuation des langues indo-européennes. 2-e éd., Wrocław — Kraków, 1958, стр. 195, 339—342, где недостатки положения Эндзелина рассматриваются более подробно. См. также N. van Wijk, Die baltischen und slawischen Akzent- und Intonationssysteme, Amsterdam, 1923, стр. 20—21.

²¹ К. Буга, Lietuvių kalbos žodynas, 1 sąsiuvas, Kaunas, 1924, стр. XXX.

²² См. J. Kuryłowicz, L'accentuation des langues indo-européennes, стр. 341—342 и др.

интонацией и подвижностью ударения в литовском (а может быть, и предполагаемой балто-славянской окситонезой) вполне возможна. Но факты говорят о том, что результатом здесь следует признать не прерывистую интонацию, а скорее подвижность или конечное расположение ударения.

Сопоставление хеттских слов, имеющих согласный *h(h)* внутри слова, в том числе после сонорных, с родственными словами латышского языка обнаруживает соответствие хеттских сочетаний с *h(h)* латышским гласным или дифтонгическим сочетаниям с длительной интонацией. Например: хет. *iš-ḥi-ya-an-zi* «вяжут», *iš-ḥa-a-i* «вяжет» — латыш. *saīte* «завязка». *sēta* «забор»; хет. *me-ḥur*, род. падеж *me-ḥu-na-aš*, «время дня» — латыш. *mēnesis* «месяц»; хет. *še-e-ḥur* «моча» — латыш. *sēkla* «семя», *sēt*, *sēju* «сеять, сею»²³; хет. *wa-al-aḥ-zi* «бьет. валит. нападает, вредит», *wa-al-ḥa-an-zi* «бьют» — латыш. *vāļāt*, *vēl* «валяют» (но *vēlu* «валял»); хет. *ar-ḥa* «прочь», *ar-ḥi* «во дворе» — латыш. *ārā* «на дворе»²⁴.

Аналогичные соответствия с длительной интонацией в латышском наблюдаются и в случаях с древними сочетаниями гласных, которые в хеттском должны были заключать в себе плавный переход от первого элемента ко второму в виде согласного призвuka *j* или *u*, передаваемого обычно на письме отдельным знаком. Ср.: хет. *šu-ū-e-el*, *šu-ū-i-il* «веревка» — латыш. *šūt* «шить»; хет. *im-mi-ya-aḥ-zi* «мешает» — латыш. *maīnīt* (но *mīt*) «менять» (ср. санскр. *mayate* «меняет»). Возможно, что сюда же следует отнести соответствие хет. *iš-pi-ja-an-zi* «насыщаются». *iš-pi-ya* «ты насыщался» и т. п. — латыш. *spēt*, *spēju* «мочь, могу»; в таком случае форма *iš-pa-a-i* «насыщается», указывающая обозначением взрывного ларингального на отсутствие в ней плавного перехода к *i*, должна быть объяснена как результат влияния форм *da-a-i*, *la-a-i* и т. п., в которых взрывной ларингальный входит в состав корня.

Совершенно иначе обстоит дело с латышскими соответствиями в тех случаях, когда хеттские написания указывают на наличие взрывного ларингального в основе слова. Такие слова в латышском языке довольно последовательно обнаруживают прерывистое ударение. Например: хет. *da-a-i* «берет», *da-a-an-zi* «берут», *da-a-aḥ-ḥu-un* «я брал», *da-a-aš* «он брал», *da-a-u-en* «мы брали», *da-a-ir* «они брали», *da-a* «берп» и т. п. — латыш. *dôt*, *dōmu* «дать, даю», *dāvana* «подарок» (хотя *dāvāt* «дарить»); хет. *da-a-i* «кладет», *da-a-iš* «ты клал, он клал», *da-a-ir*, *da-a-i-e-ir* «они клали», *da-a-ū* «пусть кладет» и т. п. — латыш. *dēt*, *dēju* «нести, класть (яйца)»; хет. *(ū-)wa-a-tar* «вода» — латыш. *ūdr(i)s* «выдра»; хет. *ka-ra-a-pi* «пожирает», *ka-ri-e-pi-ir* «они пожирали» — латыш. *grābt*, *grābu* «хватать, хватаю»; хет. *la-a-ši* «развязываешь, распрягаешь», *la-a-i* «развязывает», *la-a-an-zi* «развязывают», *la-a-ū-un* «я развязывал», *la-a-u-an* «мы развязывали» — латыш. *lauzt*, *laužu* «ломать, ломаю», *lūzt*, *lūztu*, *lūžu* «ломаться», *lauška* «черепок» и т. п.; хет. *pa-ra-a* «вперед», *pa-ra-a-i* «посылает вперед» — латыш. *prōjam* (*prōm*) «вон, прочь». Взрывному ларингальному корня, отраженному в удвоенном *-a-* хеттских написаний *la-a-ḥu-i*, *la-a-ḥu-wa-i* «льет», соответствуют латышские формы с прерывистой интонацией *liētus* «дождь», *līt*, *līstu* «идти дождю», представляющие собой, как показывает их огласовка, образования с отличным от хеттского расширением корня²⁵ и именно поэтому не обнаруживающие дли-

²³ К этимологии см. Н. Нендриксен, указ. соч., стр. 34.

²⁴ Хеттскому *h* закономерно соответствует длительная интонация во втором слоге латышского слова *ārā*. Долгота начального *a-*, отраженного в латышском *ārā*, в хеттском не находить себе никакой параллели (возможно, в силу редукции одного из гласных элементов). Что касается латышских слов *āit* «пахать», *ārkis* «плуг, соха» и родственных им слов других индоевропейских языков, то их связь с латыш. *ārā*, хет. *ar-ḥa* представляется крайне сомнительной прежде всего по соображениям семасологическим.

²⁵ Ср. В. Я. Иванов, Проблема ларингальных в свете данных древних индоевропейских языков Малой Азии, «Вестник МГУ». Ист.-филол. серия, 1957, № 2, стр. 37.

тельной интонации, которая бы соответствовала хеттскому *h*. Хеттским формам *ka-ra-a-az* «сердце» и *wa-ra-a-ni*, *ú-ra-a-ni* «горит», *wa-ra-a-ni*, *ú-ra-a-ni* «пуст горит» с взрывным ларингальным, отраженным в письме на фоне сохранившегося гласного после *r* (ср. *u-ur-ri-ir* «они горели» с редукцией гласного после *r*), соответствуют латышские формы *sirds* «сердце» и *virt*, *veidu* «кипеть, киплю» с редукцией гласного после *r*, но с последовательно сохраненным рефлексом ларингального в виде прерывистой интонации сонорного. Возможно, что удвоение *l* в хеттских формах *iš-gal-la-i*, *iš-kal-la-i*, *iš-kal-la-a-ri* «калечит, рвет, раскалывает (?)», *iš-kal-li-iš-sar* «калечение» указывает на такое же видоизменение взрывного ларингального после *l*, как в форме *u-ur-ri-ir*, поскольку в латышском соответствии *šk'el't* (*šk'el'u*) выступает прерывистая интонация. Возможно также, что именно взрывной ларингальный или его видоизменение отражается в хеттских написаниях с удвоенным согласным после *-ya-* (ср. *i-ya-at-la*, *i-ya-at-la-ri*, *i-ya-ad-da-a-ri* «идет», *i-ya-ad-du-ma* «идет», *i-ya-aḥ-ḥa-ri* «иду», *i-ya-aḥ-ḥa-at*, *i-ya-aḥ-ḥa-ḥa-at* «я шел» и т. п., которым в таком случае соответствует латыш. *jāt*, *jāju* «ездить, езжу верхом»). Хеттским написаниям *iš-da-a-pi* (*iš-dap-pi*) «запирает; откладывает в запас» соответствует лишь часть родственных латышских форм — *stāt*, *stāju*, *apstāt*, *apstāju*, *stātiēs*, *stājōs* «перестать, перестаю», между тем как формы *stāvēt* «стоять», *stārs* «крутой», *stādīt* «сажать» представляют отклонение. Однако показательно то, что среди имеющегося материала не обнаруживается ни один пример такого соотношения, при котором хеттскому двойному написанию гласного внутри или в конце слова соответствовал бы латышский корень, не имеющий хотя бы части форм с прерывистой интонацией, между тем как подавляющее большинство таких соответствий представляет прерывистую интонацию без каких-либо частных отклонений²⁶.

Приведенные соответствия между хеттским и латышским языками дают, таким образом, основание утверждать, что характеризующая латышскую прерывистую интонацию гортанная смычка представляет собой прямой рефлекс индоевропейского взрывного ларингального (а может быть, и двух взрывных ларингальных). Превратившись постепенно в чисто интонационный признак, эта смычка обнаружила способность распространения и на такие слова с близкой по звучанию нисходящей интонацией, в которых взрывного ларингального никогда не было. Так, в значительной части говоров латышского языка (в части Курляндии и в Западной Видземе) нисходящая интонация сплась в соотношении с прерывистой²⁷, что и послужило причиной длительного игнорирования латышской нисходящей интонации в лингвистических исследованиях XIX — начала XX в.²⁸ Сопоставление фактов латышского языка с данными из литовских говоров показывает, что прерывистая интонация имела место также и в литовском языке еще после распада литовско-латышского единства. В северо-западной части жемайтских говоров все акцентированные в прошлом ударные слоги, произносимые в остальных современных литовских говорах (в том числе и соседних с указанными жемайтскими) как нисходящие, обнаруживают прерывистую интонацию, тождественную

²⁶ Несоответствия обратного порядка, т. е. наличие прерывистой интонации в латышском при отсутствии повторного написания гласных внутри слова в хеттском, иногда встречаются. Ср.: латыш. *ēst*, *ēdu* «есть, ем», *ēdesis* «корм для свиней», *ēde* «пшай», *ōds* «комар» при хет. *e-it-mi* «ем», *e-za-az-zi* «ест», *e-te-ir* «они ели» и т. п.; латыш. *iēt*, *iēmi* «идти, иду» при хет. *i-it* «иди», *e-ḥu* «ну»; упомянутое выше латыш. *ārā* «на дворе» при хет. *ar-ḥa* «прочь». Но эти несоответствия нельзя признавать решающими по ряду соображений: в хеттском наличие ларингального могло не отразиться вследствие редукции предшествующего гласного, в латышском могло иметь место образование по звуковому составу корня несколько отличное от хеттского, и т. п.

²⁷ См. J. E n d z e l i n, *Latviešu valodas gramatika*, . . . 1951, стр. 39—40.

²⁸ См. N. v a n W i j k, *Die baltischen und slavischen Akzent- und Intonationssysteme*, стр. 19.

в целом с прерывистой латышской²⁹. В этих говорах латышским словам с прерывистой интонацией последовательно соответствуют родственные слова с такой же прерывистой интонацией. В остальных говорах литовского языка все слова, имеющие в жемайтском прерывистую интонацию, в том числе и соответствующие латышским словам с прерывистой интонацией, произносятся с нисходящей интонацией. Это значит, что в литовском языке в период превращения старых акутированных долгот в нисходящие и старых циркумфлектированных долгот в восходящие сохранялись еще как особая разновидность произношения слоги с гортанной смычкой, которые впоследствии, превратившись в интонационную разновидность (как и в латышском), слились с нисходящей интонацией; но в отличие от латышского языка, в котором нисходящая интонация представляла собой оттенок циркумфлекса, литовская нисходящая интонация к этому времени оказалась уже рефлексом старого акута. Если бы интонация слогов с гортанной смычкой слилась в литовском с нисходящей интонацией как таковой еще тогда, когда нисходящее произношение было свойственно циркумфлектированным слогам, прерывистая интонация (рефлекс гортанной смычки) совпала бы в литовском не с акутированной, а с циркумфлектированной, и тогда Эндзелину пришлось бы рассматривать прерывистую интонацию в латышском как особую разновидность не акута, а циркумфлекса. Случайное совпадение рефлексов гортанной смычки в литовском с рефлексами старого акута привело Эндзелина к ошибочному заключению о происхождении латышской прерывистой интонации из старой акутированной.

Факт совпадения прерывистой интонации как в латышских, так и в литовских говорах с нисходящей интонацией, независимо от ее происхождения, со всей очевидностью указывает на то, что основным и наиболее существенным признаком прерывистой интонации по сравнению с другими интонациями балтийских языков является подчеркиваемое многими исследователями разделение слога на более сильную часть — до смычки и более слабую, нередко произносимую шепотом. — после смычки³⁰. Такая характеристика прерывистой интонации не имеет ничего общего с искусственно выделяемым у Экблома моментом резкого повышения тона и силы давления воздуха до момента смыка. Именно на этом частном признаке латышской прерывистой интонации Экблом основывает свое утверждение о возникновении прерывистой интонации в латышском, как и гортанной смычки в датском, из особенно сильного повышения тона, которое якобы должно было иметь место при произношении некоторой части акутированных ударных слогов³¹.

Что касается датской гортанной смычки (*stød*), то говорить о ее происхождении пока что труднее, чем о происхождении балтийской прерывистой интонации, поскольку датский *stød* нигде не сохранился в качестве особой разновидности произношения определенных слогов, отличной от известных в датском двух интонационных типов (1-й и 2-й акцент). В тех датских говорах, где сохраняется различие этих двух типов и вместе с тем имеется *stød*, этот последний оказывается связанным с 1-м акцентом, за исключением односложных слов с долгими гласными или сочетаниями кратких гласных с последующими звонкими согласными, где *stød* высту-

²⁹ G. Gerullis, *Litauische Dialektstudien*, Leipzig, 1930. стр. XLI—XLII. XXVIII—XXIX и др.; ср. также J. Aleksandravičius, *Kirtis ir priegaidė Kretingos tarmėje*, сб. «Lietuvių kalbotyros klausimai», I, Vilnius, 1957. стр. 104.

³⁰ Ср. J. Endzelin, *Über den lettischen Silbenakzent*, стр. 260; его же *Latviešu valodas gramatika*, стр. 34; G. Gerullis, *Litauische Dialektstudien*. стр. XLI—XLIV; K. Būga, *Lietuvių kalbos žodynas, sąsiuvinis I*. Kaunas. 1924. стр. XXIV (§§ 21—22).

³¹ R. Ekblom, *Die lettischen Akzentarten*. стр. 49 и др.; ср. его же, *Zur Entstehung und Entwicklung der slavo-baltischen und der nordischen Akzentarten*, Uppsala, 1930.

пает всегда³². Ввиду такой связи гортанной смычки с 1-м акцентом обычно считается, что датский *stǿd* представляет собой в большинстве диалектов лишь видоизменение 1-го акцента³³. Учитывая, однако, даваемую в специальных работах характеристику 1-го акцента современного датского языка как в основном нисходящего, а 2-го — как в основном восходящего, а также соответствие *stǿd*'а циркумфлексовой интонации в говорах, не знающих *stǿd*'а³⁴, ни в коем случае нельзя обойти молчанием параллелизм этой связи с рассмотренной только что связью прерывистой и нисходящей интонаций в балтийских языках. Поэтому не исключена возможность, что и датский *stǿd* представляет собой рефлекс взрывного ларингального, смешавшийся впоследствии с 1-м акцентом и распространившийся на некоторые другие звуковые формы.

*

Вывод об общиндоевропейском происхождении прерывистой интонации латышского языка, т. е. о сохранении в ней рефлекса древнего взрывного ларингального согласного, усматриваемого также и в хеттских удвоенных написаниях гласных, подтверждается сравнением фактов латышского и, частично, хеттского языков с фактами других индоевропейских языков — именно славянских и греческого.

Некоторые особенности славянской акцентологии представляют собой замечательные соответствия рассмотренным здесь явлениям балтийских языков. В литературе давно уже отмечаются факты отклонений в характере интонации части славянских слов от установленного де Соссюром положения о том, что долгие индоевропейские монофтонги в славянском, как и в других индоевропейских языках, должны иметь акутированную интонацию; кроме того, указываются многочисленные расхождения между славянскими и литовским языками в интонировании краткостных дифтонгических сочетаний с сонорными. Вместо ожидаемого или представляемого соответствующими литовскими словами акута, в ряде славянских слов древнего происхождения обнаруживается циркумфлекс³⁵. Перечислив такие примеры несоответствий между славянской и балтийской интонациями [литов. *gyvas* — сербско-хорв. *živ* (ср. *žir*); литов. *galva* (*gálvą*), латыш. *galva* — сербско-хорв. *glava* (*glāvu*); латыш. *dziļna* — чакав. *žunā*; литов. *klėtis* — сербско-хорв. *kljjet*; литов. *kūjis* — словен. *kîj*; литов. *lėnas* — сербско-хорв. *lîjen*; литов. *nūogas*, латыш. *nuōgs* — сербско-хорв. *nâg*; литов. *pėnitis* — сербско-хорв. *pėta* (*pėtu*); литов. *rūožas* — сербско-хорв. *râz*; литов. *rėžas* — словен. *rêz*; литов. *sūnus* (*sūnu*) — сербско-хорв. *sîn*; литов. *valtis* — словен. *vlât* (род. падеж *vlati*); литов. *vėidas* — сербско-хорв. *vîd* (при *vidjeti*, чакав. *vîd*); литов. *jāunas* — словен. *jûn*], Х. Станг справедливо указывает, что перечисленные им примеры слишком многочисленны, чтобы их можно было признать случайными³⁶. Еще меньше оснований для признания этих несоответствий случайными становится, если к ним прибавить следующий ряд несоответствий из области гла-

³² См. Е. Кроман, *Musikalsk Akcent i Dansk. med Tillæg: Svenske Indvandringer i Danmark i Oldtiden*, «Acta philologica Scandinavica. Tidsskrift for nordisk Sprogforskning», Bd. 20, Hf. 1—2, 1949 (обл. 1947), стр. 41, 53 и др.

³³ См. об этом, например, J. Kuryłowicz, *L'accentuation des langues indoeuropéennes*, стр. 402. Историю разработки вопроса см. в 1-й и 8-й главах упомянутой работы Э. Кромана (стр. 5—24 и 148—173).

³⁴ См. Е. Кроман, указ. соч., стр. 42, 49—50, 169—171.

³⁵ А. Мейе, О некоторых аномалиях ударения в славянских именах, РФВ, т. XLVIII, № 3—4, 1902, стр. 193—200; Ch. Stang, *Slavonic accentuation*, Oslo, 1957, стр. 9, 23—24, 134 и др. Часть соответствующих случаев Н. Ван-Вейк рассматривал среди примеров предполагаемой им древней метатонии акута в обычный циркумфлекс и циркумфлекса в обычный акут (объяснение этой метатонии он считал в свое время невозможным). См. N. van Wijk, *Die baltischen und slavischen Akzent- und Intonationssysteme*, стр. 92.

³⁶ Ch. Stang, указ. соч., стр. 9.

голов (особенно в формах аориста, причастия на *-lъ* и супина ³⁷) и отглагольных образований: литов. *dôti, dôja, dovanà (dôvaną)* — сербско-хорв. *dâm, dâš, dâ, dân (dât)*, аорист 2-го — 3-го лица *dâ, dâr*, чакав. *dâl* (при сербско-хорв. *dâti, dào*, аорист 1-го лица *dâh* и т. п.); литов. *êsti, êda, êdzios* «кормушка» (при *êdis, êdalis* «корм») — сербско-хорв. *jêm, jêš, jê*, чакав. *jén* (новый акут); литов. *bûti, bûsimas* «будущий», *bûstas* «помещение» (при *bûtas* «квартира», *bûva* «бывает») — сербско-хорв. аорист 2-го — 3-го лица *bî*, причастие *bît, bîv-i*, чакав. *bîl* (при *bîti*, аорист 1-го лица *bîh* и т. п.); литов. *lieti, lieja* «лить», *lyti* «дойти» (при *lyja* «идет дождь») — сербско-хорв. аорист 2-го — 3-го лица *li*, причастие *lît, lîo*, словен. супин *lît* (при сербско-хорв. *liti*, аорист 1-го лица *lih* и т. п.); литов. *výti* «вить» (при *výturas* «бинт») — сербско-хорв. аорист 2-го — 3-го лица *vî*, словен. супин *vît* (при сербско-хорв. *viti*, аорист 1-го лица *vîh* и т. п.); литов. *siûti* «шить», *siûlas* «нитка» — сербско-хорв. аорист 2-го — 3-го лица *ši* и *ši* (при *šiti*, аорист 1-го лица *ših* и т. п.); литов. *stôti, stonas* «стоящие» — сербско-хорв. *stân, stâna* (при *stâti* и т. п.); литов. *smirdzu* «воняю», *smarge* «вонь» — сербско-хорв. *smrâd*, русск. *смород*; литов. *bëgti, bëgu* «бежать» (при *bëgis* «бег») — сербско-хорв. *bîjeg*; литов. *mérkti, mërkia* «закмурить глаза» — сербско-хорв. *mrâk*, русск. *морок*; литов. *grâuzti* «грызть» — сербско-хорв. аорист 2-го — 3-го лица *grîze* «грыз», *grîz* «укус». Ср. также сербско-хорв. *zvîjer (zvêr)* при литов. *žvêrîs (žvêrî)*; сербско-хорв. *sâd*, словен. супин *sêst* и соответствующее ему литов. *sôdas* с циркумфлексом на долгом монофтонге; словен. *vidra* при сербско-хорв. *vidra*, литов. *ûdra* и некоторые другие более частные случаи.

Все эти случаи отклонения в характере интонации в славянском, заключающиеся в наличии циркумфлексированной интонации либо на долгих монофтонгах, либо на дифтонгах и дифтонгических сочетаниях, имеющих в литовском акутовую интонацию, единого объяснения до сих пор не получили. Отклоняющуюся циркумфлексированную интонацию в именах существительных А. Мейе поставил в зависимость от древней подвижности ударения, свойственной части соответствующих слов как в общеславянском, так и в балтийском³⁸. Таким образом, объяснение особенностей интонации особенностями в расположении ударения, выдвинутое Я. Эндзелем (вслед за Ф. де Соссюром) для латышского языка, было перенесено А. Мейе (без какого-либо указания на связь с латышскими интонациями) также и на славянские языки. К объяснению Мейе присоединяются другие исследователи, хотя внутренние причины принимаемой таким образом зависимости остаются для славянских языков настолько же неясными, как и для латышского языка в гипотезе Эндзелина. При этом часть отклонений, обнаруживающуюся в сербско-хорватских односложных формах аориста, Станг объясняет псевшим якобы место влиянием форм с древними дифтонгами **vitъ, *litъ, *pitъ* на формы *vî, lî, pî*, которые в свою очередь повлияли на *dâ, bî*, а В. А. Дыбо — предполагаемым конечным ударением в параллельных двусложных формах аориста типа *бытъ, дасть*, принимаемых за древние³⁹.

В качестве одного из доказательств совершившегося в прошлом перемещения конечного ударения Л. А. Булаховский постоянно указывает на параллелизм между отклоняющейся от общего правила циркумфлексовой интонацией долгих монофтонгов в части славянских форм и преры-

³⁷ Подробный анализ материала, отражающего интонационные особенности славянских супинов, причастий на *-lъ* и т. п., см. в статье: L. B u l a c h o v s k i j, Die Intonation des slavischen Supinums, ZfslPh, Bd. IV. Hf. 1—2, 1927. стр. 69—83. Новый систематический обзор славянских глагольных форм с отклоняющейся циркумфлексовой интонацией дается в статье: В. А. Дыбо, О древнейшей метатонии в славянском глаголе, ВЯ, 1958, № 6, стр. 53—62.

³⁸ А. Мейе, указ. соч.

³⁹ Ch. S t a n g, Slavonic accentuation. стр. 134—135; В. А. Дыбо указ. соч., стр. 61—62.

впистой интонацией родственных латышских слов⁴⁰. Действительно, из 22 найденных в латышском языке соответствий к перечисленным славянским корням 19 корней имеют прерывистую интонацию, так что всего лишь 3 корня в латышском [латыш. *klēis* (сербско-хорв. *kljjet*), *leñs* (сербско-хорв. *ljjen*) и *šūt* (сербско-хорв. *šj*)] указывают на отклонение славянской циркумфлексовой интонации от древней акутовой, обнаруживаемой при исследовании литовского языка. Что же касается указанных 19 случаев циркумфлексовой интонации, соответствующих прерывистой интонации в латышском [ср. сербско-хорв. *živ*, *žir* — латыш. *dzīvs* «живой», *dzīt* «закрывать», *dzīvāt* «жить», *dzīve* «жизнь»; сербско-хорв. *glāru* — латыш. *galva*; чакав. *žunā* — латыш. *dziļna*; словен. *kij* — латыш. *kaūt* «закалывать, бить», но *kūja* «палка»; сербско-хорв. *nāg* — латыш. дпал. *niōgs* «голый»; словен. *jūn* — латыш. *jaiūns* «новый, молодой»; сербско-хорв. *dām*, *dā*, *dār* — латыш. *dāt*, *dōmu* «дать», *dōvana* «дар», ср. хет. *da-a-i*, *da-a-aš*; сербско-хорв. *jēm*, чакав. *jén* — латыш. *ēst*, *ēdu* «есть»; сербско-хорв. *bi*, *bīt*, *bīcši*, чакав. *bīl* — латыш. *būt*; сербско-хорв. *li*, *līt*, *līo* — латыш. *līt* «идти дождю», *lēju* «лью», хет. *la-a-lu-i*; сербско-хорв. *vi*, словен. *vīt* — латыш. *vīt* «вить»; сербско-хорв. *stān* — латыш. *stāt*, *apstāt* «перестать», хет. *iš-da-a-pi*; сербско-хорв. *smrād* — латыш. *smīrdet* «вонять», *smārša* «запах»; сербско-хорв. *bieg* — латыш. *bēgt*, *bēgu* «бежать»; сербско-хорв. *mrāk* — латыш. *mīrkškināt* «моргать»; сербско-хорв. *grīz* — латыш. *grāižt*, *grāižu* «грызть»; сербско-хорв. *zvijer* — латыш. *zvērs*; сербско-хорв. *sād*, словен. *sēst* — латыш. *sēdēt*, *sēzu* «сидеть»; словен. *vidra* — латыш. *ūdri(s)*, хет. *(u-)wa-a-tar*], то они, вместе взятые, являются свидетельством того, что и славянским языкам до определенного периода их развития был свойствен рефлекс индоевропейского взрывного ларингального, который впоследствии, превратившись в чисто интонационную разновидность, как и в балтийских языках, слился с наиболее близкой к нему по звуковой природе нисходящей (циркумфлексовой) интонацией⁴¹. При этом возможное в таких случаях перемещение конечного или подвижного ударения с конечного слога на слог, становившийся затем циркумфлексированным, как раз и могло быть связано с процессом ослабления смычного ларингального и превращения двух предударных в прошлые слоги, разделенных ларингальным, в один слог.

Отсутствие в славянских языках последовательности в проведении циркумфлексовой интонации, соответствующей латышской прерывистой, по всем формам, производным от корней, обнаруживающих эту интонацию в части случаев, говорит скорее всего о том, что рефлексация взрывного ларингального в виде циркумфлексовой интонации долгих монофтонов здесь осуществлялась лишь в каких-то специальных условиях, пока что остающихся неясными.

*

Славянские языки не сохранили с достаточной четкостью различия между взрывным и фрикативным ларингальными в рефлексации сочетаний этих ларингальных с предшествующими *r*, *l* (в том числе с *r*, *l* слоговыми, т. е. находящимися в положении между редуцированными гласными). Независимо от качества следовавшего за *r* или *l* ларингального славянские языки в большинстве таких случаев, как и при рефлексации сочета-

⁴⁰ L. B u l a c h o v s k i j, Die Intonation des slavischen Supinums, стр. 73—77; Л. А. Булаховский, Акцентологический закон А. А. Шахматова, сб. «А. А. Шахматов. 1864—1920», М.—Л., 1947, стр. 422 и др. Ср. также упомянутую статью В. А. Дыбо.

⁴¹ А. Вайан, выдвинувший верное в принципе положение об отражении следов исчезнувшего ларингального в индоевропейских интонационных различиях, допускает необоснованное смещение фрикативного и взрывного ларингальных при объяснении индоевропейской и, в частности, балто-славянской акутовой интонации (см.: A. V a i l l a n t, Le problème des intonations balto-slaves, BSLP, t. XXVII, fasc. 2. 1936, стр. 109—115; е го же, Grammaire comparée des langues slaves, t. I, Lyon—Paris, 1950, стр. 238—246.

ний ларингальных с предшествующими гласными, представляют акут, и только часть форм, соответствующих латышским формам с прерывистой интонацией, получает в славянском циркумфлексовую интонацию. Ср., с одной стороны: латыш. *raīna* — сербско-хорв. *grāna*; латыш. *maīl* — сербско-хорв. *mlēti*; латыш. *miīt* — сербско-хорв. *smīt*; латыш. *ziīnis* — сербско-хорв. *zīno*; латыш. *piīns* — сербско-хорв. *pūn* и, с другой стороны, латыш. *saīds* — сербско-хорв. *slādak* (но *slād*); латыш. *aīt* — сербско-хорв. *rātar*; латыш. *siīds* — сербско-хорв. *šīce*, но латыш. *saīna*, *saīt* — сербско-хорв. *hlād* (при *hlādnīk*, *hlādnokīvan*); латыш. *saīgs* — сербско-хорв. *strāža*, русск. *стόрож*; латыш. *seīde* — укр. *середá*, сербско-хорв. *srēda* и т. п. Значительно более последовательно различаются рефлексы взрывного и фрикативного ларингальных после *r* и *l* в греческом языке.

Известно, что присоединение ларингального к сочетанию гласного с *r* или *l* в греческом, как и в некоторых других индоевропейских языках, создавало двусложные звуко сочетания типа *ara*, *ala* и т. п.⁴² Однако до сих пор не установлено, почему в одних случаях такие двусложные звуко сочетания, являющиеся составными частями так называемых двусложных основ, имеют после сонорных гласный *a*, в других же случаях — гласные *e* или *o* (например, *κέραμος* «глина», *γέρανος* «журавль», *ῥέλαδος* «шум», но *ῥερεδρον* «пропасть». *ῥέλεμον* «боевая секира», *ῥερεδρον* «соха» и др.). Г. Хирт, не рассматривающий в своих работах индоевропейских ларингальных, считал единственно закономерным рефлексом индоевропейского *a* после *r*, *l* в таких сочетаниях греческую *a*, между тем как гласные *e* и *o* он вслед за И. Шмидтом рассматривал как результат ассимиляции⁴³. Характер различных сочетаний, в которых выступают гласные *e* или *o* после *r*, *l* в таких греческих формах, далеко не всегда дает возможность усмотреть источник предполагаемой Хиртом ассимиляции (например, *μαλέρς*, *πέλομαι*, *ῥροτήρ*); также в случае сохранения *a* не всегда можно сказать, почему *a* не подвергается ассимиляции (например, *κέραμος*, *τελαμών* и др.)⁴⁴. М. Грамон все такие *e* в конце двусложных основ в греческом считает тематическими гласными, в которых *a* растворяется⁴⁵. Значительно убедительнее объясняется различие в огласовке второго слога этих греческих звуко сочетаний характером произосившихся некогда в соответствующем положении ларингальных, рефлексy которых устанавливаются путем сравнения греческих форм с соответствующими латышскими и хеттскими.

Сопоставление показывает, что гласный *a* после *r*, *l* в рассматриваемых греческих сочетаниях выступает в тех основах, которым в латышском языке соответствуют формы с длительной интонацией в дифтонгических сочетаниях с *r*, *l*, а в хеттском — формы с согласным *h* после *r*, *l*. Ср.: *κέραμος* «горшечная глина» — латыш. *saīms* «щелок»; *γέρανος* «журавль» — латыш. *dzeīce* «журавль»; *μαρανσις*, *μαρασμός* «истощение, исчезновение» — латыш. *miīt* «умирать»; *σκέραφος* «брань, злословие» — латыш. *škiīt* «разделять», *škiīrba* «щель»⁴⁶; *μαλαός* «мягкий» — латыш. *maīl* «молоть», *miīti* «мука»; *ῥέλαμος* «намыш, стебель, солома» — латыш. *saīms* «соломина», *salmi* «солома»; *ῥέλας* «свет, огонь», *τελαγέω* «освещаю, жгу» — латыш. *svēlme* «жар, зной», *sviīt* «гореть, пылать»; *τελαμών* «перевязь, ремень», *τελαφος* «корзинка, плетенка» — латыш. *tiīts* «мост»⁴⁷.

⁴² W. P. Lehmann, Proto-Indo-European phonology. Austin, 1955, стр. 86—90, 93; A. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, стр. 242 и др.

⁴³ H. Hirt, Der indogermanische Vokalismus. Heidelberg. 1921, стр. 121.

⁴⁴ Ср. также E. Schwyzer, Griechische Grammatik. Lief. 1, München. 1934, стр. 362.

⁴⁵ M. Grammont, Phonétique du grec ancien, Lyon, 1948, стр. 316—319.
⁴⁶ См.: H. Hirt, указ. соч., стр. 130; A. Walde, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, hrsg. und bearb. von J. Pokorny. Bd. II, Berlin—Leipzig, 1927, стр. 574—576.

⁴⁷ Предложенная Г. Хиртом этимология *θάλασσα* «море» — литов. *dēlna*

περάς «предел», περάω «перехожу» — хет. *pár-ah-zi* «гонит». В целом в греческом не найдена ни одна двусложная основа с гласным *α* после *ρ* или *λ*, которой в латышском соответствовали бы формы с рефлексом взрывного ларингального ⁴⁸.

В отличие от двусложных основ с *α* во втором слоге, двусложные основы с *ε* и *ο* после *ρ*, *λ* оказываются в греческом регулярными соответствиями таких латышских основ, которые заключают в себе рефлекс взрывного ларингального, т. е. характеризуются прерывистой интонацией. Ср.: ζεῖν «пропасть» — латыш. *dzeīt* «пить»; ὄροτῆ-«пахарь», ὄροτρον «соха», ἄροσις «пашня» — латыш. *ārt* «пахать», *ārklijs* «плуг», соха ⁴⁹; μαλῆρός «сильный, могучий» — латыш. *mīl̥zīs* «великан», *mīl̥zi* «нарывать»; στέλεχος «нижняя часть ствола, пень» — латыш. *stul̥ms* «пень»; κολόφον «вершина» (κολωνός «высота, холм») — латыш. *kal̥ns* «гора», *cel̥t* «поднимать» ⁵⁰; βέλεμνον «боевая секира» (ср. βελόνη «копье, пгла» — латыш. *dzel̥'u* (*dzel̥'i?*) «жалить» ⁵¹. Единственное обнаруженное исключение из приведенного ряда соответствий составляет греч. ἐρέτιον «весло» (ср. ἐρέτης «гребец», ἐρέσσα «гребу») при латыш. *īrklijs* «весло»; впрочем второе *ε* в данных греческих формах, как и в ряде других подобных случаев, П. Персон считает тематическим гласным ⁵². Как бы ни объяснять это последнее греческо-балтийское соответствие, остается несомненной общая связь звуков *ε* и *ο* после *ρ* или *λ* во втором слоге двусложных основ в греческом и прерывистой интонации у дифтонгических сочетаний с *r*, *l* в соответствующих словах латышского языка, на основании чего должна быть признана рефлексация индоевропейского взрывного ларингального в обоих случаях.

*

Совокупность приведенных данных из индоевропейских языков — хеттского, балтийских, славянских и греческого — сама по себе оказывается вполне достаточной для обоснования положения о том, что в индоевропейских языках сохраняется рефлекс взрывного ларингального, отличный от рефлекса ларингального щелевого. Убедительность этого положения еще более возрастает при сопоставлении результатов, добытых путем изучения одних индоевропейских фактов, с выводами, полученными Г. Меллером и А. Кюни, которые исходили преимущественно из данных

(латыш. *del̥na*) «ладонь» (по аналогии к связи πέλαγος «море» — παλάμη «ладонь») кажется слишком сомнительной. См. Н. Нирт, указ. соч., стр. 117.

⁴⁸ Греческие слова ὑέραξ «жердь, кол», χαράσσω «острю», приводимые в связи с литов. *žirkles* (латыш. *dziūkles*) «ножницы» [см.: Н. Нирт, указ. соч., стр. 137; A. Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, 3 Aufl., Bd. I, Heidelberg, 1938, стр. 569 (под *furca*) и др.], никаких следов ларингального не представляют, поскольку вторая *α* в этих основах не является элементом двусложной базы, как думал Хирт, а входит в состав суффикса *-ak-* (см. А. А. Белецкий, Принципы этимологических исследований, Киев, 1950, стр. 129—130; P. Chantraine, La formation des noms en grec ancien, Paris, 1933, стр. 392). С другой стороны, авторитетные лингвисты вообще отрицают какую бы то ни было этимологическую связь литов. *žirkles* с греч. χαράξ (см. К. В. ð ū g a, Kalba ir senovės, Kaunas, 1922, стр. 262 п. сл.).

⁴⁹ Хет. *ar-ḥa* «на дворе» либо представляет образование, вовсе не родственное латыш. *ārt*, греч. ὄροτρον и т. п. (см. выше), либо включает в себе другое распространение корня.

⁵⁰ Г. Хирт связывает латышское слово *cel̥t* (литов. *kelti*) с санскр. *čāritum* «двигаться» и греч. τέλετῆ «завершение», τέλειо «кончаю», следовательно, и с τέλειος «окончающий» (Н. Нирт, указ. соч., стр. 120 и 117).

⁵¹ П. Персон считает второе *ε* в слове βέλεμνον тематическим гласным (P. Persson, Beiträge zur indogermanischen Wortforschung, Bd. I, Uppsala, 1912, стр. 663), а Р. Траутман сопоставляет балтийское *gel̥ti* (**gel̥iti*) не с βέλεμνον, а с германским *quellen* (R. Trautmann, Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923, стр. 83).

⁵² Р. Перссон, указ. соч., стр. 664. О понимании тематического гласного как бывшей составной части двусложной основы см.: Н. Кронассер, указ. соч., стр. 164 (сноска).

семито-хамитских языков и не знали рассмотренной здесь индоевропейской рефлексии взрывного ларингального.

Привлекая к сопоставлению с индоевропейскими языковыми фактами данные семито-хамитских языков, следует учитывать, что в случае родства отдельных корней в обеих языковых семьях эти корни могут совпадать преимущественно своими первыми двумя согласными элементами как наиболее древними корневыми частями, поскольку следующие за ними согласные элементы представляют собой более поздние образования или даже настоящие суффиксы, присоединявшиеся к корням, вероятнее всего, уже после распада предполагаемого семито-хамитско-индоевропейского единства. Поэтому для подтверждения производимой на основании индоевропейских данных реконструкции щелевого ларингального, занимающего третье место среди согласных элементов индоевропейского корня, вряд ли могут иметь серьезное значение такие приводимые у Кюни семито-хамитские или даже «ностратические» реконструкции, как семит. **malaḥ* «молоть» (ср. греч. *μαλᾶς*, латыш. *mal̥t*) или нострат. **pārāhā* «светлый, видимый» (ср. латыш. *beŗzs* «береза») ⁵³, в которых семитский щелевой ларингальный *h* соответствует рефлексам щелевого ларингального в латышском и греческом; точно так же не следует переоценивать и те случаи, в которых реконструируемые Меллером и Кюни корни содержат в качестве третьего согласного элемента взрывной ларингальный при свидетельстве индоевропейских языков о щелевом ларингальном в соответствующих словах (ср. нострат. **tālāiā* «поднимать, подвешивать» при греч. *τελᾶν*, латыш. *tīlts* или нострат. **pālāiā*/**bālāiā* и т. п. «наполнять» при латыш. *piļns*) ⁵⁴.

Подобные совпадения или расхождения в звуковом составе родственных корней могли образоваться и в результате параллельного развития индоевропейских и семито-хамитских языков после их разделения. Значительно более показательным является характер индоевропейско-семито-хамитских соответствий в тех случаях, когда речь идет о ларингальном, занимавшем второе место от начала среди согласных элементов корня. Из приведенных в книге Кюни ностратических и семитических реконструкций такого характера 4 реконструкции имеют соответствия в латышском языке. При этом две из этих реконструкций — нострат. **k^uāhā* «кашлять» и семит. **taḥan(a)* «молоть зерно» — своим щелевым ларингальным *h* подтверждают правильность положения о рефлексии щелевого ларингального в виде длительной интонации латышских слов *kāsēt* «кашлять» и *dona* «хлеб», а семит. **ṭa'a* (эфиоп. *te'ṭū* «хорошо расположенный, прямой») своим взрывным ларингальным поддерживает свидетельство об индоевропейском взрывном ларингальном в хет. *ta-a-i*. *ta-a-ū* «класть», латыш. *dēt* ⁵⁵. Что касается четвертой из аналогичных ностратических реконструкций — **mā-ā* «мать», то она кажется слишком искусственно построенной на основании семитического **ā-ma* и п.-е. **mā* ⁵⁶, чтобы можно было придавать серьезное значение возникающему при этом несоответствию предполагаемого взрывного ларингального; в этой ностратической реконструкции и рефлекса щелевого ларингального в латышском *māte* «мать».

⁵³ См. A. Cuny, *Invitation à l'étude comparative des langues indo-européennes et des langues chamito-sémitiques*, Bordeaux. 1946. стр. 121, 144.

⁵⁴ Там же, стр. 124, 142.

⁵⁵ Там же, стр. 138, 141.

⁵⁶ Там же, стр. 161.

ЭМИЛИО ПЕРУЦЦИ

СТРУКТУРА И ЯЗЫК МИНОЙСКИХ НАДПИСЕЙ *

Лингвистические проблемы, связанные с минойскими надписями (линеарное письмо А)¹, в большей своей части вряд ли смогут найти удовлетворительное разрешение до тех пор, пока эпиграфический материал останется столь скудным, как в настоящее время. Несмотря на это структура таких текстов представляется менее загадочной, чем кажется с первого взгляда. В самом деле, минойские (линеарное письмо А) и микенские (линеарное письмо Б) надписи, по крайней мере найденные на Крите, фактически относятся к одному и тому же периоду и географической среде и отображают в основном сходную экономическую основу, подразумевающую применение письма и практику счетоводства, которые по существу связаны между собой. Интерпретация микенских табличек, таким образом, в определенной мере является прочной основой для лучшего понимания структуры приблизительно 150 минойских надписей из Агия-Триады (центральная часть южного Крита)².

Ясное понимание структуры минойских надписей является необходимым условием для серьезной дискуссии относительно их языка. В связи с этим ниже будут даны образцы наиболее обычных структур, обнаруживаемых в таких текстах, а также некоторые краткие сведения о надписях, представляющих большой интерес с точки зрения культуры. Оценка определенных лингвистических элементов будет основываться на фактах только внутреннего порядка, т. е. на их точном или наиболее вероятном значении, вытекающем из структуры или характера текстов.

Не имея возможности разбирать здесь вопросы, касающиеся линеарного письма А, остановимся только на соответствии между минойскими и микенскими группами из 3—4-словых знаков, являющимися несомненно именами собственными в Агия-Триаде и в Кноссе и явно принадлежащими к домикенской ономастике Крита (это подтверждается тем, что они неизвестны в микенских текстах, найденных на материке). Указанное соответствие доказывает, что знаки одинаковой формы имеют также одинаковую фонетическую значимость в обоих видах письма. В пользу этого говорит тот факт, что большинство микенских имен такого рода отличается от своих минойских соответствий только гласным конечного слога: например, минойскому *a-ra-na-re* в кносских надписях соответствует *a-ra-na-ro*, что явно следует объяснять как результат неполной эллинизации.

... 135-1,

* Настоящая статья с некоторыми небольшими изменениями представляет собой доклад, прочитанный 3 сентября 1959 г. на Третьем международном конгрессе классических наук в Лондоне.

¹ Изданы Г. Пулесе Каррателли (G. Pugliese Carratelli): «Le iscrizioni preelleniche di Haghia Triada in Creta e della Grecia peninsulare» («Monumenti antichi», XL), 1945, стб. 421—610 [при ссылке обозначаются сокращенно НТ (Haghia Triada) и дается номер, под которым рассматриваемая надпись приводится в указанном издании]. Некоторые небольшие поправки к чтению Пулесе Каррателли содержатся в его *editio minor* — «Le epigrafi cretesi in lineare A», который в ближайшее время будет издан в качестве приложения к журналу «Minos» (Salamanca). Мою оценку недавних попыток интерпретации минойских текстов, а также некоторых вопросов, затрагиваемых в настоящей статье, см. в работе «Recent interpretations of Minoan (Linear A)», «Word», vol. XV, № 2, 1959.

² О методе параллельных текстов см. мою статью «Il minoico è indoeuropeo?» («La parola del passato», XIV, Napoli, 1959).

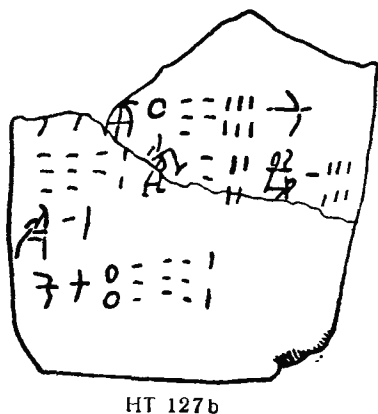
Свою транскрипцию я ограничу только указанными знаками, не отягощая ее гипотетическими значимостями, относительно которых вопрос остается открытым. В связи с этим отмечу, что моя транскрипция, помимо того, отличается от традиционной и более строгим различием знаков *i* и *no*³, которые часто имеют почти одинаковую форму и нередко путаются. Кроме того, следует также отметить, что знаку L 78a⁴, неизвестному в кноссском линейном письме А и Б, я придаю фонетическую значимость *si* (микен. *si*, с другой стороны, имеет форму, не существующую в надписях из Агия-Триады), а знаку L 79 — фонетическую значимость *ti* (этот знак в надписях из Агия-Триады является вариантом минойского знака, от которого происходит микен. *ti*). Однако следует также сказать, что значимость обоих этих знаков не представляет важности для настоящей статьи.

Одни и те же принципы написания, известные в микенском и совершенно не соответствующие его фонологической системе, существуют и

Таблица 1



Таблица 2



в минойском (ср., например, написание топонима *Phaistós* как *pa-i-to* в обеих системах письма). Это имеет место не обязательно потому, что фонологическая структура минойского была совершенно иной, а потому, что слог, а не отдельная фонема был в минойском минимальной отличительной единицей; это находит себе параллели и в некоторых современных слоговых системах письма⁵. Среди надписей из Агия-Триады наиболее интересными являются, пожалуй, списки рабов-ремесленников⁶.

Некоторые минойские знаки явно представляют собой изображение человеческой фигуры и могут быть условно классифицированы и транскрибированы, как в нашей табл. 1. Списки рабов-ремесленников обычно легко можно узнать, ибо одна или более записей⁷, входящих в та-

³ Ср.: P. Meriggi, *Primi elementi di minoico A*, Salamanca. 1956, стр. 9 и 12; е го ж е, *Zur Lesung des Minoischen (A)*, сб. «Minoica (Festschrift zum 80. Geburtstag von J. Sundwall)», Berlin, 1958, стр. 240.

⁴ При описании формы, а не фонетической или идеографической значимости минойские знаки обозначаются здесь в соответствии с общепринятой практикой буквой L (или Lc в отношении сложных знаков), сопровождаемой номером, под которым они располагаются в классификации Пулнессе Каррателли (указ. соч., стб. 464—483 и табл. 45—54).

⁵ См., например: J. Friedrich, *Noch eine moderne Parallele zu den alten Schrifterfindungen*, «Zeitschr. der Deutschen morgenländischen Gesellschaft», Bd. 95 (Neue Folge — Bd. 20), Hf. 3, 1941 (см. особенно стр. 399); е го ж е, *Zur schriftgeschichtlichen Wertung der kretischen Linearschrift B*, «Minos», vol. IV, № 1, 1956, стр. 8 и сл.

⁶ Впервые рассмотрение этой группы таблиц было дано в моей работе «Elenchi di persone da Haghia Triada» («La parola del passato», XI, 1956.)

⁷ Слово «запись» мы употребляем условно в качестве эквивалента англ. «entry», применяемого автором для передачи отдельного значимого компонента надписи.— *Прим. перевод.*

кой список, заключают в себе один из знаков, изображающих человеческую фигуру (знаки эти встречаются и в одиночку), и сопровождается цифрой, причем список завершается словом *ku-ro* (обозначающим итог), за которым непосредственно следует цифра, обозначающая сумму всех предыдущих чисел. Если учесть, что все входящие в данный список записи могут складываться, становится очевидным: все они служат для обозначения людей (это подтверждается и тем фактом, что ни за одной из подобных записей не¹ следует дробного числа). См., например,² текст НТ 127b (табл. 2):

vacat	
[	3
L 56 b	156
<i>ku</i>	82
«землекоп»	24
Lc 34	16
L 122	11
<i>ku-ro</i>	292

Таблица 3



НТ 89

Здесь наличие знака, условно транскрибируемого «землекоп» («человек, держащий какое-либо орудие»), убеждает в том, что все другие из складываемых записей изображают людей. Таким образом, отдельные знаки или группы знаков, встречающиеся в таких списках, изображают (большой частью идеографически или посредством фонетических сокращений) минойские названия видов деятельности человека. К сожалению, тексты не дают ключа к их переводу. Мы можем только предполагать, что в большинстве случаев они служат для обозначения различных ремесленников-рабов, которые упомянуты в микенских надписях (сельскохозяйственные рабочие; ремесленники, занимающиеся обработкой металла; каменщики; плотники и т. д.)³.

Среди таких обозначений людей в тексте НТ 127b находим знак L 56b. Тот же знак, но с пропуском верхней горизонтальной черты (= L 56c) предшествует списку рабов НТ 89 (табл. 3), где указанный знак служит определителем всех перечисленных там лиц:

<i>a-sa-ra</i> ₂	L 56 c	<i>ku</i>	22
	Lc 58		22
	<i>ta-i-mi</i>		10
	«крестьянин»		13
	<i>ta-ra</i>		5
	[	]	67

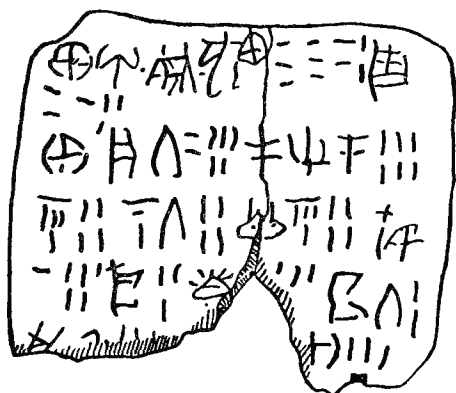
Другими словами, знак L 56b-c — существительное (или прилагательное, которое в тексте НТ 127b встречается в субстантивированном виде); условно он может быть приравнен к микен. *doelos* «раб, слуга»⁴.

Текст НТ 97a (табл. 4) имеет другую структуру. Этот текст, приводимый с соответствующими перестановками и в транскрипции в табл. 5, подразделяется на две части, отделенные друг от друга широким пробелом между первой и второй строками надписи.

¹ См. M. Ventris, J. Chadwick, Documents in Mycenaean Greek, Cambridge, 1956, стр. 122—123.

² Мне кажется, что именно такой ход рассуждения привел А. Фурумарк к аналогичному результату (См. A. Furumark, Linear A und die altkretische Sprache, II, Berlin, 1956, табл. 19).

Таблица 4



НТ 97а

Таблица 5

⊕ γ · ΑΑ · *	⊕ ::::	⊕ ::::
<i>ka-ru</i>	ΑΑ человек + <i>ka</i> 82 медь 33	
⊕ Η Λ = ::	<i>ka-nu-si</i>	25
≠ ψ ϑ ::	<i>pa-i-to</i>	6
π ::	<i>di</i>	4
ι Λ ::	<i>na-si</i>	4
ϑ π ::	<i>ma-di</i>	4
τ ϑ - ::	τ ϑ	15
ϑ ::	<i>ki</i>	3
ϑ [] ::	ϑ	5?
[Λ] :	<i>ta-si</i>	2
и т. д.		

выделялось соответствующее количество меди, за исключением тех случаев, когда медь оставалась на хранении в Агия-Триаде). По своей структуре эта часть текста обнаруживает близкое сходство с первой частью микенского текста An 35 из Пилоса¹²:

<i>to-ko-do-mo</i>	<i>de-me-o-te</i>
<i>pu-ro</i>	«человек» 2
<i>me-te-to-de</i>	«человек» 3
<i>sa-ma-ra-de</i>	«человек» 3
<i>re-u-ko-to-ro</i>	«человек» 4

¹⁰ Если L 56b и L 56b + L 56b имеют одно и то же значение, как предполагает А. Фурумарк (указ. соч.), то это означает использование в одном случае акрофонических, а в другом — исключительно (или наиболее широко) фонетических принципов при написании слова, состоящего из одинаковых слогов типа клинописн. хет. **nanas* «слуга» (IR-nas, ср. лувийск. *nanis* «слуга», *nanasris* «служанка») или соответственно слова, начинающегося двумя идентичными слогами.

¹¹ См. M. Ventris, J. Chadwick, указ. соч., стр. 352 и сл.

¹² См. там же, надпись № 41.

I. <i>ka-ru</i> · L 56b + L 56b ¹⁰ .	
«человек» + <i>ka</i> 82 «медь» 33	
II <i>ka-nu-si</i>	25
<i>pa-i-to</i>	6
<i>di</i>	4
<i>na-si</i>	4
<i>ma-di</i>	5
L 96c	15
<i>ki</i>	3
L 119	[] 3
<i>ta-si</i>	2 и т. д.

Первая часть (I) означает, что *ka-ru* является поставщиком 82 людей («человек» + *ka*) и меди в количестве 33/82 единицы веса на каждого человека (напомним о 19 медных слитках, найденных в сокровищнице виллы в Агия-Триаде). Мы имеем здесь, как и в микенских надписях, *khalkēwes talansian ekhontes* «кузнецы, у которых есть определенное количество металла для обработки»¹¹; фонетический знак лигатуры «человек + *ka*» является, очевидно, первым слогом микенского слова, соответствующего микен. *ka-ke-u* [*khalkēus*] «кузнец» (напомним о гипотезе, согласно которой как греч. *khalkōs*, так и его балто-славянские соответствия — церк.-слав. **želězo*, литов. *geležis*, латыш. *gelzis* «железо» являются заимствованиями).

Вторая часть текста (II) представляет собой список топонимов (ср. *pa-i-to* «Файстос»), за каждым из которых непосредственно следует цифра, указывающая на количество кузнецов, закрепленных за данной местностью (можно предположить, что каждому кузнецу

rikhodomoi demeontes «каменщики, которые должны строить»; «Пилос» — «по направлению к Me-le-to» — 3, «по направлению к Sa-ma-ra» — 3, *Leuktron* — 4).

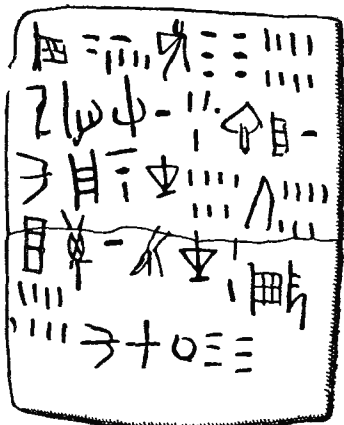
Нетрудно заметить, что из девяти топонимов, сохранившихся в минойской надписи, все семь форм, которые мы в состоянии транскрибировать, оканчиваются на *-i* с предшествующим согласным. Исключение составляет лишь *pa-i-to*; в свою очередь, *pa-i-to* в соответствии с теми принципами написания, которые были распространены в микенском, может представлять здесь форму [phaistoi].

И здесь опять нельзя не привлечь к сопоставлению структуру, подобную той, которую имеет пилосская надпись An 35. Минойские имена представляются нам в таком случае косвенными падежами на *-i* (со значениями покоя или движения по направлению к определенному месту) от топонимов, имеющих окончания *-u* или *-e*, т. е. самые распространенные окончания именительного падежа в минойском письме. Этим можно объяснить также несколько непонятное на первый взгляд наличие топонимов, состоящих из одного знака, например *ki* и *di*: именительный падеж **kie*, **die* или **kiu*, **diu* обычно предшествует (в соответствии с процессом формальной эллинизации, наблюдавшимся уже в микенском в отношении минойских имен собственных) засвидетельствованным топонимам типа *Khios* (ср. этническое название *ki-je-u*, используемое как имя собственное в кносской надписи X 94 + 187) и *Dion* (которое широко представлено на Крите и не происходит из **diu-yos*; ср. *u-po-di-jo-no wo-wo* в пилосской надписи Na 18). Косвенный падеж *kī* и *dī* в таком случае представляется вполне правдоподобным.

Если судить по числу кузнецов, закрепленных за каждой местностью, самыми крупными населенными пунктами (ниже они перечисляются по степени важности) оказываются: *ka-nu-si*

Таблица 6

(который стоит также первым в этом списке, причем соответствующее ему этническое название *ka-nu-se-u* встречается как имя собственное в кносской надписи As 602.3), затем местность, обозначаемая до сих пор не протранскрибированным знаком L 96c, п, наконец, *pa-i-to* «Файстос», которое в списке стоит непосредственно за *ka-nu-si*. [По причине такого близкого соседства *ka-nu-si* и *pa-i-to* в списке, который, очевидно, составлен не по принципу убывающих величин, а скорее отображает географическое распределение, невольно возникает мысль о том, что *ka-nu-si* — это минойское название Агия-Триады (ср. *pu-ro* «Пилос», которое является первым в списке топонимических названий в пилосской надписи An 35).] О том, что в тексте НТ 97а



НТ 119

речь идет о разнородных величинах, свидетельствует следующее обстоятельство: списки людей обычно завершаются итоговой величиной, однако надписи «человек» + *ka* 82 п «медь» 33 не суммируются, ибо складывать людей с металлом было бы бессмысленно. Подобным же образом не может завершаться итоговой величиной и надпись НТ 108.1:

ki-re-ta-na «человек» 1 «пшеница» + Δ ¹³ 70

или первая часть надписи НТ 88:

<i>a-du</i>	«человек» + <i>ka</i>	20
<i>re-za</i>		6
«ивзир» · <i>ki-ki-na</i>		7

¹³ Знак Δ обозначает здесь особый род пшеницы; в тексте НТ 94а (см. табл. 7) — это дробный показатель. Ср. сноску 14.

Наличие записи «инжир»-*ki-ki-na* убеждает в том, что здесь перечисляются разнородные величины (люди, продукты питания). При этом было бы несправедливо не обратить внимания читателей на текст НТ 119 (где, если считать мое чтение всех цифр правильным, итог указан неверно) (табл. 6), содержание которого, очевидно, трудно увязать с моей интерпретацией текста НТ 97а:

«медь»	34
«человек»	68
<i>we?-mi-ne</i>	13
<i>ko-ja</i>	10
<i>ku-pa₃-na-tu</i>	7
<i>si</i>	7
<i>ja-L102</i>	10
<i>L 83-tu</i>	2
«медь»-L 96	8
<i>ku-ro</i>	160

Очевидно, это список рабов наиболее простого типа, о котором речь была в начале настоящей статьи: группы знаков или отдельные знаки, за которыми следует цифра (среди этих групп знаков имеется запись «человек» 68), причем весь список завершается итоговой величиной *ku-ro* 160. Легко заметить, что знак «медь» встречается здесь дважды: в первой записи «медь» 34 и в последней записи в группе «медь»-L 96.

Таблица 7



НТ 94 а

причем наличие этой группы показывает, что знак «медь» используется также для фонетической записи названия ремесла, отношение которого к меди, возможно, состояло лишь в его частичном фонетическом сходстве с названием этого металла. Так как наличие знака «человек» говорит о том, что знак «медь» в первой записи обозначает ремесленников, мне представляется, что писец использовал здесь знак «медь» как аббревиатуру названия медника. Это название, как мы видели, в тексте НТ 97а обозначается идеограммой «человек», имеющей лигатуру *ka*, причем *ka* является первым слогом соответствующего минойского слова. В самом деле, последовательность «медь» 34 «человек» 68, где вторая цифра ровно вдвое больше первой,

сразу напоминает о микенском обычае записывать число кузнецов вместе с количеством их подмастерьев, которые, как правило, закреплялись за каждым кузнецом в строго определенном количестве. Другими словами, как это случается в микенских текстах, принципы написания, используемые в минойском, в некоторой мере зависят от индивидуальной практики писца.

Другой тип списков рабов, который не следует смешивать со списками, где перемежаются перечисления ремесленников и сельскохозяйственных продуктов (см. выше), представлен надписями, в которых перечислению людей предшествует заголовок, а в конце списка подводится итог; затем следует список продуктов питания. Наиболее ярким примером такого рода списков является текст НТ 94а¹⁴ (табл. 7; в табл. 8 приведен с соответствующими перестановками этот же текст в транскрипции).

¹⁴ Знаки Δ , $\frac{2}{2}$ и $\frac{2}{2}$ служат обозначением веса и выражают части весовой единицы. В печатях 12b, 24a и 25 (см. стр. 24) знак $\frac{2}{2}$ обозначает особый род *Syregus* (ср. сноску 13).

I.	<i>ka-pa</i> «человек»	61
	L 35b	20
	<i>a</i>	7
	«человек» + <i>ku</i>	18
	<i>ta</i>	4
	<i>ku-ro</i>	110
II.	<i>sa-ra</i> ₂ «Cyperus»	5?
	«инжир»	3/
	[]	3?
III.	L 81d-L 83	II
IV.	«Cyperus»	ε
	«инжир»	ε
	[]	
V.	[<i>ki-r</i>]o «инжир»	ε

Из первой части (I) этого текста видно, что *ka-pa* (имя собственное) выделил определенное количество рабов для различных работ. После списка этих рабов, который оканчивается итоговой величиной *ku-ro* 110, следует вторая часть текста (II), в которой приводятся количества продуктов питания, выделенных для ремесленников,

Таблица 8

а именно: 5 (?) единиц веса той разновидности *Cyperus* (название «*Cyperus rotundus*» широко представлено в микенских текстах), которая изображается знаком типа *sa-ra*₂; более трех единиц веса инжира (Λ — дробный показатель); некоторое количество еще одного продукта питания, знаковое изображение которого оказалось в настоящее время стертым (возможно, вино, как позволяет предполагать сравнение с другими списками продовольствия). Затем (III) следует слово, состоящее из двух знаков, и цифра 11, что может означать только следующее: 110 человек разбиваются на 11 групп (очевидно, по 10 человек в каждой). Затем указывается количество продовольствия в расчете на каждого ремесленника (IV) и в заключение (V) — количество продовольствия, которого не хватает (*ki-ro* обозначает недостачу) для выдачи индивидуальных рационов полностью.

Рационы минойцев всегда состояли из *Cyperus*, инжира, вина, а в одной надписи засвидетельствовано еще и масло. В эти перечни никогда не включались пшеница и ячмень, которые являлись важными составными частями рациона микенцев и были наиболее важными продуктами минойского сельского хозяйства. Отсутствие в минойском рационе пшеницы и ячменя, а также тот факт, что в тексте НТ 94а зафиксирована недостача продовольствия, дают возможность предполагать, что продукты, перечисленные в минойских надписях, должны быть выданы рабам тем вассалом, который нес ответственность за эти работы, и должны восполнять собой основное довольствие (предположительно — зерно), поставляемое союзенном из Агия-Триады.

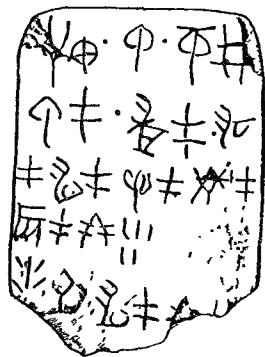
В тех случаях, когда фиксируются рационы, список рабов начинается с заголовка, в котором указывается имя их владельца. В списках рабов (таких, как НТ 119 и НТ 127 b), которые не содержат ни заголовков, ни названий пищи и в которых нет ни одного одинакового названия ремесла, очевидно, перечисляются рабы, принадлежащие самому союзену в Агия-Триаде (ср. пилюские таблицы ряда Aa, где начальный топоним обычно опускается, когда речь идет о самом Пилюсе). Такие минойские надписи возникли, вероятно, в результате переписи рабов. Кроме списков рабов, важной группой табличек из Агия-Триады являются

<i>ka-pa</i>	человек	61	ε	20
A 7	человек + <i>ku</i>	18	TA	4
<i>ku-ro</i>		110		
<i>sa-ra</i> ₂	<i>Cyperus</i>	5?	инжир	32
[]				
XK 11				
<i>Cyperus</i> ²	инжир ²	[]		
[<i>ki-r</i>]o	инжир	ε	[]	

списки различных изделий ремесла, земледелия и животноводства (предметы питания, скот, сосуды, шерсть, текстиль, колеса и т. д.), которые, независимо от спорности интерпретации некоторых идеограмм, обычно отличаются менее проблематичной и менее интересной структурой.

Наиболее обычными сельскохозяйственными продуктами, идеограммы которых мы можем расшифровать, являются пшеница, ячмень, масло, оливы, инжир и вино. Некоторые идеограммы (например, пшеница и масло) встречаются в разных сочетаниях с фонетическими или метрическими знаками, определяющими различные виды этих продуктов; ср., например, текст НТ 91 (табл. 9), где за каждой записью следует указание количества¹⁵.

Таблица 9



НТ 91

<i>i-ka</i> · «ячмень» · «пшеница»	卅]
«ячмень»	卅
«масло» + <i>ki</i>	卅
«масло» + <i>u</i>	卅
«масло» + <i>mi</i>	卅
«ОЛИВЫ»	卅
«ИНЖИР»	卅
«ВИНО»	卅
<i>e</i>	5
<i>vacat</i>	

Нетрудно заметить встречающуюся иногда комбинацию двух идеограмм, указывающую на смесь продуктов. Например, в приведенном тексте НТ 91 вторая запись — «ячмень», в то время как первая — запись количества «ячменя» · «пшеницы»,

что, очевидно, служит написанием соответствующего минойского эквивалента *krithō-puron* «ячмень, смешанный с пшеницей».

В некоторых случаях наименование продукта, обычно изображаемое с помощью идеограммы, дается в фонетической записи; ср., например, текст на печатях 12b, 24a и 25 — L10 «Cyperus» + *g* с текстом на печати 27a — L 10 *ku-pa*, откуда следует, что микен. *ku-pa-ro* [*kupairos*] «Cyperus rotundus» соответствует минойск. *ku-pa* [*kupair*] или подобное ему слово. В тексте НТ 32 *su-ku* (на третьей строке), по всей вероятности, является фонетической записью вместо идеограммы «инжир», откуда следует, что микен. *su-za* (*sukya*) «инжир» (мн. число), греч. *sikon*, независимо от их окончательной этимологии, очевидно, являются прямыми соответствиями минойского слова.

Более интересны некоторые надписи на предметах культа, которые найдены не в Агия-Трпаде, а в других местах (стоны для возлияния, секпры для совершения обрядов и т. д.); в силу своего предназначения эти надписи должны представлять собою религиозные тексты. Они трудны для понимания, ибо основная их масса плохо сохранилась, а самое главное — это то, что их нельзя сравнить ни с табличками из Агия-Трпады, ни с микенскими надписями, поскольку оба последних вида текстов носят совершенно иной характер, так что внутренняя интерпретация текстов религиозного содержания не оказывается возможной.

Однако Л. Р. Палмер, кажется, приоткрыл завесу над этими текстами, установив связь между названием божества (*j*)*a-sa-sa-ra* п лувийск. **ashas-saras*, клинописн. хет. *ishassaras* «госпожа»¹⁶. По моему мнению, можно также предположить связь этого имени с клинописн. хет. **hassussaras* «королева», т. е. с существительным женского рода на *-sara-*, образованным от существительного мужского рода *hassus* «король». В отношении корня следует иметь в виду микенское мужское имя (*j*)*a-sa-ro*, встречаемое в кнос-

¹⁵ Знаки 卅 и 卅 служат обозначением веса.

¹⁶ L. R. Palmer, Luvian and Linear A, «Transactions of the Philological society», Oxford, 1958, стр. 75—100.

этих надписях и явно представляющее собой эллинизацию минойской формы **(j)a-sa-re* (с хорошо известным окончанием личных имен в Агия-Триаде — *-a-re*) и, таким образом, семантически эквивалентное греческому *Basileios*; лица, обозначаемые в тексте НТ 89 знаком *a-sa-ra₂* L 56b, могли бы быть переданы микенскими словами *wanakteroi doeloi* или *basileuās doeloi*.

Исключительно важна интерпретация Буфидисом¹⁷ как «Ида мать» слов в текстах на двух секирах из Аркалохори, предназначенных для совершения обряда:

i-da-ma-te[
i-da-ma-te.

Гипотеза Буфидиса поддержана Пулиесе Каррателли, который обнаружил на алтаре в том же гроте на горе Ида золотую пластинку в форме буквы¹⁸. Независимо от того, стоит ли *ma-te* в именительном или в косвенном падеже, оно явно происходит из и.-е. **mātēr* (эту форму азиатические языки заменили так называемыми детскими словами). Следует также отметить слова:

ta-na-no-L 88-wi
a-ta-no-L 88-wa-e
ja-ta-no-L 88-u,

которыми начинаются надписи на столах для возлияния из Аподуту и Пспхро; такие же надписи находим на культовом сосуде из Трулло и на алтаре из Палекастро¹⁹.

Эти слова как местные варианты основной минойской формы **astanano* я бы сравнил с клинописн. хет. *istananas* «стол для приношений в виде алтаря» [в этом слове минойскому *a* соответствует клинописн. хет. *i*, который характерен для лувийского и который можно было бы усматривать в минойск. *(j)a-sa-sa-ra*, если принять предложенное Палмером сравнение с клинописн. хет. *ishassaras*]. К религиозным текстам относится также группа знаков *da-ku* на секире из Селаконоса²⁰; эта группа, несомненно, представляет собой название божества и, по-видимому, может быть соотнесена с и.-е. **dheghóm* «земля»; ср. клинописн. хет. *tegan*, род. падеж *tagnās*, тохар. А *tkam* и т. д. Сюда же относится и надпись *a-pi'*, которая выполнена ступенчато на косяке входа в гробницу Кефала²¹. Эта надпись, очевидно, является формулой заклинания, соответствующего греч. *opisō* из п.-е. **opi*; ср. клинописн. хет. и лув. *appa*, перогл. хет. *apa-* и т. д.

Однако, несмотря на то, что изоглоссы религиозных слов несомненно важнее, чем изоглоссы названий сосудов или продуктов, все же слова религиозного содержания могут оказаться культурными заимствованиями

¹⁷ См. N. K. M p o u p h i d ē s, *Krēto-mukenafkai epigraphai ex Arkalokhōriou*, «Arkhaiologikē Ephēmeris» (1952—1954), Athēnai, 1956, стр. 61 и сл.; M. P o p e, *Cretan axe-heads with Linear A inscriptions*, «The annual of the British school of archaeology at Athens», LI, 1956, стр. 132—135 и илл. 37.

¹⁸ G. Pugliese Carratelli, *Sulle epigrafi in lineare A di carattere sacrale*, «Minos», vol. V, N 2, 1957, стр. 171.

¹⁹ Там же.

²⁰ См. M. P o p e, указ. соч., стр. 132—135 и илл. 76.

²¹ См. R. W. Hutchinson, *A tholos tomb on the Kephala*, «The annual of the British school of archaeology at Athens», LI, 1956, стр. 76—77 и илл. 10. См. особенно замечание автора на стр. 77: «Мы точно не знаем, относится ли надпись ко времени строительства гробницы или к более позднему периоду; однако мы вправе задуматься над тем, почему надпись выполнена ступенчато. Это, конечно, не обусловлено просто небрежностью, ибо отдельные знаки абсолютно вертикальны. Возможно, эта надпись выполнена каким-либо чиновником, который осмотрел и опечатал гробницу после того, как стена перед входом была разрушена разбойниками; остальная часть стены имела наклонную поверхность. Это — не совсем удовлетворительное объяснение, но я не могу дать лучшего..., однако, какова бы ни была интерпретация этой надписи, вполне очевидно, что она предназначена для того, чтобы ее читали входящие в гробницу».

в минойском. Даже если бы можно было привести неопровержимые доказательства в пользу существования связей некоторых минойских слов с семитскими (лишь для немногих слов можно установить такие связи. в большинстве же случаев эти связи отсутствуют), нельзя было бы рассматривать минойский как семитский язык, равно как на основе подобных соответствий в области религиозного словаря его нельзя считать азиатским или — более общо — индоевропейским языком.

В этом отношении я придаю намного большее значение несомненно индоевропейскому характеру минойских слов, обозначающих итог, общий итог и недостатку, т. е. не таких слов, которые выбраны наугад для удобства сравнения, а слов, являющихся составными частями одного и того же семантического поля. Итог обозначается словом *ku-ro*, которое, будучи неизменяемым, должно быть идентично в семантическом отношении не с микенской формулой *to-so* [tossos], *pa* [pans] и *to-so pa*, изменяемыми в роде и числе, но с неизменяемым *ku-su-to-ro-qa*, дат. падеж [ksunstrophāi] (буквально: «в соединении, вместе»; ср. греч. *ksúmpanti* «полностью»). Разбираемое слово соотносится, таким образом, с апофонической формой и.-е. **ger-* «собирать», греч. *ageirō*, *agorá*, *ágoros*, *águris*; балто-слав. **gur-* представлено в литовском словом *gurguolė* «толпа, масса» (народа, пчел). слав. **gьrtati* и т. д.

Недостача обозначается словом *ki-ro*, а на одной из табличек (HT 103) — формой женского рода *ki-ra*. Это слово, таким образом, представляет собой глагольную форму или прилагательное, функционально идентичное с микен. *o-pe-ro* и употребляемое вместо греч. *opheílōn*, *opheílōnsa*, *opheílontes* и т. д. Рассматриваемое слово, таким образом, соотносится с и.-е. *(s)*kel-* «быть должным (кому-либо)»; ср. балто-слав. **skelō* «я должен (кому-либо)», др.-фриз. *skela*, гот. *skulan*, др.-в.-нем. *sculd* «Schuld» и т. д. Общий итог обозначается в надписи HT 122b словами *po-to ku-ro*, которые на микенский можно было бы перевести как *pa-to ku-su-to-ro-qa* [pantōs или pāntōn ksunstrophāi] с тем же самым родительным падежом, который представлен в пилосской надписи Ес 411 *ku-su-to-ro-qa pa-to*: ср. микен. *pant-* (очевидно, не из и.-е. **kwānt-*), клинописн. хет. *pankus*, тохар. А *poñc-ponts* и т. д., тохар. В *po*, мн. число *ponta* «все», причем здесь, как и в минойском, *o* < и.-е. **ā* после *p*.

Наиболее надежную основу для установления лингвистического родства обычно представляет исследование морфологии. Однако материал минойских надписей почти не дает никаких морфологических данных. Глагольные формы представлены редко и в большинстве своем гипотетичны. Ввиду того что склонение здесь не представлено системой четко опознаваемых суффиксов (как, например, в урало-алтайских языках), надежное определение падежей почти невозможно, подобно тому как это было бы невозможно осуществить даже в полностью протранскрибированной микенской надписи, если бы при этом мы не знали греческого. Другими словами, в таком тексте, как кносская табличка Fpl + 31 ²²:

[?]-de-u-ki-jo-jo me-no			
di-ka-ta-jo/di-ue	«масло»	↑	1
da-da-re-jo-de	«масло»	↑	2
pa-de	«масло»	↑	1
pa-si-te-o-i	«масло»	↑	1
qe-ra-si-ja	«масло»	↑	1 []
a-mi-ni-so/pa-si-te-o-i		↑	1 []
e-ri-nu	«масло»	Q	3
*47-da-de	«масло»	Q	1
a-ne-mo ji-je-re-ja		Q	4
	vacat		
to-so	«масло»	3 ↑ 2 Q 2,	

²² См. M. Ventris, J. Chadwick, указ. соч., надпись №200. Знаки ↑ и Q обозначают меру.

что Вентрис и Чедвик перевели следующим образом:

В месяце Деукнос:	
Диктайскому Зевсу:	12 л масла
Дедаллиону:	24 л масла
<i>Pa-de</i> -(дат. падеж):	12 л масла
Всем богам:	36 л масла
Авгуру: ?	12 л масла
Амнисосу, всем богам:?	24 л масла
Эринису:?	6 л масла
*47- <i>da</i> -(дат. падеж):	2 л масла
Жрице ветров:	8 л масла
Итого:	136 л масла,

только знание греческих флексий дает нам возможность различить дат. падеж ед. числа, как, например, *i-je-re-ja*, дат. падеж мн. числа, как, например, *pa-si-te-o-i*, род. падеж ед. числа, как, например, *[?]-de-u-ki-jo-jo*, род. падеж мн. числа, как, например, *a-ne-to*, аллатив, как, например, *da-da-re-jo-de*, и т. д.

Наиболее бесспорной морфологической чертой, которую до сих пор мне удалось установить в минойском языке, является падеж на *-i*, обозначающий покой или движение по направлению к определенному месту и отмеченный мной в топонимах надписи НТ 97а. Падеж этот имеет то же окончание, которое можно обнаружить в формах дат. падежа, как, например, *si-si-ku-ni* (НТ 96а. 1) от *si-si-ku* (НТ 35. 1), в тех именно случаях, когда это падежное окончание выступает при написании основ на согласный, как, например, в микенском: *ko-re-te* — дат. падеж *ko-re-te-ri*, *ro-me* — дат. падеж *ro-me-ne* и т. д., что является типичной индоевропейской особенностью. Ср. клинописн. хет. *att-i* «к отцу», *Hattus-i* «в Хаттусасе» или «по направлению к Хаттусасе», лат. *Romai* «к Риму» и «в Риме» и т. д.

Если наша оценка этой морфологической особенности, а также оценка приведенных выше лексических элементов по существу является правильной, то представляется неизбежно вытекающим вывод о том, что минойский язык, наиболее ранние памятники которого (линейное письмо А) относятся к эпохе существования первого дворца Файстос (по данным археологии, это было в XX в. до н. э.), можно было бы считать самым древним индоевропейским языком, зафиксированным до сих пор.

Перевел с английского
М. М. Маковский

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. Н. ГВОЗДЕВ

О ЗВУКОВОМ СОСТАВЕ МОРФЕМ

Вопрос о звуковом составе морфем или затрагивается частично и попутно, преимущественно в фонологическом плане, или совсем не рассматривается, причем как бы предполагается, что в этом отношении все ясно. Поэтому требуется систематическое его рассмотрение, которое показало бы относящиеся к нему разнообразные факты и наметило бы пути их объяснения с единых позиций.

Вопрос о звуковом составе морфем состоит в выяснении того, какую роль звуковая сторона играет в функционировании морфем, в какой мере она способствует или препятствует выделению морфем, их разграничению, установлению тождества одной морфемы; в последнем случае подлежит установлению, обладает ли единая морфема неизменным звуковым составом или в каких-то пределах допускается его изменчивость, не приводящая к нарушению единства морфемы.

Как должны решаться эти вопросы? Что должно служить основой, исходным пунктом, чтобы решение поставленных вопросов соответствовало тому, к чему в этом отношении обязывает языковая система? Очевидно, следует исходить из понятия м о р ф е м ы, из учета того, как морфемы функционируют в языке. Как известно, морфема является простейшей значимой единицей языка, характеризующейся в разных случаях употребления известной общностью как со стороны значения, так и со стороны звукового выражения. Морфемы не употребляются самостоятельно, а используются в качестве элементов слов. Членение слов на морфемы осуществляется вследствие того, что язык располагает рядами слов однородной структуры, в которых в разных сочетаниях встречаются одни и те же лексические или грамматические значения и соответствующие им одни и те же сочетания звуков [*осин-к-а*: 1) *осин-а*, *осин-овый*, 2) *гор-к-а*. *мыш-к-у*. 3) *рыб-а*, *ног-а*]. Такое расчленение слов на морфемы основано на взаимоотношениях между сосуществующими элементами языковой системы, и, таким образом, связано с синхронным рассмотрением языка. Известная самостоятельность морфем и проявляется в том, что говорящие используют их как конструктивные элементы для образования слов и форм; это с полной очевидностью обнаруживается в новообразованиях (*нов-о-куйбышев-ц-ы*). Такие морфемы, которые являются конструктивными элементами в системе современного языка, составляют разряд продуктивных морфем; они по существу и представляют характерные типичные проявления системы языка в области словообразования и словоизменения. Непродуктивные морфемы относятся к пережиточным элементам, не дающим представления о действующих морфологических закономерностях. Поэтому при решении вопроса о звуковом составе морфем следует учитывать те фонетические явления, которые наблюдаются в продуктивных морфемах.

В связи с этим необходимо затронуть вопрос о т о ж д е с т в е м о р ф е м. Так как морфемы употребляются в разных сочетаниях и в разных условиях, оказывающих те или иные воздействия на морфему, внося в нее изменения семантического или фонетического характера, то и требуется установить, какие из этих изменений не нарушают единства морфе-

мы (и она остается тождественной). а какие, наоборот, приводят к разрушению ее единства.

Имея в виду, что морфема является значимой морфологической единицей языка и выступает в известных парадигмах или словообразовательных типах носительницей известного лексического или грамматического значения, можно сказать, что основным условием ее тождества служит сохранение этих присущих ей функций. Поскольку в разных условиях употребления морфема выполняет свойственные ей функции, появляющиеся при этом расхождения не нарушают единства морфемы.

Особенно показательный и объективный материал в этом отношении представляют неологизмы из продуктивных морфем. При их создании говорящие используют морфемы в присущих им функциях; это подтверждается непосредственной понятностью подобных новообразований и, таким образом, нет сомнений в том, что единство морфем не нарушается, хотя в них нередко наблюдаются известные отклонения от того оригинала, которым воспользовался говорящий. Например, в новообразовании *жизне-радостной рыжизной* (К. Федин, Необыкновенное лето) нельзя сомневаться, что имеется: 1) тот же корень, что в прилагательном *рыжий*, хотя эти варианты различаются по ударению; 2) тот же суффикс, что в словах *бел-изна*, *желтизна*, хотя вместо *изн* здесь произносится *изн*; 3) то же окончание, что в словах *стенной*, *книгой*. Новообразования подобного типа и привлекаются в дальнейшем для выяснения того, как функционируют в языке морфемы. К ним присоединяются новообразования детей младшего возраста (от 2 до 8 лет), которые отличаются непосредственностью, а кроме того, дают возможность выяснять становление разного рода закономерностей в использовании морфем¹.

Для выяснения того, какую роль в функционировании морфем играет звуковой состав, прежде всего важно учитывать существующие в морфеме отношения между значением и звуковой стороной. Оба эти элемента — внутренний и внешний — необходимы и взаимосвязаны; одного из них недостаточно. Так, слово *дымок* членится на *дым-ок* вследствие наличия в других сочетаниях элементов с тем же значением и звуковым составом: *дым-* (*дым*, *дымный*), *-ок* (*дубок*, *сырок*), а слово *висок* в современном языке нерасчленимо из-за отсутствия распада по значению, хотя в звуковом отношении оно может быть разделено на *вис-ок*. Слова *поразит* и *паразит*, произносимые одинаково *пъраз'йт*, разнородны по морфологическому составу: первое членится *пъ-раз'-йт*, второе является цельным. Наличие отношений по значению, без соответствующего звукового выражения, также не дает повода для морфологической членимости. Так, до известной степени отношениям между словами без суффикса и с суффиксом уменьшительности (*дуб — дубок*) аналогичны отношения названий предметов, различающихся по величине: *река — ручей*, *гора — холм*, *лес — роща*, *ураган — ветер*, но ни о каких морфемах со значением уменьшительности в таких случаях вопроса не возникает.

Вследствие того, что морфемы не встречаются изолированно, а употребляются только в словах, возникает вопрос, не существует ли фонетических показателей делмости слов на морфемы. Ответ будет отрицательный. Так, произносятся совершенно одинаково слова с различной морфологической делмостью: *бстръвь* = *остров-а* и *остр-ого*; *пратбй* = *прост-ой* (человек), *про-стой* (вагонов); *дъл'и* = (спяющие) *дал-и*, (ребенку) *да-л-и* (мяч); *пал'ей* = *полей* (цветок), (простор) *пол-ей*; *трут* = *трут* (и огниво), (башмаки) *тр-ут*; *падл'ей* = *под-лей* (воды), *подл-ей* (сравн. степень от *подлый*); *пр'идв'инут* = (стол был) *при-дв-*

¹ Вопрос об использовании детских новообразований для выяснения того, как функционируют в языке морфемы, рассматривался нами в статье «Значение изучения детского языка для языковедения» («Родной язык и литература в трудовой школе», 1938. № 3, 4—5).

ну-т (к стене), (завтра его) *при-дви-н-ут* (к окну); *ст'е^нклó* = (зеркальное) *стекл-о*, (вино) *с-тек-л-о* (в блюдо). Приведенная делимость на морфемы осуществляется на основе значения и соотношения с другими словами.

Как для выделения морфем требуется совместное участие значения и его звукового выразителя и недостаточно одной из этих сторон, так же недостаточно общности только значения или только звукового состава для обеспечения единства морфемы.

Так, с одной стороны, не входят в одну морфему имеющие общее значение, но разный звуковой состав: 1) корни: *глаз* — *ок-о*, *красн-ый* — *ал-ый*, *смех* — *хохот*, *тоск-а* — *скорбь*; 2) суффиксы: *пек-арь* — *стеколь-щик*; *повар-их-а* — *кассир-ш-а* — *радиост-к-а*; *еж-ов-ый* — *лос-ин-ый*; 3) приставки: (соверш. вид) *с-прятать* (прятать) — *по-сеять* (сеять) — *на-писать*; 4) флексии: (дат. падеж ед. числа) *сел-у* — *стен-е*; (род. падеж мн. числа) *стол-ов* — *двер-ей*. Аналогично тому, что такие пары слов, как *глаз* — *око*, признаются синонимами, представляющими разные лексические единицы, и приведенные суффиксы, приставки, флексии признаются с и н и м и ч н ы м и морфемами, являющимися разными морфологическими единицами. Морфологическая разграниченность синонимических морфем особенно четко проявляется у флексий, которые входят в различные парадигмы. Так, окончания дат. падежа ед. числа *у* и *е* принадлежат к разным склонениям: *стол* — *стол-а* — *стол-у* и т.д., *стен-а* — *стен-ы* — *стен-е* и т.д. И эта разграниченность целиком относится к морфологии, в синтаксическом отношении формы с этими окончаниями функционируют одинаково (*подошел к столу*, *подошел к стене*).

С другой стороны, при разном значении даже полное совпадение в звуковом составе не создает единой морфемы. В таком случае имеют место о м о н и м и ч н ы е морфемы: 1) корни-омонимы: *вод-ица* — *вод-итель*; *пар-а* (лошадей) — (горячий) *пар*; *вин-о* — *вин-а*, *нос-ик* — *нос-ит*; 2) суффиксы-омонимы: *-к-* (уменьшительность) *гор-к-а*, (женский пол) *цыган-к-а*, (отвлеченное действие) *чит-к-а*; *-ист-* (действующее лицо) *гитар-ист-ы* — (признак) *гор-ист-ы*; 3) окончания-омонимы: *-а* (им. падеж ед. числа) *вод-а* — (род. падеж ед. числа) *стол-а* — (им. падеж мн. числа) *рукав-а*; *-у* (дат. падеж ед. числа) *стол-у* — (вин. падеж ед. числа) *кор-у* — (1-е лицо глагола) *нес-у*. И в этом случае омонимичные морфемы разграничены вхождением в разные парадигмы и словообразовательные типы.

Таким образом, сам по себе звуковой состав, без общности в значении, не может обеспечивать единства морфем, как и их отграничение от соседних в слове морфем. Поэтому нельзя признавать состоятельными попытки рассматривать морфемы, исключая присущее им значение. Очевидно, так или иначе, вопреки декларациям, учет значения проникает в подобные концепции.

Если одна звуковая сторона не обеспечивает выделения морфем, то какой звуковой состав, при наличии значения, достаточен для того, чтобы морфема выделялась по функции и р о в а л а? Прежде всего следует отметить, что на основе существующих в языке соотношений и противопоставлений иногда грамматические значения обходятся для своего выражения без звукового состава. Это так называемые нулевые флексии. Хотя по функции они сходны с морфемами, но следует присоединиться к общепринятому взгляду, что они представляют особую категорию по сравнению с морфемами. Выражение грамматического значения в таком случае осуществляется не особым элементом слова, как в морфемах, а основой, имеющей свое, качественно иное (лексическое) значение, в ее соотношении с той же основой в сочетании с морфемами (флексиями), выражающими соотносительные с нулевой флексией грамматические значения. Поэтому в случаях с отрицательной флексией грамматическое значение получает выражение не в особой разновидности морфем, а в отсутствии морфем. Морфемы же, таким образом, обладают звуковым выражением.

Легко видеть, что звуковой состав морфем в количественном отношении включает в качестве минимума один звук — гласный: *нес-и, сел-о, у-пал, гор-е-л*, или согласный: *с-мыл, в-дуть, осин-к-а, кассир-ш-а, бы-л*; обычно же — разного рода сочетания звуков, наиболее значительные в корневых морфемах: *на-мок, стол-ами, страх, молот, ситем-а, министр, структур-а*.

С качественной стороны следует остановиться на отношении звукового состава морфем к позициям в связи с тем, что иногда высказывается мысль — для звукового состава морфем важно положение звуков в сильной позиции. И этот вопрос необходимо решать, исходя из функционирования морфем. С одной стороны, имеется немало морфем, все звуки которых (хотя бы при употреблении морфемы в разных условиях) относятся к сильной позиции. Таковы корни — *сор-, мук-а*; суффиксы — *сил-ач, дуб-ов-ый*; флексии — *нес-ем, стол-ах*. С другой стороны, есть морфемы, некоторые звуки которых никогда не употребляются в сильной позиции. Таковы корни — *стен-а, чист-* (в них *с* перед глухим *т* не противопоставляется звонкому *з*); суффиксы — *иска-тель* (*-т'ьл'*; гласный этого суффикса не бывает ударным), *искр-ист-ый* (*с* перед глухим *т*): флексии — *прост-ые, ид-ете* (конечные гласные всегда безударны), *сид-ишь, сид-ит* (согласные *ш, т* в конце не противопоставляются звонким). Но такое различие в звуковом составе морфем не отражается на их функционировании в морфологическом отношении: корни, суффиксы, флексии, включающие звуки слабых позиций, выполняют свою роль не хуже, чем корни, суффиксы, флексии, звуки которых принадлежат к сильной позиции. И никем не высказывалось предположений о какой-либо дефектности или недостаточности таких морфем. Даже в случае, когда морфема состоит из одного звука слабой позиции, нет признаков того, что она выполняет свою роль хуже, чем морфемы со звуками сильных позиций. Так, всегда безударное *е(ь)* у слов *киевлян-е, крестьян-е* служит показателем им. падежа мн. числа и является флексией одинаково с ударными гласными *а, ы*: *доктор-а, бойц-ы*. Поэтому для морфем имеют значение звуки сильных и слабых позиций. (Как будет видно дальше, звуки слабых позиций, естественно, обладают меньшими различительными возможностями.)

Между прочим, имеются проявления того, что отношения звуков в морфемах с морфологической стороны складываются иначе, чем с фонетической. С фонетической стороны, бесспорно, основным вариантом при нескольких является вариант со звуками в сильных позициях: он наиболее дифференцирован; исходя из него, последовательно определяются все возможные варианты со слабыми позициями, например для корня *воз-* устанавливается круг чередований гласных *о — а — ъ* и согласных *з — с, з'*. Наоборот, исходя из слабой позиции, нельзя установить сильную: *тапор — о* или *а*? Отсюда — признание общих вариантов двух фонем или учение о смешанных и слабых фонемах.

В то же время есть основание допускать, что в морфологическом отношении не обязательно главенствует вариант со звуками сильных позиций, а на первый план выступает вариант в чаще употребляемых формах, в своего рода начальных формах, которые служат исходным пунктом для образования других форм. Наблюдаются случаи (хотя и редкие), что, если в такой главенствующей форме морфема имеет звук слабой позиции, а в образуемой от нее форме требуется звук сильной позиции, то он определяется распространенными чередованиями, существующими в этих формах, и этим иногда нарушает соотношение звуков сильной и слабой позиций в данной морфеме. Так, несмотря на наличие ударного *а*, чередующегося с предударным *а* (*а*), в корнях *плат-* (*плат-а — плат-ный*), *сб-* (*посадка*) в личных формах глагола при 1-м лице *плати́у* в разговорной речи в других лицах употребляется *плот'или, плот'ит, пса́жеу — пса́д'ит* (прямо литературных *платит, посадит*). Это явление, шире представленное в акающих говорах, и получило объяснение в том, что в этих формах ши-

роко распространено чередование *а — б*: *нашѣ* — *нбс'ит*, *хажѣ* — *хбд'ит*.

Чередование глухого *с* и звонкого *з* по аналогии распространенных чередований *марбс* — *марбз'ит*, *навбс* — *навбз'ит* проникло в просторечный неологизм *хабс* — *хабз'ит'*, несмотря на *с* в сильной позиции (*хаос-а*). Подобные явления свидетельствуют, что отношения между фонетическими вариантами морфем в парадигмах и словообразовательных типах могут складываться так, что главенствующим оказывается вариант со звуками слабых позиций.

Следующим вопросом является выяснение того, в какой мере при единстве значения для морфем требуется общность звукового состава в разных условиях их употребления, т. е. необходимо ли тождество звукового состава или допустимы в известных пределах расхождения в нем. Как отмечалось, полное расхождение в звуковом составе даже при едином значении препятствует вхождению таких морфологических образований в одну морфему. По характеру расхождений выделяются следующие группы образований: 1) тождественные по звуковому составу, 2) варианты с фонетически обусловленными (позиционными) расхождениями, 3) варианты с историческими чередованиями. И здесь при выяснении границ общности и возможных расхождений звукового состава решающим условием служат наблюдения над функционированием тех или иных вариантов в качестве единой морфологической единицы — без расхождений и осложнений их роли и значения.

1. Не вызывает сомнений то, что встречающиеся в разных случаях тождественные фонетические варианты, выполняющие одинаковые функции и обладающие одинаковым значением, входят в одну морфему; например, корень *лук-* в таких образованиях, как *лук*, *лук-а*, *лук-у*, *лук-овый*, *лук-овка*, *лук-овица*, является одним корнем. Также едины: приставка *в-* — *в-носить*, *в-мазать*, *в-рубить*, *в-дуть*, *в-бросить*, *в-дохнуть*; суффикс *-ист-* — *ветв-ист-ый*, *гор-ист-ый*, *пен-ист-ый*, *жил-ист-ый*; флексии *-ом* — *стол-ом*, *рт-ом*, *пер-ом* и *-ите* (*ит'е*) — *сбд-ите*, *говор-ите*, *пил-ите* и др. Такие тождественные по значению и по звуковому составу морфемы могут содействовать выяснению единства образований с расходящимся звуковым составом.

2. Сопоставление с морфемами, сохраняющими в разных морфологических условиях тождественный звуковой состав, образований, имеющих в тех же морфологических условиях звуковые расхождения, вызываемые фонетическими факторами, показывает, что эти расхождения не вносят каких-либо изменений в функционирование морфем. Это относится к фонетическим (позиционным) чередованиям, вызываемым действующими фонетическими законами. Например, различие между им. и род. падежом ед. числа передается, с одной стороны, словами, имеющими тождественную основу: *лук*, *нос*, *пот* — *лук-а*, *нбс-а*, *пбт-а*, с другой — словами, в основе которых происходит чередование звонкого и глухого согласного: *лук*, *вос*, *гот* — *лук-а*, *вбз-а*, *гбд-а*. Это чередование не вносит каких-либо осложнений в выражаемое этими формами отношение между им. и род. падежами, так что чередования *к — г*, *с — з*, *т — д* не выполняют морфологических функций, связанных со значением.

Так же чередования звонких и глухих не вносят каких-либо изменений в образования с суффиксом уменьшительности *-к-*: так, с одной стороны: *л'ип-а*, *р'еп-а*, *м'инут-а*, *ас'ин-а* — *л'ип-ка*, *р'еп-ка*, *м'инут-ка*, *ас'ин-ка*, с другой: *шуб-а*, *карбв-а*, *б'еу-р'бз-а* — *шуп-ка*, *карбф-ка*, *б'еу-р'бс-ка*.

Чередования ударных и безударных гласных также не вносят изменений в функционирование морфем. Так, функции творительного падежа одинаковы у существительных с ударным и безударным окончанием: *стал-бм*, *п'еу-р-бм*, — *ббм-бм*, *гбд-бм*; не меняется роль суффикса *-арь*

от того, оказывается ли он ударным или безударным: *кас-á-р'*, *зван-á-р'* — *л'áс-эр'*, *п'эк-эр'*. Корни при словообразовании функционируют одинаково и тогда, когда они не меняют места ударения, оставаясь ударными: *б'э́нз-а* — *брóнз-эв-ый*, *рбóз-а* — *рбóз-эв-ый* или безударными: *сáсн-á* — *сáсн-эв-ый* и когда выступают то как ударные, то как безударные: *кл'бн* — *кл'эвн-эв-ый*, *ч'áс* — *ч'эвс-авбй*.

Таким образом, в морфологическом отношении между тождественными фонетически образованиями и образованиями с фонетическими (позиционными) чередованиями нет различий, и последние не разрушают единства морфем.

3. Аналогичное сопоставление образований без чередований и с позиционными чередованиями, с одной стороны, и с историческими и чередованиями (не всеми, как будет показано ниже) — с другой, показывает, что функции морфем остаются одинаковыми.

Так, наличие исторических чередований задненебных и шипящих не вносит каких-либо дополнительных различий между существительными с суффиксом и с суффиксом уменьшительности и ласкательности *-к-*.

Без чередований	С фонетическими чередованиями	С историческими чередованиями
<i>л'áс-а</i> — <i>л'áсн-ка</i>	<i>ш'уб-а</i> — <i>ш'упн-ка</i>	<i>дуг-á</i> — <i>д'ушн-ка</i>
<i>л'áч'ит-а</i> — <i>л'áч'итн-ка</i>	<i>карб-а</i> — <i>карбфн-ка</i>	<i>рук-á</i> — <i>р'учн-ка</i>
<i>кáш-а</i> — <i>кáшн-ка</i>	<i>б'э^нр'бз-а</i> — <i>б'э^нр'бсн-ка</i>	<i>м'уш-а</i> — <i>м'ушн-ка</i>

Так же одинаково выражается различие между существительным и прилагательным в образованиях с суффиксом *-н-* без чередований, с позиционным чередованием твердых и мягких согласных и с историческим чередованием задненебных и шипящих:

Без чередований	С позиционными чередованиями	С историческими чередованиями
<i>ф'стр'эчн-э</i> — <i>ф'стр'эчн-ый</i>	<i>бур'э</i> — <i>б'урн-ый</i>	<i>дорог-э</i> — <i>дарбжн-ый</i>
<i>л'áжн-ы</i> — <i>л'áжн-ый</i>	<i>кон'</i> — <i>кбнн-ый</i>	<i>ус'п'эх</i> — <i>ус'п'эшн-ый</i>
<i>кл'á</i> — <i>пбл'эн-ый</i>	<i>м'ет'</i> — <i>м'эдн-ый</i>	<i>йук</i> — <i>й'ужн-ый</i>

Не осложняет различий между 1-м и 3-м лицами глагола наличие позиционных чередований гласных (ударных и безударных: *о* — *А*, *е* — *э*) и исторических чередований (шипящих и зубных, а также губных *ч* — *ж* и губных):

Без чередований	С позиционными чередованиями	С историческими чередованиями	С позиционными и историческими вместе
<i>л'áчн-ý</i> — <i>стучн-ýт</i>	<i>л'э^нчн-ý</i> — <i>л'эчн-ýт</i>	<i>л'э^нчн-ý</i> — <i>л'э^нчн-ýт</i>	<i>св'э^нчн-ý</i> — <i>св'этн-ýт</i>
<i>л'áчн-ý</i> — <i>н'эжн-ýт</i>	<i>тачн-ý</i> — <i>тбчн-ýт</i>	<i>в'ýжн-ý</i> — <i>в'ýдн-ýт</i>	<i>важн-ý</i> — <i>вбдн-ýт</i>
<i>л'áчн-ý</i> — <i>л'эдлн-ýт</i>	<i>ганн-ý</i> — <i>гонн-ýт</i>	<i>стáелн-ý</i> — <i>стáвн-ýт</i>	<i>кашн-ý</i> — <i>кбсн-ýт</i>
<i>л'áчн-ý</i> — <i>счлн-ýт</i>	<i>сматрн-ý</i> — <i>смбтрн-ýт</i>	<i>к'рáшн-ý</i> — <i>к'рáсн-ýт</i>	<i>м'э^ншн-ý</i> — <i>м'эсн-ýт</i>

Поэтому исторические чередования указанного типа не нарушают единства морфем. При этом указанные чередования составляют действующие закономерности морфологической структуры современного языка. Это подтверждается тем, что они являются обязательными в известных морфологических условиях и обладают своего рода продуктивностью, например, невозможно от существительных с основой на задненебный образовать без замены задненебных шипящими существительных с суффиксом *-к-* или прилагательных с суффиксом *-н-*: нет *дугн-ка*, *ружн-ка*, *дорожн-ый*, *успехн-ый*, *южн-ый*. Продуктивность этих чередований обнаруживается в новообразованиях. Так: «Стрекозы бесшумно перелетали с одной *жужжж* осы на другую» (Б. Полевой); *крупнблочный*; «В одну из таких *минут* урывочной работы мысли» (К. Федин). Такие исторические чередования и составляют разряд морфологических чередований, в отличие от тех исторических чередований, которые не имеют в современном языке ни фонетической, ни морфологической обусловленности и являются случайными явлениями (о них будет сказано ниже).

С особой наглядностью обязательность таких чередований демонстрируют факты детской речи, к тому же обнаруживающие самый процесс их становления. У детей младшего возраста (от 2 до 8 лет) сначала наблюдается образование форм и слов без соблюдения чередований, а затем они находят применение в их собственных новообразованиях, не имеющих образца в языке взрослых. Так, чередование задненосных и шипящих: *г — ж*: *т'ил' ёжѣѣм* (от *телега*); наоборот: *логу* (от *ложку*); *к — ч*: *аврач'ок* (от *овраг*, вместо *овражек*); *нѣмалѣч'ил* (от *намочил молоком*); *х — ш*: *м'ешибк* (умножительное от *мех*); наоборот: *д'ир'евѣѣха* (от *деревушка*). Чередование *т — ч* не соблюдается: *п'ър'литу* (от *перелечу*); соблюдается: *сп'ач'ивѣѣют* (от *пятят назад*); *д — ж* не соблюдается: *в'ид'у* (от *вижу*); *хѣлажѣу* (от *холодите*); *ст — ш'ш'*; — не соблюдается: *ач'ис'т'у* (от *очищу*); соблюдается: *жыш'ш'у* (от *делаю жестким*)².

Рассмотрение позиционных и морфологических чередований с точки зрения их отношения к морфемам показывает, что их объединяет ряд общих черт и что они занимают пограничное положение между морфологией и фонетикой.

1. И те и другие не связаны с определенными морфемами или их однородными по значению группами; они встречаются в самых разнородных образованиях, а также, как было показано выше, не охватывают целиком известного типа слово- или формообразования, а встречаются в нем лишь частично. Такое их многообразное употребление и является условием того, что те и другие чередования не связаны с грамматическим значением и не представляют полноправных морфологических средств.

Так, позиционное чередование глухих и звонких встречается при соотношении: а) им. падежа ед. числа и прочих падежей: *вос — вѣза, вѣзу. гот — гѣда*; отсутствует: *нос — нѣса*; б) род. падежа мн. числа и прочих падежей: *рос — рѣзы, рѣзм, калѣт — калѣды*, отсутствует: *зѣбѣт — зѣбѣты*; в) краткой формы прилагательного в муж. роде и в других родах: *груп — грубѣ, груѣбы, праѣ — правѣ*, отсутствует: *глуп — глупѣ*; г) формы прош. вр. в муж. роде и в других родах: *л'ес — л'ѣсла, л'ѣзл'и, стр'ѣк — стр'ѣгла*; отсутствует: *гас — гѣсла*.

Аналогично морфологическое чередование *г — ж, к — ч* употребляется в соотношении: а) существительных без суффикса и с суффиксом уменьшительности *-ок*: а) *берег — бережок, сук — сучок*, отсутствует: *зѣть — зѣтек*; б) существительных и прилагательных с суффиксом *-н*: *снег — снежный, вѣк — вечный*, отсутствует: *железо — железный*; в) при образовании глаголов с суффиксом *-и*: *круг — кружить, порок — порочить*; отсутствует: *зѣбѣта — зѣботить*.

2. И те и другие чередования служат дополнительным различительным средством в парадигмах и словообразовательных типах. Так, с одной стороны, в случаях *воск — вѣск-а, дасѣд-а — дасѣд-нѣй, харѣш-ый — хѣраш-ѣт', стуч'ѣ — стуч'-ѣт* основы не участвуют в различении сопоставляемых образований, тогда как в случаях: *моск — мѣзг-а, гр'ас' — гр'ѣз-нѣй, стар-ѣй — стар'-ѣт'* (позиционные чередования), *с'н'ек — с'н'ѣж-нѣй, в'ек — в'ѣч'-нѣй, в'ѣжу — в'ѣд'-ит* (морфологические чередования) различение осуществляется не только флексиями и суффиксами, но и чередованиями звуков в основах, при этом нельзя думать, что морфологические чередования имеют в этом отношении преимущество перед позиционными.

3. Их одинаковая роль в различении подтверждается и одинаковой ролью в ослаблении различения форм. Те и другие чередования обуславливают так называемую «нейтрализацию», т. е. при-

² Подробно вопрос о разных группах исторических чередований в современном языке рассматривается в нашей статье «Роль исторических чередований в современном русском языке» («Р. яз. в шк.», 1954, № 1), а также на фактах детской речи в статье «Значение изучения детского языка для языковедения».

Ведут к совпадению различающихся в других условиях звуков, ослабляя различие форм, и даже создают омонимизм целых форм. Так, позиционно обусловленная глухость в конце слова приводит к тому, что в этой слабой позиции совпадает *лук* (*лук* и *луг*), *рос* (*рос* и *роз*), или позиционно обусловленное совпадение в предупредном *а* (*а*) ударных *а* и *о* создает неразличимые *валы* (*валы* и *волы*), так же морфологически обусловленная замена *ч* и *з* зубных *т*, *д*, *з* приводит к совпадению в 1-м лице глагола *-у* при *вод-ит* и *воз-ит*; *уж-у* при *уд-ит* и *уз-ит*: *сглажу* при *т* и *сглаз-ит*; *леч-у* при *лет-ит* и *леч-ит*. Вообще в 1-м лице в одном *ж* стоят *ж*, *з*, *д* других лиц: *лежу* — *лежишь*, *дрожу* — *дрожидь*, *попью* — *попишь*, *грозю* — *грозишь*, *гляжу* — *глядишь*, *сижу* — *сидишь*, в этом морфологическом положении невозможны *з*, *т*, *д*.

Как стирается различие звонких и глухих *з* — *с* перед глухими: *наз-ок* — *нас-ок*, но *глас-к'и* — *нас-к'и*, так же стирается различие между шипящими и задненебными перед суффиксом *-н-*, и в этой слабой морфологической позиции появляется только шипящий: *бумаг-а* — *кож-а*, но *буль-ный*, *кож-ный*, *рек-а* — *свеч-а*, но *реч-ной*, *свеч-ной*. Или одинаково стирается различие между твердым и мягким и появляется только мягкий перед *е* (позиционная мягкость): *стол* — *кул'*, но *стал'-е* — *кул'-е* и перед суффиксом прилагательного *-н-* (морфологическая мягкость только *т* и *л*): *скал-а* — *вбл'-е*, но *скал'-ный*, *вбл'-ный*. Обычно на нейтрализацию, вызываемую морфологическими чередованиями, не обращается внимания.

Рассмотренные проявления общности позиционных и морфологических чередований показывают их объединение в морфологическом отношении, так как с фонетической точки зрения они разнородны.

От группы морфологических чередований отличны исторические чередования, не ставшие морфологическими. Они являются традиционными и в современном языке представляют чередующие группы; с этим связана недостаточная четкость их положения. разные тенденции в их использовании, наблюдается процесс вытеснения и стирания таких чередований. Отношение к морфемам традиционных чередований зависит преимущественно от их положения в парадигмах и от значения морфем, в которых они появляются.

1. Переходную ступень по отношению к морфологическим чередованиям представляют традиционные чередования, объединенные в одной парадигме, более или менее распространенные в ней, но не имеющие обязательности. Таковы беглые *о* и *е* в склонах существительных: *сон* — *сн-а*, *лсб* — *лб-а*, *ров* — *рв-а*, *ложь* — *-и*, *день* — *дн-я*, *пень* — *пн-я*, *пес* — *пс-а*, рядом без чередования: *год* — *год-а*, *бж* — *бж-а*, *мед* — *мед-а*, *полет* — *полет-а*. Благодаря общности значения основ, их объединенности в склонении, а также общности звукового состава основ, за исключением данного чередования, единство вариантов с такими чередованиями поддерживается достаточно отчетливо, но уже не является действующей закономерностью современного языка. Такие чередования характеризуют традиционные (не производные) варианты морфем, еще не обособившиеся один от другого.

2. Чередования, объединенные в одной парадигме, но целиком или значительно разошедшиеся фонетически, так что общность их звуковой стороны оказывается разорванной, создают тенденцию к образованию сушлетивных форм, представляющих разные морфемы. Этот переход в сушлетивные формы наблюдается довольно редко, его примером может служить: основы местоимений *к-ого* — *ч-его*, глаголов *об-ним-ет* — *об-з-им-ет*, причастий *ход-исший* — *шед-ший*.

Чередования, ставшие выразителями грамматических значений, движутся в сторону внутренней флексии. Сюда относятся случаи, когда чередования становятся единственными выразителями разных грамматических значений. Например, чередования *к* — *ч*, *х* — *ш*

выражают различие между прилагательным и существительным: *дик* — *дичь*, *горек* — *горечь*, *мелок* — *мелочь*, *сух* — *сушь*, *тих* — *тишь*, *глух* — *глушь*; для превращения в типичную внутреннюю флексию этим образованиям не достаёт продуктивности. Роль внутренней флексии играет чередование ударных *о* — *а*, служащих для выражения многократности: *ходит* — *хаживал*, *носит* — *нашивал*, *водит* — *важивал*, но роль чередования в этом случае осложняется участием суффикса *-ива-* в выражении многократности.

4. Чередования, создающие расхождения в звуковом составе морфем, характеризующиеся нерегулярностью и наблюдающиеся в морфемах, разошедшихся по значению, вызывают образование на месте одной морфемы двух вполне обосбоившихся морфем. Сюда относятся случаи: *горло* — *жерло*, *косить* — *чесать*, *трусить* — *трясти*. Так как в этих случаях расхождения в звуках проявляются не в одной морфеме, то их с современной точки зрения нельзя относить к чередованиям.

5. Чередования, деформирующие звуковой состав морфемы, вызывающие отрыв от других ее вариантов, а кроме того, не обеспечивающие разграничения данной морфемы с соседними морфемами, приводят к разрушению морфологической членимости слов и вызывают опрощение. Так, в результате выпадения *в* после *б* в приставке разошлись варианты корней *воз* — *оз*, *вод* — *од*, *ворот* — *орот*, и произошло упрощение в словах *обоз* (ср. делимость слов *привоз*, *завоз*, *отвоз*), *обод* (ср. *провод*, *вывод*, *узд*), *оборот* (ср. *поворот*, *заворот*).

Таким образом, традиционные исторические чередования в отличие от морфологических чередований, не нарушающих единства морфем, создают те или иные препятствия для сохранения единства морфем и во многих случаях приводят к возникновению разных морфем на месте ранее единой морфемы.

На основе сделанного рассмотрения можно представить роль звуковой стороны для единства морфем в следующей схеме.

I. При едином значении

1. Единая морфема, в зависимости от общности звуковой стороны:

А. С неизменным звуковым составом: *сок* — *сок-у*; *спор* — *спор-ный*; *дуб-ов-ый* — *сад-ов-ый*; *слов-ѣм* — *дом-ѣм*.

Б. С регулярными (продуктивными) чередованиями: а) позиционными: *глас* — *глас-у*; *гот* — *гад-бк*; *дуб-ов-ый* — *гѣд-ав-бй*; *стал-бм* — *слѣз-ѣм*; *скал-а* — *скал'-ѣ*; б) морфологическими: *сок* — *соч-ный*: *фузбл* — *фузбл'-нѣй*; *мѣх-а* — *мѣх-ка*; *с'иж-ѣ* — *с'ид'-ѣт*.

В. С включением в морфему внутренних флексий: *ѣ'ик* — *ѣ'ич'*; *б'ел* — *б'ел'*; *за-тѣч'-ит* — *за-тѣч'-иѣтл*.

2. Переходная группа. Фонетические варианты морфем, объединенные в одной парадигме, имеющие традиционные чередования: *сон* — *си-а*; *т'ем'* — *т'ѣм-нѣй*; *н'ос* — *нѣс'-ит*.

3. Разные морфемы в зависимости от расхождений звуковой стороны:

А. Соплетивные формы, объединенные в одной парадигме: а) разошедшиеся из одной морфемы: *к-авб* — *ч'-ѣвб*; *хад'-ѣфшѣй* — *шѣт-шѣй*; *жм-у* — *жа-л*; б) разные по происхождению: *ч'ывав'ѣк* — *л'ѣѣ'-и*; *м-ы* — *н-ѣм'и*; *плав-бй* — *хѣж-ѣ*.

Б. Синонимичные морфемы (корни, суффиксы, флексии) в разных парадигмах: *с'м'ех* — *хѣтѣт*; *глас* — *бк-ѣ*; *аткрѣ-т-ѣй* — *ч'ѣтѣ-ни-ѣй*; *рад'ѣст-к-а* — *кас'ѣр-ш-а*; *стал-бм* — *рук-бй*.

В. Морфемы, потерявшие самостоятельность и вошедшие в состав других морфем: *обѣз-ы* — *при-вѣз-а*; *в'ес'т'* — *в'ѣд-ѣт'*.

II. При разных значениях

Разные морфемы при любом соотношении звукового состава, начиная с тождества до полного расхождения:

а) при тождественном звуковом составе (омонимичные корни, суффиксы, флексии): *лук* (орудие) — *лук* (овощ); *лож-ный* — *лож-е*; *р'еч'-йст-ый* — *р'еч'-йст*; *гар-а* — *стал-а*; *п'или-у* — *кър'ндаш-у*;

б) при позиционных чередованиях: *лук* (овощ) — *луг-а*; *мор* — *мар-а*; *пол* — *пал'-ей* (полей);

в) при расхождениях, аналогичных историческим чередованиям: *дарбж-а* — *дарбж-ъ*; *брак* (в производ.) — *брѣч'-ный*; *уж-у* (*удит*) — *уж-ит*;

г) с разными расхождениями, не имеющими аналогии в чередованиях: *мак* — *мал*; *мак* — *мор*; *мак* — *рок*; *мак* — *мрак*;

д) при полном расхождении: *мак* — *дол*; *стул* — *роф*; *зуб-ок* — *трѣк-мр'-йст*; *стал-у* — *куст-ѣм*.

*

Выяснив общие фонетические условия, необходимые для выделения морфем, для их разграничения и единства — наличие звукового состава, диапазон изменений и чередований звуков, необходимо остановиться на том, как эти общие условия отражаются на конкретных морфемах. Конечно, следует характеризовать те факторы и условия, которые имеют более или менее широкое приложение. При решении этого вопроса также можно исходить из понятия морфемы, а именно учитывать, в каких звуковых вариантах бытует в языке единая морфема. В основном выяснению подлежит то, что способствует сохранению неизменности звукового состава и чем, наоборот, вызывается его изменяемость. Условия, определяющие такую устойчивость или подвижность звукового состава морфем, разнообразны и разнородны; они частью морфологического, частью фонетического характера.

Общим условием, от которого зависит неизменность или изменчивость звукового состава морфем, является ее употребление, с одной стороны, в одних и тех же морфологических положениях, с другой — в разных положениях. В первом случае не возникает потребности к какому-либо приспособлению морфемы к другим морфемам, и со стороны последних нет воздействия на звуковой состав этих морфем. Это изолированные морфемы, обычно находящие место в целом слове, не входящем в словообразовательное гнездо, например, все звуки слова *очень* (*бч'ьн'*) не допускают ни фонетических, ни морфологических чередований. В таком же положении находится слово *вон*, междометия *ба*, *увы*, *ого* (*оγο*). Такие случаи редки.

Изменяемость же звукового состава морфем связана с тем, что морфемы, как правило, взаимосвязаны и их звуковой состав в известной мере зависит от их сочетания с теми, с которыми они объединяются в словах. Чем разнообразнее эти объединения, тем больше возможностей для подвижности звукового состава. Поэтому с особой полнотой изменяемость звукового состава проявляется в морфемах, находящихся применительно в обширных словообразовательных гнездах и разветвленных парадигмах. Так, корень *кос-*, употребляемый в словах и формах *кбс-ы*, *кас-а*, *каз'-ба*, *кас'-ит'*, *каш-у*, *вѣ-кѣш-у*, обладает широким диапазоном фонетических и морфологических чередований. То же корень *вяз-* в образованиях: *с-в'ѣз-ный*, *с-в'ѣс-ка*, *в'е"з-ѣт'*, *в'ѣж-ѣт*, *в'е"ж-ы*.

С морфологическими условиями связаны, как указывалось, морфологические чередования, которые являются обязательными в определенных типах словообразования и формообразования, например, чередование *зубных* и *шипящих* находит место в образованиях: 1) а) глаголов с суффиксом *-а-*: *укра-с-ить*, *украш-ать*, *отраз-ить* — *отраж-ать*; б) страдательных причастий прошедшего времени: *украш-енный*, *отраж-енный*;

в) формы 1-го лица: *украи-у, отраж-у*; 2) отглагольных существительных с суффиксом *-ени-*: *украи-ение, отраж-ение*. В подобных случаях проявляется то, что последующие морфемы оказывают влияние на звуковой состав предыдущих, вызывая чередования, не определяемые фонетическими причинами.

Фонетические изменения звуков, как известно, вызываются действующими фонетическими законами, в зависимости от которых разным позициям свойственны различные звуки, но для того чтобы в одной морфеме оказалось чередование звуков разных позиций, необходимо, чтобы морфема употреблялась в разных морфологических условиях. Это и получает выражение в сочетаниях с разными морфемами и в особенностях их сочетаний, например, чередование звонких и глухих возникает, когда, с одной стороны, морфема *губ-* сочетается с морфемами, начинающимися гласными или сонорными (*губ-а-, -ы, губ-ной*), с другой — с морфемами, начинающимися глухими (*гуп-ка, гуп-ч'ьт'ий*); чередование безударных и ударных гласных наблюдается, когда ударение перетягивается с одной морфемы на другую: *пол-ет — пол-й — въ-пол-и* (*п'ол'ьт — пал'й — въп'ол'и*) — поэтому позиционные чередования вызываются совместным действием фонетических и морфологических условий.

Фонетические (позиционные) чередования ограничиваются разными условиями морфологического и фонетического характера. Так, диапазон позиционных чередований подвергается ограничению в зависимости от положения морфем в слове. Это связано с тем, что чередования ударных и безударных гласных осуществляются в пределах слова и их исходным пунктом служит ударный слог. Поэтому морфемы, употребляемые в начале слова и включающие первый слог, не могут иметь чередований ударного и заударного гласного, а ограничиваются чередованием ударного и предударных гласных (*пб-д'эл — пл-д'ам' — пб-д'в'ам'*), наоборот, морфемы, употребляемые в конце слова, включающие последний слог слова, не могут иметь чередований ударного и предударного гласных, а только ударного и заударных (*стал-бм — п'бл-бм; ид' би — б'бр'-би*).

Изменчивость звукового состава морфем проявляется неодинаково в зависимости от положения звуков в морфеме. Звуковые законы русского языка таковы, что большей устойчивостью обладают звуки, находящиеся не в конце морфемы. Это относится к согласным, подверженным ассимиляциям и оглушению в конце слова. Согласные, находящиеся перед гласными внутри морфемы, остаются неизменными, так как за ними не могут появляться звуки, вызывающие ассимиляции. Так, *с* в *сам, слы, съд'авот* остается без изменения, так же *п'* в *п'ам', п'еч'т'бк, п'ьт'ч'бк*. Неизменными остаются и группы согласных, расположенные перед гласными: *пл* в *пл'атн'ий, плт'йт', пл'т'п'е'жы, ст* в *стол, ст'лы, ст'л'в'ац'ц'ь*. Одни из них остаются всегда в сильной позиции (*сам, п'ам', пл'атн'ий*), другие всегда в слабой позиции (*стол, д'ет, с'м'ез*). Наоборот, согласные в конце морфемы оказываются перед разными звуками, вызывающими ассимиляции: *з* в приставке *из-*: *из-уч'йл, ис-кр'ш'ыл, изе-ж'ыл, иш-ш'р'к'ыл, иш'-ч'е'р'т'ыл*, а также перед передними гласными, вызывающими смягчение: *ст'л'лы — ф ст'л'л'е, ст'бл'ик*. Таким образом, в отношении согласных внутренняя часть морфем перед гласным характеризуется непроницаемостью. Изменчивость гласных, как указывалось выше, не зависит от их положения внутри или в конце морфемы; ср. чередования *а — л* — *ъ* в корне *стар*: *стар — ст'лр'йк — ст'ър'ик'а* и в корне *да-*: *дал — д'вал — в'д'ъл*.

Таков ряд морфологических и фонетических условий, определяющих неизменность или изменчивость звукового состава конкретных морфем; без учета этих условий характеристика звуковой стороны определенных морфем не может быть достаточно точной.

В заключение следует отметить, что предлагаемое решение вопроса о звуковой стороне морфем, исходящее из понятия морфемы, отлично от

з к его освещению с фонологических позиций, когда исходным берется или понятие фонемы по теории вариантов или понятие го ряда. Такие подходы, при которых берется внешнее для морфемное, с одной стороны, оставляют без рассмотрения ряд существующих явлений, непосредственно относящихся к данной проблеме (исторические чередования), с другой — предвзято объясняют отношение морфем к звуковой стороне (положение, что материалом построения морфем являются фонемы по теории вариантов)³.

19 декабря 1959 г. скончался известный языковед Александр Николаевич Гвоздев. Он родился в с. Сивини Краснослободского уезда Пензенской губернии (ныне Мордовская АССР). Окончив в 1918 г. Московский университет, А. Н. Гвоздев начал педагогическую деятельность в Пензе; 20 лет он был учителем-словесником в пензенских школах и педагогическом техникуме. Уже в этот период А. Н. Гвоздев ведет активную научную и методическую работу. В Пензе им создан ряд ценных трудов по диалектологии, методике преподавания русского языка, по изучению детской речи. Расцвет научной деятельности А. Н. Гвоздева связан со временем работы в Куйбышевском педагогическом институте (с 1938 по 1959 г.). В 1943 г. А. Н. Гвоздев защитил докторскую диссертацию «Формирование у ребенка грамматического строя русского языка» (в 1949 г. она опубликована в двух частях Издательством Академии педагогических наук РСФСР). В 1945 г. А. Н. Гвоздев был избран в члены-корреспонденты Академии педагогических наук РСФСР.

В период работы в Куйбышевском педагогическом институте А. Н. Гвоздевым созданы такие фундаментальные труды, как «О фонологических средствах русского языка» (1949), «Основы русской орфографии» (4 издания, 1-е — в 1947), «Очерки по стилистике русского языка» (1-е издание в 1952, 2-е — в 1955). Большой известностью пользуется вышедший в 1958 г. двухтомный вузовский курс А. Н. Гвоздева «Современный русский литературный язык», а также выдержавший несколько изданий «Сборник упражнений по современному русскому языку». Оба пособия выросли из лекционных курсов и практических занятий, проводившихся А. Н. Гвоздевым в Куйбышевском педагогическом институте.

Печатные труды А. Н. Гвоздева широко известны и за рубежом, в братских социалистических странах. Книга А. Н. Гвоздева «Очерки по стилистике русского языка» в 1959 г. издана в Китайской Народной Республике в переводе на китайский язык. Научная деятельность А. Н. Гвоздева характерна широтой научных интересов, неутомимостью в разработке новых проблем, принципиальностью и настойчивостью в отстаивании своих взглядов.

В. А. Малаховский
(Куйбышев)

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ А. Н. ГВОЗДЕВА

1. Опубликованные работы

1. «Анкета для собирания сведений о говорах Пензенской губернии», Пенза, 1923.
2. «Типы великорусских говоров Пензенской губернии», «Труды Пензенского общества любителей естествознания и краеведения», вып. VI, 1925.
3. Рецензия на кн.: Н. Н. Дурново, Повторительный курс грамматики русского языка, вып. 1, 1924, «Родной язык в школе», вып. 8, Л., 1925.
4. «Школьное наблюдение в наблюдениях над языком», сб. «Родной язык в школе», вып. 9, Л., 1926.
5. «О методе ведения наблюдений над языком», журн. «Просвещение», Пенза, 1926, № 5—6.
6. «Описание говора села Ушинки Спасского уезда Пензенской губернии», «Труды специальной комиссии по диалектологии русского языка», вып. 9, Л., 1927.
7. «Говор села Сивини Краснослободского уезда Пензенской губернии», там же.
8. «Усвоение ребенком родного языка», сб. «Детская речь», М., 1927.
9. «Значение изучения детского языка для языковедения», «Родной язык и литература в трудовой школе», 1928, № № 3, 4—5.

³ Рассмотрению фонологических подходов в решении вопроса о звуковой стороне морфем посвящены мои статьи: «К вопросу об отношении фонетики к морфологии», в сборнике статей А. А. Реформатского «О соотношении фонетики и грамматики (морфологии)», сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955 и «Вопросы фонетики. Три типа транскрипций», ВЯ, 1958, № 6.

9. «Наблюдение над языком маленьких детей», «Русский язык в советской школе», 1929, № 5.
10. «Согласование глагола с глаголом», там же, 1930, № 2.
11. «Как отразится на ошибках учащихся реформа орфографии по проекту Главнауки?»⁴, там же, 1930, № 5.
12. «К вопросу о реформе орфографии», там же, 1931, № 1.
13. «О взаимоотношении разных элементов в орфографии», там же, 1931, № 4.
14. «Орфография как система», «Литература и язык в политехнической школе», 1932, № 4.
15. «К вопросу о роли чтения в усвоении орфографии», «Русский язык и литература в средней школе», 1934, № 4.
16. «Динамика ошибок на проработанные и непроработанные орфограммы», сб. «Вопросы орфографии в школе», М., 1936.
17. «Словообразование в русском языке», сб. «Русский язык и литература в средней школе», Куйбышев, 1940.
18. «Инструкция к «Вопроснику для составления диалектологического атласа русского языка»», Куйбышев, 1939.
19. «Говор западной части Вадского района Пензенской области». «Уч. зап. [Куйбышевск. пед. ин-та]», вып. 5, 1942.
20. «Основные линии формирования у ребенка морфологической системы русского языка», там же, вып. 7, 1943.
21. «Усвоение ребенком звуковой стороны родного русского языка», там же, вып. 8, 1947.
22. «Основы русской орфографии», М.—Л., 1947.
23. «Сборник упражнений по современному русскому языку». М.—Л., 1947. (Рекомендуется в программах по русскому языку для пед. ин-тов.)
24. «Краткий отчет о диалектологической экспедиции в Безенчукский район Куйбышевской области в июле 1945 г.», «Бюллетень диалектологического сектора Ин-та русского языка [АН]», вып. 1, М.—Л., 1947.
25. «Заметка о говоре с. Тихонова б. Ягодинской волости Судогодского уезда Владимирской губ.», там же, вып. 2, 1948.
26. «К вопросу о влиянии междиалектного общения на фонетические системы русских говоров», ИАН ОЛЯ, 1948, вып. 3.
27. «Таблица типов аканья и яканья», «Бюллетень Куйбышевского межобластного кабинета атласа русского языка», вып. 1, 1948.
28. «Усвоение ребенком звуковой стороны русского языка», М.—Л., 1948.
- 28а. «Краткие сведения о говорах Земетчинского и Вадского районов Пензенской обл.», «Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка [АН]», вып. 4, 1948.
29. «О пределах действия звуковых закономерностей в русском языке», «Уч. зап. [Куйбышевск. пед. ин-та]», вып. 9, 1948.
30. «О фонологических средствах русского языка», М.—Л., 1949.
31. «Формирование у ребенка грамматического строя русского языка», ч. 1, М., 1949.
32. То же, ч. 2, М., 1949.
33. «Два говора одного села (село Капаевка Городищенского района Пензенской области)», сб. «Материалы и исследования по русской диалектологии [Ин-та русского языка АН]», т. 1, 1949.
34. «Говор с. Кануевки Безенчукского района Куйбышевской области», там же, т. 2, 1949.
35. «Основы русской орфографии», 2-е доп. и испр. изд., М., 1950. (Рекомендуется в программах по русскому языку для пед. ин-тов.)
36. «Сборник упражнений по современному русскому языку», 2-е испр. и доп. изд., М., 1950. Допущено Министерством высшего образования для университетов и пед. ин-тов.
37. «Стилистическое использование имени прилагательного». «Р. яз. в шк.», 1950, № 4.
38. «К расцвету советского языкознания», ИАН ОЛЯ, 1950, вып. 1.
39. «Стилистическая роль местоимений», «Р. яз. в шк.», 1950, № 6.
40. «Вопросы современной орфографии и методика ее преподавания», сб. «Материалы объединенной научной сессии, посвященной трудам И. В. Сталина по языкознанию...», М., 1951.
41. «Основы русской орфографии», 3-е доп. изд., 1951. (Рекомендуется в программах по русскому языку для пед. ин-тов.)
42. «Очерки по стилистике русского языка», М., 1952. (Рекомендуется в программах по русскому языку для пед. ин-тов.)
43. «О фонологии "смешанных" фонем», ИАН ОЛЯ, 1953, вып. 1.
44. «Сборник упражнений по современному русскому языку». 3-е испр. и доп. изд., 1953. (Рекомендуется в программах по русскому языку для пед. ин-тов.)

⁴ Написано совместно с К. Н. Гвоздевой.

15. «Роль исторических чередований в современном русском языке», «Р. яз. в шк.», 1954, № 1.
16. «Основы русской орфографии», 4-е изд., М., 1954. (Рекомендуется в программах по русскому языку для пед. ин-тов.)
17. «О соотношении форм несовершенного и совершенного видов», «Р. яз. в шк.», 1955, № 2.
18. «Очерки по стилистике русского языка», 2-е испр. и доп. изд., 1955. (Рекомендуется в программах по русскому языку для пед. ин-тов.)
19. «Местомещение», «Уч. зап. [Куйбышевск. пед. ин-та]», вып. 13, 1955.
20. «К. С. Станиславский о фонетических средствах языка. Лекция для учителей», М., 1957.
21. «Обладают ли позиции различительной функцией?», ВЯ, 1957, № 6.
22. «Современный русский литературный язык», ч. I — «Фонетика и морфология», М., 1958. Учебное пособие для пед. ин-тов.
23. «Современный русский литературный язык», ч. II — «Синтаксис», М., 1958. Учебное пособие для пед. ин-тов.
24. «Вопросы фонетики. Что дают три типа транскрипций?», ВЯ, 1958, № 6.
25. «О звуковом составе морфем», сб. «Материалы III Межобластной конференции кафедр русского языка пед. вузов Поволжья», Куйбышев, 1959 (тезисы доклада).
26. «К вопросу о фонеме», сб. «Вопросы теории и методики изучения русского языка. Труды Первой научной конференции кафедр русского языка пед. ин-тов Поволжья», Саратов, 1959.
27. «О звуковом составе морфем», (ВЯ, 1960, № 3).
28. «Практическое значение фонологии по поводу статьи А. А. Реформатского „Обучение произношению и фонология“», «Научные докл. вып. III. Филол. науки» (ИВФН), 1960, № 2.

2. Рукописи (архив)

1. «Вопросы изучения детской речи» (печатается в Изд-ве Академии пед. наук СССР).
2. «Об основах русского правописания» (печатается в Изд-ве Академии пед. наук РСФСР).
3. «Современный русский литературный язык», ч. I — «Фонетика и морфология» (готовится к печати в Учпедгиз 14 дек. 1959 г.).
4. «Современный русский литературный язык», ч. II — «Синтаксис» (готовится к печати).
5. «Диалектологический атлас Пензенской области» (24 карты).
6. «Словарь Жени Гвоздева до двух с половиной лет» (40 стр.).
7. «Дневник развития речи Жени Гвоздева» (400 стр.).
8. «Опыт экспериментального изучения усвоения орфографии» (170 стр.).
9. «О понятии „фонема“ у Бодуэна де Куртене» (13 стр.).
10. «К вопросу об основном принципе русской орфографии» (24 стр.).
11. «К вопросу о развитии и формировании словосочетаний» (печатается в сб. «Вопросы культуры речи», вып. 3) (8 стр.).
12. «Об одной разновидности относительного употребления будущего времени» (печатается в сб. «Вопросы культуры речи», вып. 3) (12 стр.).
13. «Создатели алфавитов и фонология» (8 стр.).
14. «К вопросу об отношении фонетики к морфологии» (31 стр.).
15. «Об одной проблеме стилистики (случай стилистической дефектности конструкций, соответствующих целям автора и отвечающих нормам языка)» (23 стр.).
16. Незаконченная статья: «Что важнее при изучении русского языка в национальной школе — ознакомление с морфологическим составом или словообразованием?» (написано 8 стр.).
17. «О различии морфологического членения слов в системе языка и у отдельных представителей этого языка» (2 стр.).
18. «Тезисы учения о фонемах, иллюстрируемые посредством буриме (несерьезно-серьезно)».

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ *

В о п р о с № 2: «Что унаследовал русский литературный язык XIII—XIV вв. от предшествующего периода и в чем сказалось влияние на него северновосточнорусского этнографического и диалектного (великорусского) окружения?»

Представляется необходимым установить само понятие русского литературного языка применительно к XIII—XIV вв. Как уже неоднократно отмечалось в нашей лингвистической литературе, письменные памятники XIII—XIV вв. по их содержанию и культурно-общественной функции в общем распадаются на три большие группы: богослужебные произведения, повествовательная (в широком смысле) литература и всякого рода деловые документы. Богослужебные произведения предназначались для нужд религиозного культа, в них не находила своего отражения (исключая приписки, заметки на полях и прочее) жизнь древнерусского общества. Это была специфическая «литература для чтения» с заостренными канонизированными текстами. Язык богослужебных произведений был хотя и близок (ввиду генетического родства) к народному древнерусскому языку, но все же был чужим для древнерусского населения. Как известно, местная древнерусская окраска церковнославянского языка XIII—XIV вв. несколько усилилась по сравнению с XI—XII вв., но все же церковнославянский язык сохранился без существенных изменений: он «унаследовал» почти все, что было в нем в XI—XII вв. Церковнославянский язык в XIII—XIV вв. продолжал оказывать мощное воздействие на собственно русский литературный язык, и это воздействие позже еще более усилилось. Приходится сожалеть, что изучение истории собственно церковнославянского языка, имеющей очень большое значение для понимания сдвигов, происходивших в русском литературном языке, прекратилось.

Изучение языка деловых документов очень важно для установления процессов, имевших место в народной древнерусской речи. Однако нужно иметь в виду, что грамоты, договоры, письма и т. п., как правило, не предназначались для ознакомления с ними посторонних лиц. Деловые документы не предназначались для чтения их «широкой публикой», они не были литературой, поэтому их воздействие на нормы складывавшегося и развивавшегося литературного языка было ограниченным. Лишь тогда, когда деловые документы обнародовались, т. е. включались в летопись, они становились доступными для древнерусского читателя.

Произведениями собственно древнерусского литературного языка можно считать памятники второй группы — летописи, хроники, повести, жития, поучения, «слова» и т. п. В них, как в фокусе, находили свое отражение процессы, происходившие как в народном устном языке, так и в сфере книжной речи. Они представляли собой не только генеральную линию развития литературы, но и генеральную линию развития литературного языка. Хотя нормы этого литературного языка сильно колебались (от чисто церковнославянского до народно-разговорного, что зависело от многих обстоятельств, прежде всего от тематики и целенаправленности текста произведения), все же в нем была ощутительна тенденция

* Продолжение публикации ответов на анкету, опубликованную в № 4 за 1959 г. (стр. 50—51).

перейти в новую систему церковнославянскую и древнерусскую разговорную стихию. Процесс этого сплавления начался с самого зарождения письменности в древней Руси, а в XIII—XIV вв. он нашел свое продолжение в языкового синтезирования, протекание которого было тем, что и церковнославянский и древнерусский языки были родственными, постоянно изменялись, но «наследство», полученное в XIV вв. от предшествовавшего периода, сохранилось. Изучение связей церковнославянского и древнерусского языков — одна из задач истории русского языка. Продолжающиеся попытки вычлестить древнерусский литературный язык, независимый в своем развитии от церковнославянского языка, специально не аргументируются в своей основе историко-лингвистических доказательствами. Сказалось влияние на литературный язык XIII—XIV вв. «диалектного окружения» (что такое «этнографическое окружение» в лингвистическом отношении — непонятно)? Насколько мы можем судить по фактам у нас фактам, это влияние сказалось во всем: в фонетике, грамматике и лексике. Лучше сформулировать вопрос иначе: сказалось это влияние, каковы были его результаты. XIII—XIV вв. — важный рубеж в истории восточнославянской речи. Экономическое и политическое развитие древней Руси подготвило почву для роста и укрепления диалектных особенностей. На севере — цоление, некоторые явления, связанные с судьбой *ъ* и *ь*, появление сочетаний *кѣ, гѣ, хѣ*, форм местоимений *меня, тебя, себя*, утрата ряда особенностей общевосточнославянского происхождения, продолжавших сохраняться на юге, и т. д., на юге — фрикативный *γ*, начало развития комплексов явлений, связанных с изменением *ѣ* и псконных *е, о* в закрытых слогах, утрата некоторых особенностей общевосточнославянского происхождения, продолжавших сохраняться на севере, и т. п. Особый интерес представляют развивавшиеся расхождения в лексике. После работ Л. А. Булаховского и моих, посвященных этой проблеме, появилось немало кандидатских диссертаций, в которых содержатся новые наблюдения. К сожалению, они еще не обобщены и не проверены в свете широкого сравнительно-исторического анализа на материале всех славянских языков. Мы теперь располагаем несравненно большим материалом и можем ставить вопрос о древнерусских диалектных группах не только проблематически. Основываясь на новых материалах, в какой-то мере можно сказать о том, существовали ли в XIII—XIV вв. особые восточнославянские языки. Можно сказать, что какой-либо глубокой дифференциальной перестройки к XIII—XIV вв. в восточнославянской речи не произошло. Процесс дифференциации только начался, и еще нельзя говорить о том, что уже возникли особые великорусский, украинский и белорусский языки. О возникновении особых восточнославянских языков можно говорить только применительно ко времени конца XIV—XVI вв. Попытки некоторых современных языковедов считать началом образования украинского языка XII и даже XI в. ничем не обоснованы и являются плодом недоразумения. Наличие в памятниках XI—XII вв. немногих диалектных особенностей, которые впоследствии входят в систему украинского языка, говорит лишь только о том, что некоторые его черты восходят к XI—XII вв. Между прочим, выделение языков, как известно, представляет собою не только лингвистическую проблему. В древнерусских памятниках XI—XIV вв. мы не находим никаких следов того, чтобы великоруссы противопоставляли себя как особую народность украинцам и наоборот. Это и понятно: в это время не было еще ни великоруссов, ни украинцев, ни белорусов. В литературном языке того времени локальные особенности не переросли ступень диалектных различий внутри единого древнерусского языка.

ОБСУЖДЕНИЕ РУССКОГО ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ М. ФАСМЕРА

В. Н. ТОПОРОВ

О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА *

1

Этимология уже давно прочно связала себя с историческим языкознанием. Само возникновение сравнительно-исторического метода и создание сравнительной грамматики индоевропейских языков основывалось на результатах этимологических исследований в гораздо большей степени, чем принято считать. Развитие сравнительной фонетики индоевропейских языков полностью определялось успехами этимологии. И если впоследствии, с конца 70-х годов XIX в., утвердилось мнение, что одной из важнейших основ сравнительной грамматики является принцип безысключительности фонетических законов, позволяющий строить ряды соответствий и служащий инструментом и одновременно критерием надежности этимологии, то это произошло лишь потому, что в течение 35—40 лет до указанного периода в результате подвижнической деятельности Потта, Фика и других этимологов был собран огромный материал, легший в основу сравнительной фонетики индоевропейских языков. Тем не менее при сравнении места, которое занимали этимологические труды в прошлом веке и сейчас, оказывается, что доля этимологии в лингвистических исследованиях несомненно уменьшается в количественном отношении. Нечего и говорить, что проблемы этимологического анализа в современном теоретическом языкознании пока оттеснены на периферию. Было бы ошибочным считать такое положение случайным. Более того, в известном смысле можно сказать (хотя заранее легко предвидеть многочисленные возражения со стороны этимологов), что этимология заслуживает той участи, которую она разделяет теперь. Перед этимологией открываются два пути: или примириться с ее все уменьшающимся значением, или же выработать новые методы анализа, приведя их в соответствие с достижениями современного теоретического языкознания.

Положение этимологии в кругу других лингвистических дисциплин определяется еще одним важным обстоятельством. Деятельный век передоверил двадцатому задачу подведения итогов этимологических исследований — составление этимологических словарей для большинства индоевропейских языков, в частности для всех славянских. Эта задача решается и сейчас, причем понимание целей и задач этимологии, принципы анализа материала в гораздо более значительной степени, чем в других областях языкознания, унаследованы от XIX в. Во всяком случае это утверждение вполне действительно в отношении этимологических слова-

* В настоящем разделе редакция помещает материалы пятого расширенного пленарного заседания Словарной комиссии Отделения литературы и языка АН СССР, посвященного обсуждению «Русского этимологического словаря» М. Фасмера (заседание происходило 2—3 декабря 1959 г.). Из докладов, поставленных на обсуждение, редакция публикует с некоторыми сокращениями доклады В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева, поскольку они касаются ряда вопросов, имеющих общее значение. Другие доклады, посвященные более специальным проблемам, публикуются в «Лексикографическом сборнике». — *Ред.*

рей славянских языков. Поэтому естественно, что каждый новый словарь скорее отражает уже пройденный этап, чем настоящий, и сразу же по его появлении возникает необходимость или по крайней мере желание создать новый этимологический словарь.

Если обратиться к индоевропейской и славянской этимологии последних десятилетий, то окажется, что есть основания говорить об известном кризисе в этой области. Реально он проявляется в том, что за последние годы сильно уменьшилось число людей, занимающихся этимологией, и резко сократилось количество этимологических статей в лингвистических журналах и сборниках. Может быть, еще важнее то обстоятельство, что современные этимологи ищут решения своих задач, если можно так выразиться, на «непрямых путях». Дисциплинирующая сила фонетических законов и построенной с их помощью сети фонетических соответствий раньше воспринималась как необходимое условие и надежный критерий каждой строго научной этимологии. Теперь же этимолог во все возрастающей степени ощущает бремя этих законов и ищет любого удобного случая, чтобы выйти в область этимологических решений, не ограниченных столь жестко какими-либо строгими правилами. Кажется, этимологи слишком буквально поняли скорее остроумный, чем справедливый афоризм, приписываемый Мейе («все хорошие этимологии уже найдены, а те, что еще не найдены, — нехороши»), и устремились к тем средствам анализа, которые имеют дело не с правилами, а с исключениями. Отсюда — понятие перемещение интересов из области, где каждый шаг строго детерминирован, в широкие сферы, в которых каждое заключение — не больше, чем одна из вероятностей, и где интуиция этимолога вновь оказывается решающим аргументом. Так снова возникает вопрос об отношении *ars etymologica* к *scientia etymologica*.

Однако и на путях так называемой «традиционной» этимологии в последние десятилетия возникли новые проблемы, существенно отразившиеся на этимологических исследованиях. Теория строения индоевропейского корня, опирающаяся, в частности, на признание двух состояний каждого корня, способных присоединять те или иные расширители или суффиксы, позволила связать в единую цепь целый ряд корней, рассматривавшихся ранее в качестве вполне самостоятельных и независимых друг от друга. Положительные последствия этого замечательного открытия для этимологии очевидны. Сейчас же хотелось бы обратить внимание на те следствия, вытекающие из этой теории, которые создают дополнительные трудности при этимологическом анализе и вынуждают и в области традиционной этимологии в большей степени ориентироваться на вероятностные заключения, чем на категорические выводы. В самом деле, принятие теории корня с двумя состояниями значительно увеличивает число возможных этимологических решений, тем более что становится мало существенной разница в тех элементах сравниваемых корней, которые некогда относились к распространению корня, а различие в огласовке корня теряет во многом свое прежнее значение. Стоит также напомнить, что некоторые языки настолько трансформировали свою фонологическую систему, что установление соответствий между ними и общиндоевропейским если и возможно, то часто мало полезно. Речь идет не о германских или подобных им языках, где вся система смычных согласных оказалась как бы сдвинутой на один шаг; в таких случаях достижение первоначального состояния и, следовательно, установление соответствий не представляет трудности, тем более что дополнительно исследователю даны некоторые контрольные всхи для проверки (например, закономерные явления, отмеченные Вернером). Более поучительна и сложна ситуация, возникающая в тех языках, где используется код, лишенный целого ряда элементов по сравнению с общиндоевропейским кодом. Такая ситуация встречается, например, в тохарском языке, в фонологической системе которого в известный период были сняты противопоставления по глухости-

звонкости и по придыхательности-непридыхательности. Поэтому тохарский корень типа *tot-*, где *t* символизирует смычный согласный, а *o* — гласный непереднего ряда, теоретически в равной степени может считаться результатом перекодирования девяти общеиндоевропейских сочетаний — *tot, dot, dhot, tod, todh, dod, dodh, dhod, dhodh*. Если еще учесть, что и вокалический центр корня может восходить не к одной гласной фонеме, т.е. даже откинув некоторые корни, несовместимые с требованиями, предъявляемыми к индоевропейскому корню, получится слишком густая сеть соответствий, чтобы надеяться на достоверную этимологию данного тохарского корня. Одним словом, получается на первый взгляд примерно такая картина, которая некогда вызвала язвительное определение этимологии Вольтером как «науки, где гласные ничего не значат, а согласные значат очень мало».

Понятно, что в этих условиях особое значение приобретает вопрос о критериях надежности той или иной этимологии. Пока же этот вопрос не поставлен надлежащим образом, и строгие критерии правильности (истинности) при этимологическом анализе заменяются интуицией, которая — в конечном счете — обычно зависит от уровня знаний и от личного опыта того или иного этимолога. Нужно думать, что ни весьма полезное в частных случаях изучение историко-культурных реалий, ни обращение к помощи субстрата или адстрата, ни принятие нерегулярных, чаще всего «экспрессивных» фонетических изменений (Махек, Яначек, Ливер), ни своеобразный этимологический дадаизм последних работ Вайяна (если говорить только о славянской этимологии) — как порознь, так и в сочетании друг с другом — не могут вывести этимологические исследования из надвигающегося кризиса. Каждое из перечисленных здесь направлений вполне закономерно и полезно, если только при этом существует определенный контроль, своего рода «обратная связь». Суть каждого такого подхода и целого ряда других, представленных в западном языкознании, но отсутствующих в работах по славянской этимологии, сводится к интерпретации некоторой части словаря с заданной точки зрения. В любом случае большая часть слов оказывается неподходящей для этимологического анализа. Даже та небольшая часть, которая принципиально доступна анализу с точки зрения перечисленных направлений, практически оказывается еще меньшей, поскольку, между прочим, этимолог сплошь и рядом не в силах решить, отражало ли данное слово в момент возникновения культурное понятие или нет, и, следовательно, может ли это слово интерпретироваться в свете историко-культурных реалий. С другой стороны, нет гарантии, что слово, рассматривающееся как экспрессивное, действительно было таковым в тот отдаленный период, когда сложилось слово и от которого не дошло до нас никаких текстов.

Так как ни одно из названных направлений не может претендовать на универсальность, предлагаемые ими пути в лучшем случае следует считать паллиативами, эффективными главным образом лишь постольку, поскольку данная область остается недостаточно исследованной.

Иногда говорят, что в современной науке наиболее результативными являются традиционные принципы этимологии и что другого направления в этимологии, которое означало бы прогресс, в настоящее время нет. С этим положением пока приходится согласиться, тем более что понятие «традиционные принципы» не определено с достаточной четкостью. Однако, как только мы перейдем от практической задачи составления этимологического словаря к более общим проблемам этимологии, окажется, что «традиционные принципы» пока довольно хорошо применимы к славянской этимологии, во многом еще не вышедшей из стадии собирания материала, но становятся малоэффективными для современной романской или германской этимологии в наиболее продвинутых ее направлениях.

Если только «традиционные принципы» в этимологии не синоним всего лучшего, что сделано в этой области, то под ними следует понимать

те принципы этимологического анализа, которые выросли из достижений сравнительно-исторического языкознания и основываются, в частности, на положении о безысключительности действия фонетических законов. В каком объеме «традиционные принципы» этимологии включают в себя экскурсы в нелингвистические области, сказать трудно. Каждый этимолог отвечает на этот вопрос по-разному, и поэтому тут едва ли нужно говорить о традиции. Если изложенное здесь понимание «традиционных принципов» этимологии верно, то в таком случае окажется, что этимология опирается на теоретические основы, которые в самом сравнительно-историческом языкознании подвергаются теперь или достаточно серьезной критике, или переосмысливаются в соответствии с новыми взглядами. В частности, тот факт, что в настоящее время все более серьезными становятся аргументы в пользу замены старого приема сравнения отдельных изолированных элементов сравнением целых пучков элементов, образующих систему (пусть элементарную), в сочетании с открывающейся возможностью преобразовать сравнительно-историческую грамматику в структурную типологию родственных языков, делает очевидным расхождение между теоретическим основанием современной компаративистики и принципами этимологического исследования. Возникает ряд вопросов. Нужно ли бояться этого расхождения? Насколько жестко современная этимология связана со сравнительным языкознанием? Должна ли этимология и в дальнейшем опираться только на «традиционные принципы», пусть совершенствуя их? Или в будущем этимология, которая некогда уже изменила принципу омофонии, изменит и сравнительному языкознанию? Эта серия вопросов вызывает ряд других: что такое этимология? какой она станет в будущем?

Ответить на все это едва ли можно вообще, тем более в пределах одной статьи. И тем не менее на каждом повороте науки мы должны ставить подобные вопросы и пытаться отвечать хотя бы на некоторые из них. Возможно, что практическим работникам в области этимологии эти вопросы покажутся пустыми и они будут ссылаться на высокую результативность «традиционного» направления. Мне, однако, представляется, что эта результативность одновременно несет в себе опасность сужения этимологической проблематики. Нужно постоянно помнить, что эта результативность объясняется единственно тем, что «традиционная» этимология с самого начала была ориентирована на принципы сравнительно-исторического языкознания. Результативность такого подхода, если угодно, была задана по условию, и поэтому «традиционная» этимология не может не быть результативной в тех пределах, которые ей поставлены теорией, служащей ее опорой.

2

Место этимологии в современном языкознании определяется сложным соотношением ее задач и задач других лингвистических дисциплин, без которых она не может существовать. Поэтому есть основание говорить об особом месте этимологии среди таких областей языкознания, как фонология, морфология, синтаксис, лексикология и семантика. Несмотря на тесные связи между перечисленными дисциплинами, каждая из них обладает вполне определенной автономией, в равной степени допускает изучение в двух измерениях (диахронически и синхронически) и, наконец, в любой из них чисто дистрибутивным путем можно выделить (причем без обращения к другим областям) единицы, характерные для данной области. Об этимологии этого сказать нельзя. По существу она сводится к комбинации ряда средств анализа, заимствованных из фонетики, словообразования, морфологии, лексикологии, семантики и других дисциплин, с целью решить проблему, относящуюся к сфере исторического языкознания, —

проблему происхождения слова. При этом следует указать, что в каждом индивидуальном случае комбинация указанных средств не остается неизменной. Поэтому в этимологии особенно трудно дать модель акта этимологизирования. Этимология не может претендовать на то, чтобы в результате использования этих приемов были получены выводы, имеющие отношение только к ней. Если же еще добавить, что моделирование семантической стороны данной этимологии корректируется или определяется нашими познаниями в области соответствующих культурно-исторических реалий (от деталей технологии орудий производства до особенностей восприятия окружающего мира), то окажется, что этимология пока, строго говоря, не может полностью уложиться в рамки только языкознания. Она находится в известной зависимости (хотя и не во всех случаях) также от лингвистических данных, в связи с чем некоторые ее выводы безразличны и для других областей науки.

Еще одна существенная особенность этимологии заключается в том, что она имеет чрезвычайно небольшое отношение к основной функции языка — к коммуникативной функции. Уже сам поиск этимологии данного слова означает, что его внутренняя форма не ясна говорящему или понимается им неправильно. Поэтому, как правильно, не может быть и речи об отношении этимологии к вопросу о коммуникативной функции. Сделаю в связи с этим два замечания. Первое — лингвист, устанавливающий этимологию слова, этимологически темного для членов данного речевого коллектива, получает дополнительную информацию о внутренней форме далекого предшественника современного слова (например, он устанавливает, что *лес* был назван в связи со словом *пестрый*). В таком случае можно говорить о вскрытии одностороннего канала коммуникации во времени, по которому к нам поступает сообщение. Второе — о пространственной коммуникации можно говорить лишь в отношении синхронической этимологии. Случаи «народной» этимологии, заимствования, когда они ощущаются как таковые говорящими, слова с прозрачной внутренней формой, описательные слова и т. п. явления характеризуются тем, что, помимо обычной информации, содержащейся в каждом слове, они несут некоторую дополнительную (поясняющую или указывающую на определенный стилистический ключ). В таком случае можно говорить о вкладе этимологически прозрачных единиц в акт коммуникации. Однако коммуникация такого рода имеет дело не столько с обменом сообщениями с познавательной функцией, сколько с обменом сообщениями с эмотивной или поэтической функцией. Именно в этом — ключ к исследованию структуры поэтического знака и к анализу синхронической этимологии, важным источником которой является поэтический язык.

Особое положение этимологии среди других лингвистических дисциплин и ее отсталость проявляются, может быть, лучше всего в том, что до сих пор большинство исследователей явно или тайно основную задачу этимологии видят в поиске этимона. Правда, в последнее время чаще стали раздаваться голоса, сомневающиеся в целесообразности, а иногда и в реальности таких поисков. Но обычно они принадлежат не этимологам, а специалистам в области лексикологии или семантики, и основной пафос этих выступлений заключается в призыве к учету системных отношений в лексике и в семантике (ср. известное выступление Вартбурга в 1937 г.). Что касается специалистов в области этимологии, то они в большей степени пока озабочены введением некоторых средств контроля правильности этимологии (Малькпелль, Пирон), чем собственно структурным подходом к этимологическому анализу. В связи с последним можно, пожалуй, назвать только Гиро, чье определение задач этимологии представляется пока наиболее удачным¹.

¹ См. P. Guiraud, Les champs morpho-sémantiques (critères externes et critères internes en étymologie). BSLP, t. 52, fasc. 1, 1956, стр. 269.

Пытаясь учесть и элементы структурного подхода, и элементы, осуществляющие контроль и корректирующие правильность данной этимологии (аналог «обратной связи» в некоторых системах), можно предложить следующее понимание задач этимологии: определение координат разных систем (фонологической, словообразовательной, лексической, семантической, поэтической и т. п.), пересечение которых порождает данное слово, и определение последующей траектории слова.

3

Нередко этимологию рассматривают как уникальный инструмент для извлечения исторических данных, поскольку они отражены в языке. И чаще всего именно в связи с этимологией говорят об историзме в языкознании. Более того, случается, что на основании только этимологии делаются выводы исключительно исторического характера. Разумеется, что этимология действительно теснее связана с историко-культурным контекстом, чем другие разделы языкознания. Здесь хотелось бы в порядке предварительных соображений высказать ряд замечаний об «историзме» в этимологии. Рассматривать все стороны языка обязательно в историческом плане, вероятно, возможно, но далеко не всегда целесообразно. По-видимому, многое зависит от того, каким количеством степеней свободы обладает данный лингвистический факт в отношении к соответствующей культурно-исторической реальности. Чем больше количество степеней свободы, тем проблематичнее поиск исторических реалий. Чем меньше количество степеней свободы, тем больше возрастает значение внешних по отношению к языку фактов, в том числе и исторических, и тем меньше собственно лингвистическая информация о слове. Интуитивное понимание этой зависимости присуще большинству этимологов; поэтому, говоря об «историзме» этимологии, обычно имеют в виду анализ лишь одной части словаря, включающей лексику. Относительно которой заранее известно, что она в значительной степени обусловлена реалиями. Не случайно, что в связи с этимологией слов типа *я, ты, спать, идти, вода, плохой* и т. п. предпочитают не говорить об исторической направленности этимологии.

Думается, что существующее понимание значения этимологии для исследования исторических (в широком смысле) отношений нельзя признать полностью правильным. Едва ли кто-нибудь будет сейчас считать подлинно историческим подходом к фонетике утверждения вроде «такой-то звук языка А происходит из такого-то звука языка В». Нам необходимо знать — для действительно исторического анализа — место данного звука в тексте и его место в данной системе как в языке А, так и в языке В. Без этих данных нам останется неизвестной функциональная нагрузка изучаемых фонем, их разрешающая сила. В этимологических же исследованиях сколько угодно могут говорить об истории слова, не учитывая его связей ни в разные периоды его истории, ни в современном языке. Второе распространенное заблуждение заключается в том, что этимологи часто забывают, что какой бы значительной ни была обусловленность слова со стороны исторических реалий, всегда существует лингвистическая обусловленность данного слова, которая заставляет ту или иную историческую реальность выбрать вполне определенный, в известной степени предначертанный путь воплощения в языке. Поэтому суть «историзма» в этимологии не столько в том, что нам удастся вскрыть нечто новое в истории, сколько в том, что, обладая определенными познаниями в культурно-исторической сфере, мы при этимологическом исследовании слов, имеющих отношение к этой сфере, строим возможные модели образования значения этих слов, исходя из исторических данных, а затем проверяем эти модели на собственно лингвистическом материале; и эта проверка является как раз решающим критерием истинности этимологии.

В самом деле, количество этимологий, позволивших вскрыть дотолем

неизвестные реалии, ничтожно мало и, нужно думать, никогда не будет большим. С другой стороны, имеется достаточно много этимологий, которые подтверждают и без того известные исторические факты. При этом ошибочным было бы считать, что этимология, подтверждающая данный исторический факт, является абсолютно правильной и гарантирует правильное понимание соответствующей исторической реалии. Дело в том, что наличие большого числа степеней свободы у слова в отношении к реалии делает необходимой постановку не одного, а очень многих вопросов, обращенных этимологом к данному слову, которые и дают возможность построить своего рода этимологическую матрицу слова. Если обратиться к аналогиям, то можно сказать: один вопрос к русской фонеме *t*, глухая ли она или нет, явно недостаточен для определения ее специфики; для этого следовало бы задать все возможные вопросы, применимы к *t*, и получить все ответы. Поскольку же в этимологии мы не всегда в состоянии задать все вопросы в отношении данного слова, у нас не может быть абсолютной уверенности в том, что этимология этого слова отражает именно данный исторический факт. Чаще всего мы вправе сказать лишь то, что лингвистические данные не противоречат пониманию слова в свете таких-то историко-культурных фактов. Поэтому не мудрено, что такие, например, замкнутые пласты, как терминология родства или социальных отношений, приводят разных ученых к разным выводам в зависимости от того, какой тип родственных или социальных отношений был выбран как моделирующий. Учитывая эти особенности результатов этимологического анализа в отношении к истории культуры, можно говорить об этимологии в функции «подвижного определителя», меняющего свое значение в зависимости от выбранной системы координат. Следовательно, этимология слова обычно лишь подвижно определяет культурно-исторические реалии. Указание на то, что *змея* названа по принципу *земляная*, *пес* — *пестрый* и т. п., проигрывает в конкретности как потому, что и другие предметы могли называться *земляной*, *пестрый*, так и потому, что не всегда ясно, назван ли *пес* непосредственно по принципу «пестрый» или же между *пес* и *пестрый* стоял еще ряд понятий, обозначавшихся по этому же принципу (примеры такого рода хорошо известны.)

Из сказанного не следует делать вывода о недооценке исторических возможностей этимологии. Бесспорно, что изолированная этимология — даже самая блестящая — с трудом поддается проверке и поэтому не может непосредственно быть интерпретирована в историческом плане. Вероятность этимологии возрастает, когда имеется цепь связанных фактов, причем некоторые из них оправдывают моделирование их с помощью исторических сведений. Именно поэтому следует признать целесообразным этимологический анализ отдельных семантически замкнутых групп или даже анализ некоторых слоев лексики (так называемые «культурные» слова) на длительном протяжении истории языка в связи с историческим комментарием. Наконец, возможно обнаружение немаловажных историко-культурных реалий и на примере этимологии одного слова, если только оно связано с чем-то в другом языке и если общий исторический контекст оказывается благоприятным. К числу таких на редкость удачных этимологий принадлежит данное Бенвенистом объяснение поздно засвидетельствованного греческого слова *ῥροζα* «глиняная ваза, в которой очищали золото» в связи с хетто-хурритским *hubrušhi* «глиняный сосуд» и в связи с другими данными о металлургической технике и ее восточных корнях.

И все же ценность этимологии для истории заключается не только в таких случаях, охватывающих к тому же лишь меньшую часть словаря. Нужно думать, что подлинный историзм связан с определением последовательности способов моделирования окружающего мира, насколько это отражается в истории лексики и, как частный случай, при создании новых слов. Такой подход давал бы возможность использовать не только терминологическую и «куль-

турную» лексику, но словарь во всем его составе, что в свою очередь дало бы повод проверить наши этимологические решения и на материале, выходящем за пределы словаря, например на грамматике. Как в психоанализе на основании некоторых подсознательных явлений можно сделать заключение о психической организации личности, так на основании разных принципов разбиения действительности с помощью языка в связи с основными принципами называния можно реконструировать внутренний мир человека далеких эпох. Вероятно, лишь такой подход приблизил бы нас к важнейшей теме — язык и культура. И пусть не покажется парадоксальным утверждение, что этимология слова не меньше характеризует человека, чем предмет, названный этим словом.

4

Может ли этимология быть структурной? Точнее говоря, могут ли в этимологии использоваться приемы структурного анализа и дадут ли они сведения, существенные для знания структуры языка? Известно, что в каждый данный период существует обычно некоторая общелингвистическая теория, признаваемая центральной. Как правило, она не охватывает всей совокупности проблем, но все же она отвечает на большее количество вопросов, чем любая другая соперничающая с ней теория, и поэтому считается основной. Доминирующее положение такой теории определяет в очень значительной степени и новый аспект исследования в традиционных областях, которые — в частном случае — могут и не входить в сферу компетенции этой общей теории. Получается, что общая теория как бы индуцирует все области, вызывая в них постановку новых проблем или же предлагая новые способы решения старых проблем. Несомненно, что сейчас в центре стоит структурное языкознание, отвечающее на большинство вопросов и дающее более простые и изящные решения. Оно поддержано, с одной стороны, аналогичным развитием в ряде других наук, с другой, мощными средствами строгого анализа, зачастую связанного с математикой. Структурная лингвистика продолжает экспансию, захватывая все новые области, очень далекие от нее вначале (история языка, диалектология, лингвистическая география, семасиология, проблема «язык и общество», стилистика, поэтика и т. д.). По этой причине каждый этимолог должен решить вопрос об отношении избранной им области к структурному языкознанию, и в случае, если это отношение существует, он должен решить, какой должна быть конфигурация проблем в этимологии в соответствии с требованиями структурной лингвистики и какие приемы анализа надо использовать в этимологии.

До сих пор традиционное понимание задач этимологии предполагает почти совершенное игнорирование системного подхода к фактам языка. Более того, известная формула Пизани, в которой определяются задачи этимологии, опирается по существу на отнесение этимологии к фактам речи, а не языка. Если же этимология действительно связана только с речью, то, конечно, бесполезно говорить о структурном подходе к ее изучению. К счастью, дело обстоит не так. Хотя различия в жизненном и профессиональном опыте, в образовании, в знании иностранных языков, в эстетической чуткости к слову определяют несколько различных объем слов, этимологизируемых каждым говорящим, и, главное, различные типы этимологизирования, все же расхождения будут касаться в общем очень небольшой части словаря, и они почти не влияют на коммуникативную функцию языка. Огромная же часть словаря или вовсе не этимологизируется говорящими (слова с утраченным ощущением внутренней формы), или же этимологизируется практически без индивидуальных различий, отражая систему языка (слова, сохраняющие в явном виде ощущение внутренней формы, производные образования продуктивных

типов, сложные слова различных видов; слова, выражающие соотносительные понятия, и т. п.). Поскольку этимологизация говорящими перечисленной категории слов (кстати, конечно, самой многочисленной) отражает отношения, существующие в языке, п, более того, помогает вскрыть и уточнить их, нельзя сомневаться в том, что этимология связана и с планом языка, хотя особенности этой связи существенно иные, чем в области фонологии, морфологии или синтаксиса. Если высказанные здесь соображения верны, структурный подход к этимологии оказывается принципиально допустимым. Остается выяснить, может ли и если может, то в каких направлениях практически реализоваться эта потенциальная возможность нового подхода.

Одним из серьезных недоразумений в области этимологических исследований было игнорирование синхронического подхода к этимологии («статической этимологии», как ее назвал Вандриес), пренебрежение к этимологии современного языка, к проверке этимологии этимологически прозрачных слов. Тем самым этимология лишилась возможности экспериментировать. Разве нет противоречия в том, что, интересуясь этимологией слов многовековой давности и зная, что через тысячу лет ученые будут исследовать вопрос об этимологии слов, возникших в XX веке, мы безразлично относимся к тем нормам этимологизирования, которые существуют в речевых коллективах сегодняшнего дня? Нас интересует этимология слова, возникшего, положим, в третьем тысячелетии до новой эры, и мы довольно категорически предлагаем свое решение. Но ведь если мысленно представить, что некая «машина времени» перенесет нас в эту отдаленную эпоху и ее язык станет нашим родным языком, мы все-таки не сможем выяснить многие этимологические вопросы, связанные с данным словом, поскольку у нас нет пока средств анализа этимологии в синхроническом плане. Неужели непременно условием этимологии является наличие многовековой дистанции между временем происхождения слова и этимологом? Исследования в области лексики и семантики современных языков ни в коей мере не компенсируют отсутствия исследований принципов этимологии, продуктивных в современном языке. Кстати, если бы такие исследования осуществлялись, стало бы ясно, насколько неоправданно претенциозны задачи традиционной этимологии, пытающейся однозначно определить точку во времени, когда возникло слово.

Поэтому здесь хотелось бы прежде всего подчеркнуть первостепенную важность синхронического подхода к этимологии, предполагающего выяснение мотивированности данного слова внутри каждой из систем, пересечение которых и образует это слово. Такой подход позволит построить элементарную модель акта этимологизации и основать этимологическое исследование на структурных принципах. Кроме того, он сделает более объемным и содержательным понимание этимологии, устранив, кстати, непроходимые препятствия, стоящие на пути между научной и «народной» этимологией. Возможно, что полезным оказалось бы исследование вопроса об «окказиональных» случаях этимологизирования. Частный случай их проявления — поэтический язык. Когда М. Цветаева пишет: «Минута: мнущая, минешь! || Так мимо же и страсть и друг! || Да будет выброшено ныне ж — || Что завтра б — вырвано из рук! || Минута: мелящая! Малость! || Обмеривающая: слышь:...». И далее: «Минута: мающая! Мнимость! || Вскачь — медлящая! В прах и в хлам! || Нас мелящая! Ты, что минешь: || Минута: милостыня псам!» — и т. д., то здесь также дается этимология слова *минута*, но она ориентирована не на код сравнительного языкознания, а на код поэтической речи.

Основания для структурного подхода к этимологии лежат в том, что каждое новое слово возникает на пересечении ряда систем, являясь как бы сгустком в определенном языковом поле. И если по одному слову

крайне трудно сделать заключение о породивших его системах, то, имея несколько связанных друг с другом слов, сделать такое заключение несравненно проще, поскольку возможность многозначной интерпретации в таком случае резко сокращается и, наоборот, контрольные средства проверки истинности данной этимологии возрастают. Этими обстоятельствами объясняется то, что в будущем этимология во все возрастающей степени должна будет заниматься не изолированными словами, а словами, входящими в уже известные семантическую, словообразовательную или лексическую системы. При этом степень структурности тех или иных этимологических утверждений будет зависеть от прогресса структурных методов в каждой из перечисленных областей. Преимущество от изучения этимологически или семантически связанных друг с другом слов, образующих определенную «микросистему», заключается в том, что можно извлечь дополнительную информацию о данном слове из сведений о других словах, связанных с первым. Кроме того, поскольку точное определение слова только извне невозможно, оказывается весьма полезной информация о целом, в которое входит данное слово.

По-видимому, постепенное введение структурных методов в этимологию может осуществляться по разным путям. Представители новых направлений в семантике (Трир, Вейсгербер, Остуд, Гиро, Ульман и др.) с разных сторон подходят к определению семантических систем, и можно предвидеть время, когда встанет вопрос о создании универсальной семасиологии. Здесь же уместно напомнить о важных мыслях Гринберга в связи с семантической типологией. Работы Бенвениста, Редара и Шантрена в области словообразования вводят элемент структурного анализа через исследование формантов: отсюда извлекается некоторая информация и о том, каким должен быть корень слова. Первые образцы структурно-этимологических исследований можно видеть в некоторых статьях Бенвениста. Гиро, Порцига, Дюмезиля. Наконец, именно Гиро в своей теории «морфо-семантических» полей в связи с проблемой критериев в этимологии ближе других подошел к определению сферы приложения структурных методов в этимологии, хотя сам вопрос об этих методах не поставил.

5

При рассмотрении вопросов, связанных с возможностью применения точных методов к этимологическому анализу, в частности проблемы этимологического моделирования, прежде всего следует ответить на возможные сомнения относительно уместности введения точных методов в такую, казалось бы, далекую область, как этимология. Если этимология хотя бы опосредствованно имеет дело с фактами, отражающими системные отношения, формализация и применение точных методов возможны; в настоящее время это положение едва ли кто решится оспаривать. Другое дело, если неправильно положение о возможности отражения в этимологии слова элементов структуры. Поэтому вопрос формулируется следующим образом: целесообразно ли введение точных методов в изучение этимологии или же введение этих методов хотя и возможно, но столь же нецелесообразно, как, например, статистический анализ газа для выявления величины молекулы? Представляется, что вопрос о применении методов точных наук в этимологии составляет часть более общего вопроса о возможности распространения этих методов на общественные науки. Ответ на этот важный вопрос был достигнут в полемике между создателем кибернетики Винером и виднейшим специалистом в области культурной антропологии Леви-Штраусом. Винер утверждал следующее: природа общественных наук такова, что само развитие их неизбежно отражается на объекте их, а объект исследования с необходимостью подвергается воздействию вмешательства исследователя. Леви-Штраусу удалось убедительно показать, что среди общественных явлений есть по крайней мере

одно, к которому не приложимы возражения Винаера, — язык, изучаемый в плыве структурной лингвистики. Дело в том, что наше языковое поведение во многих отношениях лежит на уровне бессознательного и не контролируемого нами. Мы не сознаем морфологических или синтаксических правил, мы не сознаем, в какие оппозиции входит данная фонема; говоря, мы не контролируем статистическое распределение единиц языка. Поэтому, оставаясь на уровне характеристик, не зависящих от нашего контроля и не осознаваемых нами, мы получаем возможность изолировать исследователя от исследуемого объекта и, тем самым устранив результаты вмешательства исследователя, получить серьезные основания для математического анализа и даже для предсказания некоторых элементов системы. Один из самых блестящих образцов такого подхода связан с именем Кребера, доказавшего, что даже такой в высшей степени произвольный аспект социального поведения, как женские моды, доступен научному наблюдению и приложению точных методов. Законы, управляющие развитием мод, не могут быть выявлены чисто эмпирически; они выводятся лишь в результате измерения некоторых основных отношений между различными элементами костюма. Отношения, полученные таким образом, могут быть выражены в виде математических функций, значения которых в каждый данный момент позволяют предсказывать.

В применении к этимологии проблема сознательного и бессознательного и проблема отделения наблюдателя от наблюдаемого объекта принимают несколько особый вид по сравнению с другими областями общественных наук и даже по сравнению с другими лингвистическими дисциплинами. В частности, в этимологии роль сознательного более ощутима, чем во многих других областях, не только потому, что мы осознаем этимологию так называемых «описательных» слов, но и потому, что мы в некоторых словах осознаем этимологию, которая по существу нам неизвестна (случаи «народной» этимологии). Поэтому практически удобнее использовать те слова, которые этимологически не прозрачны: именно они представляют собой удобное поле для исследования некоторых характеристик, не зависящих от контроля исследователя. Можно думать, что и в отношении «описательных» слов есть основание говорить о выделении элементов, застрахованных от вмешательства наблюдателя. Экспериментальные исследования в области семантических полей, вероятно, покажут некоторые пути для стратификации уровней сознательного и бессознательного в семантике и через нее — в этимологии. Несмотря на все это, вопрос остается весьма сложным и требует специального исследования.

Положительно ответив на вопрос о возможности применения точных методов к этимологическому анализу, надо указать некоторые конкретные пути введения этих методов в этимологическое исследование. Одним из важнейших в современной науке средств для решения сложных задач является моделирование реальных явлений или процессов. Целесообразно считать модель теоретическим построением с точным, исчерпывающим и не слишком сложным определением. Модель должна отражать реальность лишь в некоторых отношениях, существенных для исследователя в связи с теми вопросами, которые поставлены. Преимущества метода моделирования заключаются как в том, что между нашим незнанием и изучаемым явлением строится серия последовательных переходов, так и в том, что правильно построенная модель может сделать возможным применение математических методов.

В этимологии моделирование вводит исследователя в область сознательного экспериментирования, что, кстати, позволяет выяснить реальные задачи и реальные возможности этимологического анализа, отбросив в качестве обязательного задания поиски этимона. Моделирование в этимологическом исследовании предполагает целый ряд направлений. Во-первых, речь может идти о моделировании при этимологическом анализе данного конкретного слова или целой группы слов, обладающих какими-

либо общими характеристиками. В таком случае модель представляла бы собой усложненный и конкретизированный вариант общей модели этимологического акта. Большая конкретность достижима в том случае, если заранее известны некоторые существенные для анализа характеристики данного слова, отличающие его от других слов. При теперешней неразработанности критериев истинности в этимологии каждая конкретная этимология и является по существу своего рода моделированием фонетических, словообразовательных или семантических особенностей исследуемого слова. Однако это — инстинктивное моделирование, моделирование на ощупь. Хотя оно и приносит пользу, конструируемые модели оказываются не строгими. В них отсутствует указание на степень вероятности правильности этой модели. Кроме того, как правило, моделирование в современной этимологии игнорирует важное требование, предъявляемое к моделям. — отражать те черты действительности, которые существенны в свете поставленных вопросов.

Другим важным направлением в этимологическом моделировании является построение общих моделей акта этимологизации. Суть таких моделей сводится к тому, что они указывают, на какие вопросы должны быть даны ответы, чтобы этимология слова считалась необходимой и достаточной. В появившейся в прошлом году книге английского компаративиста Росса «Этимология» дается определение этимологии в алгебраической форме. Так, для слова, не являющегося заимствованием, при условии, что это слово принадлежит языку, имеющему другие родственные языки, Росс предлагает формулу

$$(II) A_0x_0[«z_0»] < A_1 (> A_1x_1[«z_1»] A_2x_2[«z_2»] \dots A_{i_m}x_{i_m}[«z_{i_m}»]),$$

которую можно прочесть следующим образом: этимология исследуемого слова x_0 со значением z_0 языка A_0 может считаться необходимой и достаточной, если указать, что оно происходит из соответствующего слова x языка A , к которому восходит язык A_0 ; при этом в других языках, родственных языку A_0 , слово x языка A дало слово x_{i_1} со значением z_{i_1} в языке A_{i_1} , дало слово x_{i_2} со значением z_{i_2} в языке A_{i_2} и т. д.

Эту формулу, при всей ее элементарности, Росс считает строгой, хотя в этом можно усомниться, поскольку в ней не уточнен ряд понятий. Операционная роль этой формулы ничтожна. Указанная формула — не что иное, как моделирование младограмматического подхода к этимологии. К тому же в формуле не учтены факторы, влияющие на этимологию слова (вроде скрещений, синонимии, паронимической аттракции, омонимических столкновений и т. п. — явлений, которые сами нуждаются в строгом формальном определении). Не случайно, что Росс не интересуется ни место слова x_0 в языке A_0 , ни значение того слова x в языке A , к которому восходит x_0 . Более современная и структурная модель этимологии была бы отражена в формуле, которая учитывала бы структурные законы поля, включающие слово x_0 в это поле (во-первых), указывала бы правила порождения и развития, в соответствии с которыми эволюционировало слово (во-вторых), и определяла бы внутренние системные связи слова x в языке A (в-третьих). В таком случае, кроме указанного Россом критерия истинности (судьба продолжателей слова x языка A в языках, развившихся из A), был бы введен еще один — траектория слова при заданных условиях (здесь уместно также вспомнить предложенный Поливановым способ проверки правильности этимологии с помощью введения вероятностей). Возможна и дальнейшая конкретизация указанной формулы (например, при учете некоторых индивидуальных особенностей этимологизирующего и этимологизируемого).

Наконец, возможны и более общие, абстрактные приемы моделирования разных стадий этимологического исследования. Эти приемы, видимо, позволяют представить хотя бы некоторые фрагменты процесса этимоло-

гизирования в виде задач, которые более успешно решаются в других областях, в частности в математике. Можно привести ряд примеров, помня их гипотетический характер.

Этимология и теория игр. Теория игр представляет собой особую область математики, исследующую задачи, связанные с нахождением оптимальной стратегии (т. е. наивыгоднейшей линии поведения) для каждого из участников игры. Пока теория игр имеет практическое приложение двух родов — к играм в собственном смысле слова и к решению некоторых экономических и социологических проблем. Первые наброски теории игр были даны еще в 20-х годах нашего века в работах Неймана и Бореля; в общем виде теория игр впервые предстала в фундаментальном исследовании Неймана и Моргенштерна «Теория игр и экономического поведения», вышедшем в 1944 г. Не имея здесь возможности излагать основные положения теории игр, стоит указать лишь то, что может понадобиться далее. Прежде всего нужно различать абстрактное понятие игры (англ. *game*), которая описывается совокупностью точно сформулированных правил, и понятие игры (англ. *play*), являющейся конкретной индивидуальной реализацией игры — *game*. Далее, правила игры не должны смешиваться со стратегией игры. Первые — абсолютные команды, вторая — свободный выбор, хотя и обусловленный правилами игры. Наконец, следует знать, что есть игры с общей нулевой суммой выигрыша, когда нет ни производства новых ценностей, ни их утраты (например, в игре в карты или в других играх с целью развличения), и есть игры с общей ненулевой суммой выигрыша (социологическая и экономическая сферы). Наряду со случаями, когда у участников игры противоположные интересы (как в играх с нулевой суммой, если отбросить некоторые более сложные случаи коалиции участников), теория игр рассматривает и такие ситуации, когда решение выбирается одним лицом, второй же участник остается по существу пассивным (борьба с природой или со случаем). При этом тот, кто выбирает систему, предлагает стратегию статистика, а реальное распределение фактов является стратегией природы.

Решение этимологических задач во многом напоминает игру с ненулевой суммой, в которой решение выбирается одним лицом — этимологом (любопытно, что уже Шухардт пытался представить решение этимологической задачи как своего рода игру). Подобным же образом в этимологическом исследовании скрещиваются динамическая стратегия исследователя с неподвижной стратегией языкового материала. Практически в этимологии стратегия исследуемого слова определяется известными правилами (законами фонетики, семантики и т. п.) плюс совокупность неизвестных нам закономерностей или исключений. Стратегия этимолога характеризуется тем, что, встретив препятствие со стороны исследуемого слова, он вправе изменить свою стратегию, причем количество таких перемен практически неограниченно. Возможно, что в будущем окажется целесообразным представление обычной этимологической задачи как игры с неполной информацией и представление известной этимологии как игры с полной информацией, имеющей игровую функцию и матрицы.

Кибернетический аспект лингвистических исследований, как и представление языка в свете теории информации, стал обычным в последние годы. Появился ряд работ, связанных с изучением этих вопросов. Поэтому ограничимся здесь лишь несколькими примерами, конкретно относящимися к этимологии. Поскольку современная этимология в значительной степени может быть переформулирована в плане требований структурной лингвистики и представлена как наука об одном из видов систем, постольку этимология может, видимо, исследоваться и в кибернетическом аспекте. Насколько целесообразен такой подход? Дело в том, что кибернетический подход выгоднее всего в случаях, когда изучаемая система является достаточно сложной. При анализе простых систем его преимущества могут остаться в тени. Что касается языка (а не речи), то его система, по-ви-

димому, занимает среднее место между сложнейшими биологическими и простыми механическими системами в отношении количества параметров. При этимологическом анализе фактов языка к уже имеющимся параметрам добавляются некоторые новые, связанные с диахроническим подходом. На этом основании можно, видимо, считать, что системы, отраженные в этимологии, достаточно сложны, чтобы быть солидной базой для кибернетического подхода.

Кибернетический взгляд на этимологию предполагает вопрос не о том, почему из слова *a* развивается слово *b*, а почему из *a* развивается *b* и только *b*, а не *c*, *d*, *e* и т. д. Как это ни странно, нечто близкое к такому подходу существовало в этимологии уже довольно давно. Во всяком случае Жильерон, говоря о патологии и терапевтике в языке, вынужден был задавать вопросы вроде: почему из *a* и *b*, зафиксированных в одну эпоху, в следующую *a* исчезло, а именно *b* сохранилось (совсем недавно с таким подходом солидаризировался уругвайский лингвист Козериу). Дальнейшие успехи в структурном языкознании, как и прогресс в исследованиях по лингвистической географии, должны привести к тому, что в этимологии (впрочем, и в других областях языкознания) все чаще будут ставиться вопросы кибернетического свойства. Выигрыш от этого для этимологии очевиден: вместо узкого понимания причинности, опирающегося на изолированные факты, возникнет широкое и глубокое понимание причинных отношений, исходящее из системного подхода.

Изменение этимологии слова от его возникновения до настоящего времени, по-видимому, удобно можно представить как своего рода преобразование под влиянием действия различных «операторов». Выяснив, какого типа преобразования осуществлялись в истории этого слова (однозначные или неоднозначные), и определив последовательность действия «операторов», этимолог получает возможность для внутренней этимологической реконструкции, правильность которой может быть отчасти проверена исследованием траектории соответствующего слова в родственных языках. Под «операторами» же при этимологическом анализе полезно иметь в виду все те **структурные изменения**, которые отразились на судьбе данного слова. Например: изменения в составе фонем или в их отношениях на протяжении истории слова; введение или снятие некоторых ограничений, налагаемых на структуру слога; изменение словообразовательной модели; перераспределение в структуре семантических полей; те или иные сдвиги в отношении нейтральной и экспрессивной лексики и т. д. В таком случае было бы целесообразным рассматривать этимологическую эволюцию слова как преобразования при заданных условиях. При этом вся история слова, взятая как целое, задавалась бы перечнем отдельных эпизодов в истории слова с указанием координат, которые определяли положение слова в данный период. Естественно, что этимология слова при таком понимании являлась бы чем-то вроде вектора, обладающего особым набором составляющих. Она бы указывала, почему именно в данный период данное слово этимологизируется так, а не иначе. Возможно, что такой подход позволил бы поставить вопрос о вариантах и об инварианте при этимологических преобразованиях. И, наконец, в очень отдаленной перспективе могла бы открыться возможность гипотетического предсказания этимологии данного слова в будущем. Дальнейший прогресс в создании больших электронных машин, возможно, подсказал бы и некоторые пути практической реализации проблемы предсказуемости в этимологии.

Пока же, видимо, могли бы быть выдвинуты более скромные, но также очень важные практические задачи. Во-первых, стратификация истории фонологической, словообразовательной, семантической, лексической системы данного языка и, следовательно, определение «операторов». В результате такой работы открылись бы новые точки зрения на этимологию слова; **изменяющееся слово в неизме-**

и я з ы к е, н е и з м е н я ю щ е е с я с л о в о в и з м е н я ю щ е м я я з ы к е. Эвристическая ценность таких представлений заключается в том, что мы получаем возможность мысленно экспериментировать, отключая то одну составляющую, то другую в зависимости от того, что нас интересует в данный момент. Во-вторых, в высшей степени целесообразным было бы исследование всех случаев преобразования слова при переходе из одной системы в другую — как внутри истории одного и того же языка, так и при переходе из одного языка в другой. Решить вопрос о том, как трансформируется слово при переходе из системы с таким-то количеством гласных фонем в систему с иным количеством; или как преобразуется слово, попав из системы с открытыми слогами в систему, где открытость слога не обязательна; или что происходит со словом из системы с многосложными словами, попавшим в моносиллабическую систему; или как преобразуется слово, в данной системе входящее в определенное семантическое «поле», при переходе в другую систему, где такого «поля» нет. и т. д. и т. п. — значит не только помочь этимологии выбрать твердые основы, но и сделать серьезный вклад в структурную типологию. Лишь после таких исследований могла бы быть солидно поставлена проблема детерминированности в этимологии и были бы выявлены те участки, где наиболее целесообразным методом исследования был бы вероятностный подход.

Еще одна аналогия может оказаться полезной применительно к этимологии. Речь идет о проблеме исследования скрытых от наблюдателя систем. Эта проблема, помимо ее первостепенного теоретического интереса, находит применение в широкой сфере практических приложений. Ее суть сводится к тому, что скрытая от наблюдателя система подвергается определенному воздействию на входе с одновременной фиксацией показаний на выходе (эта процедура позволяет составить своего рода протокол). Таким образом, первый этап исследования состоит в определении последовательности значений вектора с двумя состояниями. Полученная в результате этого информация дает первый набросок скрытой внутри системы. Очевидно, что обнаружение этой системы в принципе зависит от вопросо-ответной процедуры. Чтобы получить более полное представление о скрытой системе, нужно перекодировать протокол. В известной степени эта операция аналогична часто встречающемуся приему переопределения системы с обнаружившейся противоречивостью. Лишь неоднократное перекодирование протокола позволяет достаточно хорошо определить скрытую систему (кроме случаев с так называемой «неполностью наблюдаемой системой»). Возможно, что в какой-то степени подобная операция могла бы послужить моделью для этимологического анализа или для отдельных составных элементов его. В частности, в некоторых попытках экспериментального определения семантических «полей» применяется примерно такая же вопросо-ответная процедура, позволяющая уточнить семантические координаты того или иного слова (при этом вопросы ставятся экспериментатором, а ответы могут измеряться показаниями приборов, фиксирующих сосудистые реакции). Более специальные и менее надежные аналогии встречаются при обращении к области традиционной этимологии, в которой эксперимент выступает в завуалированном виде. Однако сейчас конкретный разбор этих аналогий был бы преждевременным, тем более что возможность представить этимологическую задачу в виде проблемы изучения скрытой системы несколько не предвещает вопроса о целесообразности такого представления. Последняя часто оказывается в зависимости от количества вопросов, достаточных для выяснения этимологии слова, и еще более в зависимости от количества полученных ответов. Особый случай, когда количество ответов на выходе чрезвычайно велико. Если у нас есть трехфонемное слово, причем каждая фонема имеет тройное происхождение, то на выходе у нас будет 27 ответов только о фонологической структуре этого

короткого слова; если же еще есть на выходе два-три ответа о первоначальном значении слова, то общее количество ответов астрономически увеличивается. При этом хотелось бы отметить, что указанная ситуация вполне реальна для очень большого числа языков. Конечно, была бы весьма любопытной реконструкция всех возможных форм, которые могли послужить источником для данного слова. Понятно, что в этом случае определение этимологии слова могло бы быть только вероятностным. Неэкономичность такого этимологического анализа бесспорна. Однако уже сейчас ясно, что высокая степень избыточности устанавливаемых вероятностных реконструкций в области этимологии компенсировалась бы тем, что сразу же стали бы очевидными многочисленные случаи, когда решение той или иной этимологии оказалось бы вообще беспредметным в силу отсутствия сколько-нибудь надежных исходных данных.

В связи с вышеописанными случаями особое значение приобретает вопрос о критериях истинности этимологии (с ним связана проблема так называемых «равноценных» этимологий). Эта сторона оказывается настолько существенной, что она должна быть отражена и в самом определении задач этимологии. Степень надежности этимологии всегда зависит от степени системности тех условий, в которых возникло данное слово, и от того, насколько четко прослеживается последующая траектория слова. Эти два признака несомненно служат критериями истинности в этимологии, помимо ряда других. В известной степени оба они как бы выполняют роль обратной связи в системе «этимолог — этимологизируемое», контролируя этимологические суждения и заключения. Если это так, то возможна еще одна аналогия из области кибернетики.

Каждое слово несет определенную информацию разного рода. Помимо информации, определяемой «операторами», действующими в данном состоянии языка, слово содержит также скрытую информацию, вскрываемую этимологом в процессе анализа. Эта информация в некоторых случаях помогает определить изменения в коде на протяжении истории слова и изменения в самом сообщении, поскольку слово является минимальным сообщением. Когда исследователю не удается извлечь всю возможную информацию из данного слова (фонологическую, словообразовательную, семантическую и т. п.), можно говорить о «шумах». При этимологических исследованиях под ними целесообразно понимать не только недоступные исследователю закономерности развития слова и исключения разного рода, но и ту долю вмешательства этимолога в исследуемый им материал, которая неизбежно искажает общую картину. Это воздействие этимолога на этимологизируемое в принципе, видимо, неустранимо хотя бы потому, что именно этимолог формулирует вопросы, проверяемые на этимологии данного слова. Тем не менее задача исследователя заключается в уменьшении помех, связанных с личностью этимолога. В известной степени эта задача может быть решена путем создания сложной системы перекрестных вопросов, причем некоторые из них (контрольные) могут быть противоположными по своему значению.

Довольно существенной задачей этимологии наших дней представляется вычисление степени информативности различных частей слова при этимологическом анализе. При этом было бы выяснено, что в каждом языке существуют несколько особые критерии истинности в этимологии. В частности, формально одна и та же структура первого слога многосложного слова несет различную информацию в применении к языку с сингармонической структурой слова и к языку, не знающему дистантной связи между гласными разных слогов. Или: слово с закрытым слогом, реконструированное для позднего этапа праславянского языка, обладает несравненно большей информативностью, чем слово с открытыми слогами. Точное вычисление информации в таких и подобных им случаях открыло бы еще один путь для введения точных методов в этимологию.

О. Н. ТРУБАЧЕВ

ОБ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Выход в свет «Русского этимологического словаря» М. Фасмера, который приобрел значение крупнейшего события в этимологии, подводящего итог современной научной работе в этой области, явился закономерным этапом в истории этимологической науки и этимологических словарей. Славянская этимология начала, как известно, с попыток синтеза, из которых даже наиболее совершенная породила впечатление преждевременности и среди научной критики, и у автора. Такова была судьба неоконченного «Славянского этимологического словаря» Э. Бернекера. Собственно уже тогда можно было говорить о начале нового в славянской этимологии периода этимологических словарей отдельных славянских языков, которые последовали один за другим в разное время в зависимости от местных условий и других причин.

Это были (не говоря об отдельных более ранних трудах, быстро утративших научное значение) «Этимологический словарь русского языка» А. Преображенского, вышедший начиная с 1910 г., т. е. почти одновременно со словарем Бернекера, затем «Этимологический словарь польского языка» А. Брюкнера (1927 г.), ряд изданий «Этимологического словаря чешского (чехословацкого) языка» Й. Голуба (последнее издание совместно с Ф. Конечным — в 1952 г.), «Этимологический и орфографический словарь болгарского литературного языка» С. Младенова (1941 г.), наконец, «Этимологический словарь чешского и словацкого языка» В. Махка (1957 г.), «Этимологический словарь польского языка» Ф. Славского (начиная с 1952 г.) и «Русский этимологический словарь» М. Фасмера.

Специфика местных условий, а подчас и ситуация накладывали отпечаток на эти труды. История болгарского этимологического словаря сложилась так, что он получил возможность увидеть свет только как орфографический словарь литературного языка; чрезвычайная близость двух языков Чехословакии имела следствием то, что этимологические словари в этой стране продолжают выходить до последнего времени в довольно своеобразной форме этимологического словаря двух языков вместе — чешского и словацкого. Однако как наиболее существенный факт следует отметить все яснее сознаваемую необходимость этимологического словаря для каждого славянского языка в отдельности. Отсутствие этимологических словарей для доброй половины славянских языков — явление, несомненно, временное; создание этимологических словарей славянских языков Югославии или, например, у нас создание словаря украинского языка — вопрос близкого будущего. То же можно, по-видимому, сказать об этимологическом словаре словацкого языка (заявки на который сделаны уже давно несколькими исследователями), о полабском этимологическом словаре. Менее ясны перспективы составления серболужицкого этимологического словаря. Нужно признать крайне неудовлетворительным тот факт, что у нас еще даже не поставлен вопрос о создании этимологического словаря белорусского языка. При всем этом совершенно очевидно, что знамение современной этимологии является преимущественный интерес к созданию этимологических словарей для каждого языка. Хотя это, естественно, не может исключать

продолжения работы по составлению синтезирующего труда, тем не менее имеются все основания считать именно работу над частными этимологическими словарями наиболее важной и перспективной.

Если ставить во главу угла в современном этимологическом исследовании интерес к достижению наиболее точного результата, единственного этимологического решения, то нельзя не признать сейчас, что надежной предпосылкой для этого может послужить в первую очередь создание этимологических словарей для каждого языка. Только наличие в руках исследователя таких справочников, отвечающих современному уровню науки, сделает реальным и интересным словарь-синтез, который охватывал бы все славянские языки. Назовем некоторые из проблем, удовлетворительное разрешение которых возможно лишь в рамках этимологического словаря данного языка: это: собственная история слова и его семантического развития; этимология местной лексики как позднего происхождения, так и древних диалектизмов; географическое распространение, особенно важное при изучении вышеупомянутой лексики.

Могут возразить, что все перечисленное осуществимо в рамках общего славянского этимологического словаря. Однако это не так, и в действительности получается то же, что почти неизбежно постигает составителей этимологических словарей, предпочитающих гнездовой способ любому другому: слова, лишаемые собственной истории, собираются вокруг этимологически основного слова, характерные производные находятся в одном ряду с образованиями массовой продуктивности — процедура, только формально оправдываемая основным принципом генетического родства морфем в этимологии, а на деле искусственная, затрудняющая дальнейшее исследование. Известно очень много случаев, когда удобное, казалось бы, обобщение всех производных в одной статье этимологического словаря оказывается преждевременным, а многие из этих производных обнаруживают самостоятельные этимологические связи, уводящие за пределы не только данного этимологического гнезда, но и данного языка. Несколько полезных примеров приводил из своего опыта Славский, нашедший нужным выделить производное польское *gromki* в отдельную статью из статьи *grom*, так как *gromki* обнаружило признаки заимствования из русского. Не случайно Махек, действовавший по другому принципу, прошел мимо многих случаев самостоятельных этимологических связей. Критическая проверка выявила, что производные чеш. *popraviti*, *silnice* и др., полностью обезличенные в его словаре и включенные в крупные этимологические статьи *pravý*, *сила*, являются семантическими заимствованиями, кальками. Продемонстрированные на этих примерах преждевременного или несколько поспешного синтеза приемы этимологического исследования позволяют, может быть, конкретнее представить себе результаты составления общего славянского этимологического словаря, а также реальную пользу от такого словаря на данном этапе. Скорее всего обнаружится резкое несоответствие между огромным затраченным трудом и небольшой действительной его полезностью для дальнейшей работы. Вот почему первоочередное значение сейчас приобретает этимологический словарь отдельного славянского языка. Сам по себе выход каждого такого словаря вполне естественно воспринимается как большое событие, которому обычно предшествует длительный период ожидания, когда потребность в подобном словаре ощущается все отчетливее.

*

Создание русского этимологического словаря (или словарей) имеет уже довольно длинную историю. Долгое время основным справочником по русской этимологии оставался словарь Преображенского, пользующийся и сейчас широкой известностью и не утративший до сих пор научного значения. Недостатки его хорошо известны. С другой сто-

роны, нельзя не упомянуть о крупных достоинствах этого словаря, который долгое время честно выполнял задачи обстоятельного справочника с хорошей сводкой многочисленных работ по этимологии и суждений, извлеченных из литературы по сравнительному языкознанию. Это немалая заслуга Преображенского, выгодно отличающая его словарь в данном отношении от некоторых других этимологических словарей. Во всяком случае опыт показал, что в этой области даже работа, принадлежащая перу первоклассного лингвиста и этимолога, может иметь довольно ограниченное значение как орудие труда, если она лишена аппарата, или носит слишком индивидуальный характер, или же объединяет обе эти особенности. Видимо, составителю этимологического словаря нельзя не считаться с тем проверенным на практике фактором, что лучший словарь — это в первую очередь сводка состояния этимологии языка, содействующая дальнейшему прогрессу в этой науке, а не собрание истин в последней инстанции. Так, словарь Брюкнера, принципиально игнорирующий литературу вопроса, довольно плохо выполняет задачи справочника. Точно так же, например, далекий от него по стилю латинский этимологический словарь Эрну — Мейе (с этимологической частью, выполненной Мейс), тоже избегающий библиографических ссылок, не может заменить словаря Вальде. С другой стороны, ограниченное значение как справочник может иметь и новый этимологический словарь Махна, где чрезмерно велика доля эксперимента, основанного главным образом на довольно оригинальных и не поддающихся проверке идеях автора.

Словарь Преображенского выдержал довольно успешно испытание временем — возможно потому, что он, не будучи в полном смысле слова оригинальным произведением, выигрывал благодаря своим качествам хорошего рабочего справочника. Однако любой этимологический словарь, вышедший сорок лет назад, не в состоянии удовлетворять современным запросам. В таких условиях работа по этимологии слов сопряжена с большими затруднениями и неизбежно предполагает огромную трату труда и времени на предварительные поиски. Нельзя не признать, что выход в свет словаря Фасмера явился весьма своевременным.

Появление словаря Фасмера совпало с определившимися в послевоенные годы во многих странах подъемом исследований по славянской и русской этимологии. Однако составление этого словаря, как и этимологические интересы его автора, имеет гораздо более глубокие корни. Мысль о создании этого словаря появилась у Фасмера полвека тому назад, еще до выхода труда Преображенского. К ее осуществлению автор шел долгие десятилетия, выполняя ряд подготовительных работ и собирая материал. Языковедческая подготовка Фасмера может считаться идеальной для составителя этимологического словаря русского языка. Но кроме хорошего знания многих языков, которые окружают русский язык или сталкивались с ним в процессе истории, Фасмера всегда отличал подлинный вкус к этимологии. Работая над самыми различными проблемами этимологии, Фасмер с особым интересом обращался к этимологическому исследованию ономастики и лексических заимствований. Разумеется, тематика его этимологических трудов гораздо шире. В ней значительное место занимают исконно славянские элементы словаря, но наиболее яркие достижения крупнейшего немецкого слависта заключены в его этимологических исследованиях ономастики (прежде всего топонимии и гидронимии) и заимствованных элементов словаря. Достаточно назвать такой образец тонкости анализа и необычайной точности, как этимология, вскрывшая в греческом названии Πόντος "Ἀεῖνος (позднее — Εὔξεινος) народно-этимологическое преобразование первоначального пранского названия моря *axšaēna* — «темный» и одновременно объяснившая дошедшее до нас название *Черное море* как перевод древнейшего названия. Широта этимологических интересов с ощутимым на общем фоне предпочтением к заимствованиям и ономастике

нашли полное выражение в «Русском этимологическом словаре» Фасмера.

Новый этимологический словарь русского языка публиковался с 1950 г. по 1958 г. выпусками, составившими три тома¹. Критика единодушно отметила как положительной факт чрезвычайную регулярность выхода частей словаря и вообще быстроту выпуска всего этого капитального труда. Собственно говоря, весь словарь был готов в основном уже в 1949 г. Общее впечатление, которое оставляет словарь, — это одинаковый (точнее — одинаково высокий) уровень содержания от первого до последнего выпуска. Эта равномерность изложения вместе с таким внешним фактом, как быстрый выход в свет, — объективные свидетельства зрелости труда. Между прочим, как будто ни один из рецензентов словаря Фасмера не занимался тем, чтобы, сравнивая различные части по мере выхода в свет, решать, насколько 2-й выпуск лучше 1-го, 3-й — лучше 2-го и т. д. ... Наблюдение это не лишено основания, тем более что почти одновременно с этим редкий рецензент, занимаясь разбором словаря Славского, не высказался по поводу того, насколько этот словарь делается содержательнее от выпуска к выпуску. Трудно сказать, чего больше в такой оценке — одобрения все возрастающему усердию автора или осуждения его стиля работы.

«Русский этимологический словарь» Фасмера — крупнейший по объему этимологический словарь русского языка. Обращаясь к принципам его построения, мы остановимся прежде всего на объеме словаря и его словнике. Собственно говоря, этот словарь по своему объему (свыше 1900 страниц мелкой печати основного текста, не считая вспомогательного аппарата) и по количеству статей (гораздо более 10 000) превосходит также все существующие этимологические словари славянских языков и может считаться одним из крупнейших этимологических словарей вообще. Фасмер стремился вобрать в свой словарь все, что оказалось возможным. Автор, составлявший словарь-справочник по такому принципу, вправе рассчитывать на благодарность читателей и ученых, которым предстоит работать, имея этот словарь под рукой. Фасмер буквально спас целый ряд слов и выражений для этимологического исследования, как справедливо указал один из рецензентов. Кроме редких и устаревших слов, в словарь вошли широкой струей диалектизмы и несколько сот собственных имен, что также никоим образом не может считаться отрицательным явлением. В объяснительном словаре-справочнике должны быть представлены все слова, нуждающиеся в объяснении, в том числе употребительная в данном языке ономастика. В конце концов возражения, особенно против включения последней, носят непринципиальный характер. В основном это ссылки на непомерное разрастание словаря. Им можно противопоставить, пожалуй, более принципиальные доводы, а именно: ономастика, употребительная в данном языке, вообще по праву должна быть отражена в этимологическом словаре этого языка; отбор и ограничение при этом целесообразно производить, включая названия, нуждающиеся в этимологизации, а также служившие предметом анализа в этимологической литературе. Без этого задача этимологического словаря — отразить современное состояние этимологии — будет выполнена недостаточно.

Таким образом, нет смысла спрашивать, зачем в словаре Фасмера помещены статьи *Азовское море*, *Днепр*, *Днестр*; полезность их очевидна. Но можно упрекнуть автора в том, что он не включил имени *Редедз*, о котором имеется этимологическая литература; что в статье *Мищера* он не упомянул важнейшей этимологии этого названия — от этнонима *megyer/magyar* «мадьяры, венгры»; что в статье *Царицын* он тоже не упомянул правильного старого объяснения этого названия как народной этимологии древнего топонима *Saryğyn* — столица Хазарии, соб-

¹ В настоящее время словарь Фасмера готовится у нас к изданию в переводе на русский язык.

ственно «желтоватый». Спорить с автором приходится по частным вопросам, соглашаясь с его принципом в целом.

Обилие диалектной и малоупотребительной лексики в словаре Фасмера смущает некоторых читателей, впрочем без особого на то основания. Это привилегия этимологического словаря, его специфика в отличие от словарей нормативных, а упомянутая лексика — насущный хлеб этимологии, которая в поисках генетических и словообразовательных связей не делает тех различий между словами, которые приняты в нормативных словарях. Этимологический словарь литературного языка — это, если угодно, смешение двух понятий, различных по своей природе. Вообще ограничивать этимологический словарь в этом смысле — значит выхолащивать понятие этимологии. И если иногда ограничения диалектной лексики предпринимают сами этимологи, то это только снижает ценность их словарей для исследователя.

Охарактеризованные особенности словаря Фасмера свидетельствуют о богатстве его словника, о последовательности стремления автора дать возможно более полный этимологический словарь. Разумеется, при этом не обошлось без пропусков, и рецензенты смогли указать Фасмеру ряд слов, не нашедших отражения в словаре. Нельзя не отметить, что специфичность аспекта этимологического словаря, обращенного в прошлое, привела к тому, что характерные пропуски наблюдаются не в сфере реликтов, диалектных и редких слов, а среди слов, без которых нельзя себе сейчас представить русского языка, по замечанию одного из рецензентов. К уже известным случаям можно добавить замеченные пропуски таких употребительных слов, как *вратарь*, *зараза*, *лютик*, *майка*. Названные слова должны были бы по праву занять место в словаре, поскольку они к тому же нуждаются в этимологическом комментарии. Первое из них — *вратарь* — новое образование с суффиксом *-арь* от церковнославянского по происхождению слова *врата*, носящее характер кальки, ср. немецкий футбольный термин *Torwart* «вратарь» (*Tor* «ворота»). Слово *зараза* привлекало в последнее время неоднократно внимание исследователей, причем имели место попытки объяснить его как заимствование из арабского через турецкий² или как исконно индоевропейский элемент, родственный арм. *sracut'wn*³. Но, кажется, проще и вероятнее всего это слово может быть объяснено как сложение с префиксом, родственное слав. **raziti*, русск. *разить*. Точно так же следовало бы включить слово *лютик* — название цветка, произведенное от *лютый*, видимо, не без влияния латинского термина *Ranunculus sceleratus* и уже основательно деэтимологизировавшееся. Причина такого наименования заключается в качествах этого лугового растения, приносящего вред скоту⁴. Наконец, слово, без которого, действительно, нельзя себе представить современного русского языка, — обиходное слово *майка* «легкая рубашка спортивного типа». Это, по-видимому, сравнительно молодое слово можно считать производным от названия месяца, хотя отсутствие исчерпывающих сведений о возрасте и истории этого слова не позволяет говорить об этом с полной уверенностью, почему следует также иметь в виду другую этимологическую возможность (исключающую связь с *май*), а именно — происхождение из источника, общего с польск. *majtki* «матросские штаны», *majtek* «матрос» — голл. *maat* «матрос», *maatje* «матросские штаны».

Предложенные дополнения не противоречат общей направленности словаря Фасмера, что доказывает случайный характер этих пропус-

² К. Н. Державин, Этимологические заметки, сб. «Романо-германская филология», Л., 1957, стр. 165.

³ V. P i s a n i, Armenische Studien, I — Zur armenischen Etymologie, KZ, Bd. 68, 1944, стр. 160.

⁴ Сведения о слове см. в кн.: V. M a c h e k, Česká a slovenská jména rostlin, Praha, 1954.

ков. Было бы неправильно думать, что Фасмер сознательно архаизировал словник. Напротив, все, что только он мог собрать, вплоть до новейших и подчас эфемерных образований, он поместил в своем словаре.

Словник словаря Фасмера значительно возрос также благодаря преимущественному применению аналитического метода с первоочередным вниманием к особым производным, к словообразовательным моделям. Это замечание касается, таким образом, как состава словника, так и словарной статьи. Следуя в основном принципу расчленения и выделения важных словообразовательных моделей, Фасмер, очевидно, исходил из понимания того, что практика этимологических гнезд, применяемая в некоторых этимологических словарях как преимущественная, обедняет реальные этимологические и словообразовательные отношения. В качестве довольно типичного примера такого расчленения можно указать, что в словаре Фасмера выделены в особые статьи близкие слова *меж*, *межа*, *между*, *межень*, *межеумок*, *межи*, *межуток*, не считая отдельных статей *междометие* и *междоусобие*. Естественно, что Фасмером сделано не все возможное в этом направлении. Отдельные важные производные случайно остались вне поля зрения. Так, помимо статьи *белый*, желательным было бы в соответствии с упомянутым принципом поместить статьи *белесый* и *бельмо*, старые образования, имеющие соответствия в других славянских языках. Вполне заслуживает одобрения включение Фасмером статей типа *лебединая песня* (отдельно от статьи *лебедь*). Точно так же следовало бы включить статью *медовый месяц*; и то и другое — относительно поздние кальки литературного происхождения. Название *мать-и-мачеха* тоже могло бы занять самостоятельное место, помимо статьи *мать*. Недавние исследования показали, насколько интересны этимологические и семасиологические проблемы, связанные с этим словом и вообще с названиями этого цветка в разных языках.

Структура словарной статьи у Фасмера не вызывает каких-либо особых замечаний и в целом выдержана в старых традициях. После русского слова с его значением перечисляются родственные слова остальных языков, начиная с украинского и кончая сербскохорватскими. Затем следует, как правило, собственно этимологическая часть: в заключение ее обычно дается хорошая библиография в сжатом виде, в которой нашел отражение уровень лексикографической разработки привлекаемых языков, и прежде всего русского, а также современное состояние этимологических исследований. Без дальнейших слов ясно, с какими трудностями встретился Фасмер при обработке исторической части статей, в вопросах датировки первого появления слова. Он проделал огромную работу над большим числом опубликованных текстов, чтобы как-то дополнить сведения Срезневского, — словом, сделал все возможное для человека, находящегося вдали от богатых рукописных картотек собственно старорусского периода. Словарь Фасмера показывает, как много еще надо сделать в этом отношении. Несудивительно, что указанные в нем даты первого появления слов, особенно заимствованных, имеют весьма условное значение и могут быть значительно отодвинуты, как известно из некоторых работ, появившихся после выхода в свет словаря Фасмера. Точность и полнота исторической части этимологической статьи — дело будущего, и, вероятно, не очень близкого. Думается, что и в этимологическом словаре, написанном с новыми средствами, она не будет представлять собой попросту перекаленную из исторического словаря статью. Исчерпывающий характер исторической части этимологической статьи (где должно найти место лишь то, что существенно для этимологии) и соответствующей статьи исторического словаря — разные вещи. Об этом сказать не лишне, тем более что на недавнем съезде славистов высказывалось обратное мнение, а именно, что историческая статья этимологического словаря должна все более разрастаться как единственно достоверная. Такая точка зрения не учитывает специальных задач этимологического словаря.

Сведения о русской диалектной лексике, тоже, как известно, далекие от полноты, неизбежно сообщают в ряде случаев лишь относительную ценность той части статьи, где Фасмер говорит о распространении слов.

В ряде случаев здесь налицо весьма большие пробелы, винить в которых самого автора приходится в последнюю очередь. Отсутствие подробных сводов диалектной лексики, чрезвычайная распыленность собранного материала затрудняли Фасмеру нередко также использование того, что уже описано и опубликовано. Это неизбежно осложняло этимологический анализ и умножало число слов, охарактеризованных автором как темные. Так, слово *юрáга* «сыворотка, пахтанье», отмеченное у Фасмера как смоленское (по Добровольскому), выглядит совершенно изолпорованным словом неопределенного возраста и значится как темное. Дополнительно наведенные справки помогли выявить, что это слово было довольно широко распространено на великорусском юге. Отсутствие вместе с тем сколько-нибудь вероятных связей с русской и славянской лексикой позволяет предполагать в слове *юрáга* заимствование, которых, кстати сказать, в словаре русской кухни известно немало количество. Его источником, вероятно, явилось то же болгарское (древнечувашское) слово **yragъ*, косвенно реконструированное Гомбоцем (правильность реконструкции подтверждается сохранением слова в русских диалектах), которое легло в основу заимствованного венг. *író* «сыворотка». Значительная территория распространения слова *юрáга* говорит о давности заимствования. Его источник в современном чувашском языке как будто не сохранился.

Состояние лексикографической обработки двух других восточнославянских языков также нашло полное отражение в словаре Фасмера не только в силу особой близости этих языков к русскому, но и в силу особенности метода Фасмера, который включил в свой словарь на равных правах целый ряд статей, посвященных словам, неизвестным из собственно великорусского: это дает труду Фасмера возможность выполнять отчасти функции восточнославянского этимологического словаря. Пока мы не имеем этимологических словарей украинского и белорусского языков, это расширение рамок русского этимологического словаря должно восприниматься не как роскошь, а как добрая услуга исследователям, хотя временный характер такой практики вполне очевиден. Невеликорусские слова, рассматриваемые Фасмером в самостоятельных статьях, — это в подавляющем большинстве слова украинского языка. Вообще украинский язык обильно представлен в словаре Фасмера, в том числе в сравнительной части, и, насколько удалось заметить, на хорошем уровне. Если белорусский материал в словаре оставляет желать лучшего, то это опять-таки в большей мере вина не самого автора, а отставание лексикографии белорусского языка. Впрочем достаточно сказать, что даже такая элементарная характерная черта белорусского языка, как окончание прилагательных мужского рода *-ы, -і* (соответственно русским *-ый, -ий, -ой*), не отражена ни в одном примере, т. е. как белорусские фигурируют формы *mátyj, mǎkkij*.

Наконец, об этимологической части. Как типичные особенности этой части словарной статьи у Фасмера можно отметить исчерпывающий ее характер, точнее сказать — стремление дать возможно полную сводку этимологий. Авторское критическое резюме, а также очень часто — собственная оригинальная этимология, как правило, присутствуют в статье. Экономная система сокращений делает пользование статьями, как и ориентировку в привлекаемой литературе, простой и удобной. Столь же полный, исчерпывающий характер носит библиография словарной статьи, где постоянно реферируются русские лингвистические работы, как старые, так и последних лет, оказавшиеся доступными автору. Тем более очевидна полнота отражения западноевропейской литературы. Большая заслуга словаря — трезвость и непредвзятость авторских суждений по эти-

мологии, правильно избранный тон, помогающий автору решать вопросы вполне объективно. Пробным камнем, как известно, в этом отношении являются вопросы заимствований, в изучении которых даже серьезные лингвисты нередко вносили элемент излишней страстности и увлеченности.

Ценное качество этимологической части статьи в словаре Фасмера — это пропорциональность, в силу которой каждое из существующих решений — наиболее вероятное объяснение, допустимая гипотеза, неоправдавшееся предположение или случайная догадка — занимают место в соответствии со своим уровнем. Случаи произвольного предпочтения одного из решений без упоминания других как будто неизвестны. Это полезный и, по-видимому, единственно правильный метод, в чем убеждает, например, сравнение с творческой манерой другого этимолога. Возьмем собственно этимологическую часть статей о тождественных словах чеш. *blízky* у Махка («*Etymologický slovník*») и русск. *близкий* у Фасмера:

Махек

«*blízky*. . . Возможно, родственно греч. *πῆλας* „близко“, *πλησιος* (дор. *πλῆσιος*) „близкий“, но славяне производили свои формулы от **pl-* по образцу слов *лѣтъ*, *лѣтъъ*; в итоге *p-* было ослаблено в *b-*».

Фасмер

« . . *близкий*. . . Родственно лит. *blāzti* „мять, сдвигать, тереть“, *bliezt* „рубить, бить“, лат. *fligere* „бить, прибивать“, см. Остгоф, KZ, 23, 84, Миккуцкий, РФВ, 22, 291, Бернекер, EW., 1, 61 и сл. Ср., впрочем, также лит. *blįžoti* „лежать, прильнув к ч.-л.“, см. Эндзелия, ЖМНП, 1910, июль, 199. Бернекер приводит семасиологические параллели, напр., греч. *ἵκω* „близко“: *ἵκω* „затягиваю, завязываю“; франц. *près*, ит. *presso*, *appresso* „близ“, к лат. *pressus* „сжатый“. — Неприемлема попытка Микколы, Balt. u. Slav., 37, доказать заимствование *близь* из др.-в.-н. *bilidi* „картина, образ“. Против см. Бернекер, там же, Мюленб.—Эндз. I, 308, 317, Смешек, Mat. i Pr., 4, 394».

Сравнение говорит само за себя. тем более что в обоих случаях взяты типичные статьи. Если со статьей Махка ознакомится человек, ничего ранее не читавший по этимологии слова, то результат от такой справки можно охарактеризовать попросту как вредный: гипотеза, ценность которой относительна, преподносится Махком как единственное, что можно сказать о слове. Ученый, нуждающийся в подробной справке, ничего не вынесет из чтения этого курьеза. Напротив, в одноименной статье Фасмера сжато представлен весь накопленный наукой опыт по этимологии слова, генетические и семасиологические связи которого выяснены весьма достоверно.

Очень велик в словаре Фасмера процент его собственных этимологий, не говоря уже о поправках, вносимых на каждом шагу в использованные чужие этимологии. Что касается принципов его этимологических исследований, их можно охарактеризовать как традиционные по преимуществу. Фасмер более уверенно оперирует регулярными фонетическими соответствиями, чем примерами их нарушения. Практика этимологического исследования заставляет согласиться с этим принципом как обеспечивающим наибольшую доказательность решений. Надо сказать, что новые принципы, разработкой которых давно занимаются Махек и Отрембский, все-таки не обогатили этимологию ничем существенным, во всяком случае не создали для этимологических исследований новую базу, ибо нельзя говорить о базе там, где все построено на случаях и допущениях. Именно традиционные принципы этимологии, разумеется, обогащенные всем последующим опытом работы и свободные от наивной прямолинейности, дали и продолжают давать до последнего времени прекрасные плоды. Таков, напри-

мер, близкий во всех отношениях к труду Фасмера выходящий сейчас «Литовский этимологический словарь» покойного Э. Френкеля. Напротив, продукция другого направления, наиболее ярко выраженного в работах Махка, а также, например, Яначка, находит, как полагывает примор словаря Махка, ограниченное применение. Основной пафос этого направления состоит в чрезмерном, необоснованном обобщении случайных фактов и явлений. Направление, которое явно сопряжено с риском исчерпать себя и вносит в этимологию полную бесконтрольность, не может означать прогресса в этимологии. В конце концов экспрессивные элементы словаря и все своеобразие происходящих в них изменений нашли широкое отражение и в труде Фасмера. Важно иметь в виду, что сфера этих явлений не безгранична.

Традиционность этимологических принципов Фасмера выражается еще в его сдержанном отношении к новым теориям. Фасмер, очевидно, не нашел нужным использовать ларингальную теорию, в его словаре нигде не называется фамилия Куриловича, известная работа Бенвениста по словообразованию тоже не нашла здесь отражения. В последнем случае возможно влияние Шпехта, который в словаре цитируется довольно широко, однако к чести Фасмера следует сказать, что ему совершенно не свойственна тенденциозность, отличающая, например, многие суждения Шпехта о французской лингвистике. Возможно, в некоторых отношениях словарь Фасмера мог бы обогатиться от использования достигнутых современной лингвистической географии. Впрочем сам автор хорошо видит пробелы и недостатки своего словаря, о чем он специально говорит в послесловии. Для нас интересны слова Фасмера о том, что если бы ему пришлось взяться за словарь снова, он уделил бы больше внимания калькам и вопросам семантики. Значение последней особенно велико в этимологическом исследовании, для которого обоснованность семантических связей и семантических переходов представляет огромную важность. При всем значении семантического аспекта этимологии материал по семасиологии слабо разработан и поэтому труднодоступен. «Словарь нидерландских синонимов» К. Д. Бака, в адрес которого сказано много теплых слов, слишком часто не в состоянии дать ответ по интересующему этимолога вопросу и вообще носит больше иллюстративный характер. В большом числе случаев по-прежнему приходится для обоснования этимологии проводить специальные семасиологические наблюдения.

О том, как много еще предстоит в этом направлении сделать, могут свидетельствовать два конкретных примера поправок к Фасмеру. Так, правильная этимология слова *петь* может быть, очевидно, определена только при допущении семантической эволюции «совершать жертвенные возлияния» > «воспевать, петь», ср. аналогию и.-е. **ǵhe-* «взывать», слав. *zъvati* из и.-е. **ǵhe-* «лить», что дает основание сблизить *петь* и *поить*, *пить*. Другой пример: этимология слова *сычуг*. Фасмер объясняет это слово, переводимое им как «сычуг, часть желудка млекопитающих, из которой делают колбасу», заимствованием из тюркских, ср. *половецк. suzug* «кишка, внутренности», *кыпч. sučuk* «колбаса», *чагат. sučuk* «начиненные кишки», *тюрецк. sudžuk* «колбаса» (вслед за Рясененом и др.). Но колбасу как будто делают только из кишок, и в данном случае Фасмер не совсем верно истолковал случаи употребления слова *сычуг* как названия кушанья (*сычуг* «желудок, начиненный кашей и т. д.»). Что же касается основного и вместе с тем древнего назначения сычуга, определившего, как кажется, и его название, то оно было связано с его способностью выделять фермент, вызывающий быстрое створаживание молока. Это качество сычуга подмечено очень давно, оно и сейчас важно для сыроварения. Этимологическая проверка синонимов — названий сычуга — в других языках подтверждает это. Ср. нем. *Lab*, *Labmagen* «сычуг» от *laben* «тешить, услаждать; квасить», а также осет. *axsæn* «желудок, сычуг» от *axsyn* «створаживать». Развитие значения

«сычуг» в этих языках дает нам право предложить этимологию *сычуг* от *сytитъ*; ср. еще анализируемое Бенвенистом греческое выражение *τρέφειν γάλα* «створаживать молоко», буквально «питать молоко»⁵. Заимствование слова *сычуг* менее вероятно; кстати сказать, вся остальная русская терминология желудка жвачных животных (*рубец, сетка, книжка*) — исконные слова. Важность внимательного учета конкретных семантических связей и аналогий для этимологии акцентпруется Фасмером совершенно правильно, и в этом следует видеть одну из первостепенных задач дальнейшего развития славянской этимологии.

*

Перспективы развития этимологии и создания этимологических словарей зависят от успешного разрешения целого ряда вопросов. Это прежде всего — вопрос средств этимологического исследования и вопрос задач самого исследования. В решении первого, важнейшего из этих вопросов этимологии почти всецело зависят от прогресса других областей языкознания, а именно — лексикографии, лингвистической географии. Что касается собственных задач исследования и создания этимологических словарей, они в принципе ясны, и здесь нет необходимости говорить об этом подробно. В настоящий момент в связи с выходом в свет словаря Фасмера разработка принципов построения этимологического словаря, например, русского языка, отнюдь не является наиболее актуальной и трудоемкой задачей. Естественно ожидать, что словарь Фасмера будет заменен в свое время более новым. Но было бы искусственно ставить вопрос об этимологическом словаре русского языка нового типа именно сейчас, когда словарь Фасмера обобщил в большинстве случаев все лучшее и здоровое в этой отрасли языкознания. Залог правильной подготовки нового этимологического словаря русского языка — в дальнейшем совершенствовании принципов словаря Фасмера. Реалистически глядя на вещи, говорить сейчас о скорейшем выпуске нового этимологического словаря русского языка, который заменил бы словарь Фасмера, несколько преждевременно, и дело может продвинуться лишь после выпуска исторических и диалектных словарей, над которыми еще только ведется работа. Разумеется, предварительные работы нужны уже сейчас, и, быть может, правильную их форму подсказывает опыт Московского университета, где недавно был образован специальный центр, проделавший некоторую предварительную работу, в частности, подготовивший ряд сборников «Материалы к этимологическому словарю русского языка». Это начинание, несомненно, полезно уже само по себе, судя по тому, что оно благоприятно сказалось на формировании молодых специалистов, привлеченных к этому делу. Оно могло бы также убедить в необходимости отказаться в интересах дела от «лобового» штурма этимологического словаря русского языка в пользу систематической подготовки нового этимологического словаря в будущем.

⁵ E. Benveniste, Problèmes sémantiques de la reconstruction, «Word», vol. X, № 2—3, 1954, стр. 253.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ЯН СТАНИСЛАВ

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА

1. Источники, территория, периодизация,
словацкие элементы в старочешских памятниках

Источников по истории словацкого языка много, но не все они легко доступны. Сведения о некоторых особенностях языка наших предков конца праславянского периода можно найти в записях личных имен великоморавских и паннонских деятелей; эти записи содержатся в «Conversio Bagoariorum et Carantanorum» 871 г. и в особенности на полях Цивидальского евангелия; однако они нуждаются в новом издании по фотографиям, которых в наличии не имеется. О фонетике и правописании до XV в. имеется богатый материал в староренгерских латинских и отдельных греческих записях. Но материал этот обычно трудно доступен: его приходится разыскивать по старым изданиям. Только часть из них может служить надежным источником, большинство же издано плохо.

Мы располагаем связными текстами из Словакии от 1380 г., записанными в смешанной чешско-словацкой языковой форме. Важнейшие нелитературные памятники XV в. издал В. Халупецкий¹. Его издание следует использовать с осторожностью, поскольку воспроизведение текстов не всегда выполнено удовлетворительно.

М. Семкович издал материал грамот горной Оравы². В нашем распоряжении имеются издания Ф. Сасинка и других патриотов-энтузиастов, относящиеся ко времени перед первой мировой войной и в особенности к прошлому столетию³. Этот материал можно использовать, лишь подходя к нему критически. Б. Варсик издал словацкие документы и грамоты XV и XVI вв.⁴; это памятники, относящиеся к западной Словакии. П. Хорват собрал множество материала и издал его⁵.

При изучении языковых памятников до XV в. важно знать, какое территориальное расположение имела словацкая народность в средние века. Уже Иосиф Добровский предполагал, что западные славяне, или, более определенно, словаки, жили в Паннонии. Подобным же образом думали П.-И. Шафарик и Л. Нидерле. Словенские исследователи, не проводя необходимого изучения материала, считали Прибиново княжество в Паннонии словенским. В последнее время эту точку зрения поддержал К. Горалек⁶. Но можно ли в данном случае говорить о словенском языке, если вместо праслав. *tj* здесь представлено *s*; сочетания *ti*, *di*, *ni* изменились в *t'i*, *di*, *ni*; далее — *de* в *de*, *ne* в *ne*; имеет место изменение *g* в *h* (*h* известно в районе Горицы, где оно развивалось иначе, чем у нас). *šč* в *št'*;

¹ V. Chalupecký, *Kniha žilinská*, Bratislava, 1934; ег о ж е, *Středověké listy ze Slovenska*, Bratislava — Praha, 1937.

² W. Semkowicz, *Materiały źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Orawy*, Zakopane, I—1932, II—1939.

³ См. «Slovenský letopis», I—VI, Skalica, 1876—1882.

⁴ B. Varsik, *Slovenské listy a listiny z XV a XVI storočia*, Bratislava, 1956.

⁵ P. Horváth, *Listy poddaných z rokov 1538—1848*, Bratislava, 1955.

⁶ K. Horálek, *Úvod do studia slovanských jazyků*, Praha, 1955. стр. 300—301.

стяжение *-oja-* в *-á-* внутри слова и другие явления. Словенская историческая грамматика этих изменений не знает. Они известны в западно-славянских языках и в их составе — в среднесловацком наречии, которому свойственно и изменение сочетания *ne* в *ňe*, как в польском и в лужицком, однако не в западнословацком и чешском. Уже давно Й. Мелих убедительно показал, что в районе Блатенского озера жили по преимуществу словаки⁷. Весьма ценными являются исследования по этим вопросам Эл. Моора⁸. Против этих положений выступает Шт. Книнежа. По его мнению, южные славяне дошли вплоть до района Нитры, который словакизировался лишь после того, как был отторгнут турками⁹.

Языковой материал говорит о том, что здесь жили западные славяне, предки словаков. Отдельные явления при таком подходе рассматриваются как члены системы явлений, а не как единичные элементы, не связанные с другими. Некоторые исследователи оценивали отдельные языковые явления без соотнесения их с другими языковыми явлениями и вне связи с условиями жизни человека, с географическими особенностями местности и т. д. Поэтому им вопрос о паннонских славянах представлялся иначе, чем Й. Мелиху, Эл. Моору и чем рассматриваем его мы. При этом речь идет не только о Паннонии, но и о других областях, которые в средние века занимали предки словаков. Область реки Тиссы основательно обследовал уже Моор¹⁰, который считал ее словацкой. Следует заметить, что эти проблемы имеют чисто историческое и научное значение.

Нерешенным остается вопрос о племенной принадлежности славян от реки Дны на юг. Думается все же, что здесь жили западные славяне, которые были родственны моравам юго-восточной Моравии. Интересно отметить, что в IX в. на этой территории упоминается князь Моймир и некий Сватоплук. Так звали сыновей великоморавского Сватоплука.

Периодизация истории словацкого языка тесно связана с общественным развитием словаков. В первую очередь здесь возникает вопрос о начале формирования словацкой народности. Этот процесс пока можно с осторожностью и приблизительно отнести ко времени около 1000 г., так как к этому времени завершились некоторые важные изменения в фонетической системе словацкого языка на нашей территории, которые оказали воздействие и на некоторые явления морфологии (изменения редуцированных, носовых гласных, стяжения). Археолог Я. Декан¹¹ склонен думать, что формирование словацкой народности начинается уже во второй половине IX в. Эта точка зрения могла бы быть принята и лингвистами, однако ее следовало бы лучше обосновать историкам и археологам. В непосредственной связи с решением этого вопроса следует рассматривать и вопрос о постепенном возникновении у нас культурного стиля языка, что в свою очередь теснейшим образом связано с возникновением классово-дифференцированного общества в период раннего феодализма. Именно в это время закономерно появляются и письменность, и литературный язык. Культурный стиль великоморавского племенного союза возникает еще до прихода в Великоморавское княжество братьев Константина и Мефодия, которые черпают из него материал для переводов.

⁷ J. Melich, A honfoglaláskori Magyarország, сб. «A magyar nyelvtudomány kézikönyve», Budapest, 1925—1929, стр. 396—397.

⁸ E. L. Moór, Westungarn im Mittelalter im Spiegel der Ortsnamen, Szeged, 1936; его же, Zur Siedlungsgeschichte der deutsch-ungarischen Sprachgrenze, «Ungarische Jahrbücher», 1929, I — Bd. IX, Hf. 1, стр. 41—67; II — Bd. IX, Hf. 2—3, стр. 230—255.

⁹ S. t. K n i e z s a, Zur Geschichte der Jugoslawismen im Mittelslowakischen, «Études slaves et roumaines», vol. I, fasc. 3, 1948; его же, Die Sprache der alten Slawen Transdanubiens, «Studia slavica», t. I, fasc. 1—3, 1955.

¹⁰ E. L. Moór, Die slavischen Ortsnamen der Theisesebene, «Zeitschr. für Ortsnamenforschung», VI, 1930, стр. 3—37, 105—140.

¹¹ J. Dekan, O vznikaní národnosti pred X. storočím na území našej vlasti, «Vestník ČSAV», r. 63, č. 9—10, Praha, 1954.

Они использовали в старославянских книгах и некоторые тексты, переведенные до их прихода.

Этот культурный стиль языка можно назвать великоморавским, поскольку его взрастило великоморавское общество. В этом языке были элементы, которые до сих пор имеются в средней Словакии, например *dl* и *l*, *rat-* и *rot-* вместо праслав. *ořt-* (ср. имя князя *Rastislav* и особенно форму *Rastic*, которые возможны только в средней Словакии — ср. *rat-* и *s* вместо праслав. *ij*). Можно указать еще на *z* на месте праслав. *dj*, которое и теперь известно в западной Словакии и которое было ранее еще более распространено, чем сейчас, о чем свидетельствуют показания грамот. На древность этого *z* указывает топоним *Boleráz* из праслав. **Boleradjь*; форма эта могла возникнуть перед падением редуцированных. т. е. ранее середины X в. Нам представляется, что приведенные черты принадлежали ныне уже не существующему племенному наречию Великоморавского княжества, которое было переходным между позднейшими западным и среднесловацким наречиями. Эти предположения могли бы найти свое подтверждение в том, что Нитра лежит на окраине средней Словакии, т. е. там, где и находится область, которую мы считаем родиной ученика Мефодия — Горазда, поскольку здесь имеются топонимы, возникшие из имени Горазда, а также следы культуры Кирилла и Мефодия, восходящие к IX в. Мы считаем, что эта область находилась на нижнем Ваге, по направлению к Галанте и Мученкам. Именно здесь представлены важнейшие следы старославянской культуры. Конечно, это не случайность¹². На территории Братислава — Нитра — Зволлен — Новоград — Житный Остров нами обнаружены личные имена, формы которых пришли к нам с юга, из византийско-славянской культурной сферы (*Īlia, Jóna, Luka, Duka, Jovan, Ivan, Toma, Dimitër, Vara* «Barabáš», *Jakov* и т. д.). Свидетельства об этих именах восходят к XII, XIII и XIV вв. Древнесловацкому языку принадлежало имя существительное *mičenik*, записанное в 1113 г. как раз во владении Горазда. Здесь же представлен и культ Климента. Все это можно понять только в том случае, если эта область относилась к той культуре IX в., которую представляет старославянский язык. Весьма важны местные названия из этого района, которые дают возможность получить сведения о жизни господствующего класса и о различных институтах раннего феодализма. Сравнительное изучение этих имен и имен восточной Моравии поможет лучше осветить эти важные вопросы истории.

Интересно далее, что изучение среднесловацких диалектов дает возможность выявить некоторые нечешские элементы в старочешских памятниках, такие как *ra* в слове *letorastl* и *l* вместо *dl* в словах *svietilo, kadilo, trlice* и под. Из южной части среднесловацкого наречия некоторые черты перешли в старочешскую псалтырь и евангелие, а именно — в Клементинскую псалтырь и Венское евангелие¹³. Так, например, форма им. падежа мн. числа *patriarche* в литаниях («*Wsiczkni swietl patriarche i progoсу*») принадлежит к явлениям типа *koňike, ruke, nohe* вместо *koňky, ruku, nohu*. На основании некоторых приписок в Клементинской псалтыри Ад. Патера думал, что эта псалтырь могла использоваться в каком-либо бенедиктинском монастыре¹⁴. Такие монастыри были в Словакии в Нитре и в Гронском Бенедикте. Формы типа *koňike* представлены в Погроми. Возможно, что словацкие бенедиктинцы пользовались старочешской псалтырью первой половины XIV в. Здесь много словацких элементов. В Венском евангелии имеется такой среднесловацкий эле-

¹² Ср. J. Stanislav, *Zo slovenského sociálneho miestopisu, «Jazykovedný zborník slovenskej Akadémie vied a umení», V, Bratislava, 1951, стр. 80—86.*

¹³ Материал из этих памятников приводится по изданиям: A. d. Patera, *Žaltár Klementinský, Praha, 1890; F. Menčík, Dva evangelistáře, Praha, 1893 (см. Viedenský evanjeliár).*

¹⁴ A. d. Patera, *Žaltár Klementinský, стр. VI.*

мент, как *ra* в слове *Vrazumely* (= *urazum'eli*) *ste*—Mat. 13, 51, а также о восток: *Tehdy sobrav Gezyss zakonnyky*—Mat. 22, 41. В этом же памятнике наблюдаются случаи употребления дифтонга *ia*: *poszyatek*—Ján 2, 11, *ssczepnyatka*—Mat. 15, 27, *hrdlyczyatek*—Luk. 2, 24 и т. п. Имеются здесь и иные явления, которые указывают на среднесловацкую область. Судя по тому, что здесь есть и примеры на ассимиляцию, т. е. изменение *t'* в *s* и *d'* в *dz*, можно думать о воздействии на язык Венского евангелия говоров юго-западной части средневекового среднесловацкого наречия, для которых уже со второй половины XIII в. имеются данные об изменении *t'* в *s* в топониме *Majcichov*: *Moycheh* 1266 г. (АУО, стр. 159)¹⁵ и т. д. В Венском евангелии представлено и южнословацкое словечко *pačim* в форме *ponačim* («надо»)—Mat. 9.12¹⁶.

Из сказанного следует, что старочешские памятники письменности пришли в Словакию сразу же после того, как только они возникли, т. е. по крайней мере около 1300 г. Контакты с чехами старше. Последним обстоятельством объясняется появление некоторых среднесловацких элементов в старочешском языке до 1300 г. В Словакии были, очевидно, брехновские бенедиктинцы с Войтехом и Радлом. Возможно, сюда пришли сазавские бенедиктинцы славянского обряда, что было возможно до изгнания их из terra Нунорум в 1056—1061 гг. Здесь жил летописец Космас в 1099 г. Были и другие. Все эти вопросы, несомненно, еще будут неоднократно обсуждаться.

2. Развитие гласных¹⁷

В фонетике и морфологии язык словацкой народности развивался во многом весьма своеобразно. До 1000 г. язык предков словаков имел некоторые черты, которые объединяли его с южной и восточной славянской областью. Другими своими элементами он был связан с чешской и лехитской областью. После 1000 г. в развитии уже самостоятельного словацкого языка можно наблюдать те же основные тенденции. Правда, морфологическое развитие словацкого языка доступно наблюдению только по целым памятникам, которые относятся ко времени от XV в. О некоторых явлениях морфологии можно судить и на основании сравнения с состоянием и развитием других славянских языков.

Из явлений предшествования можно отметить, что словацкий язык, подобно южным и восточнославянским языкам, имеет *i* на месте праславянской группы *ǫ*—: *idem*, *ideš*, *ide...*, *ihra*, *ihrat' sa* (и *hra*, *hrat' sa*), *ihla*, *ikra*, в старословацком языке и *imám*, *imáš*, *imá...*, *imā* (теперь *meno*), например *y ya imam pana* 1593 г. («Slovenský letopis», I, стр. 289), *yednemu yme Olex, druhym niewiem ymenia*, т. е. *imā*, *imeňa*, в 1575 г. на Спиши («Slavia occidentalis», XII, 1933, стр. 179—180). До сих пор существуют формы *majetok* и *imanie*.

На месте праслав. групп *ort-*, *olt-* под циркумфлексовой интонацией в среднесловацком наречии в большой группе слов представлено *rat-*, *lat-*, как в южнославянских языках. Из западно- и восточнословацких говоров сюда проникли, однако, рефлексy *rot-* и *lot-*. В среднесловацких говорах бывает: *ráždie*, *rážga*, *rakyta*, *rast'*, *ražen*, *rážcestie*, *rážštep*, *rā(z)-socha*, *rážvora*, *rážbor(a)* (Теков), *rážpin*, *ral'a* (местами), *rážsvit*, *rážporok*, *rážtoka*, *ráždelie*, *rážputie*, *razum* (Теков), *razciep* (Кукучин), *rážkol*

¹⁵ В дальнейшем в статье нами приняты следующие сокращения: АУО — *Árpád-kori új okmánytár*, VIII, Pest, 1862: Šm.—Vl. Smilauer, *Vodopis starého Slovenska*, Praha—Bratislava, 1932; B. IIa — B. IIa, *Gömör megye*, III, Budapest, 1946; Tr.—Antal Fekete Nagy, *Magyarország tört. földrajza a Hunyadiak korában* IV. *Trencsén vármegye*, Budapest, 1941; Csánki — D. Csánki, *Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában*, I, Budapest, 1890.

¹⁶ Cp. J. Stanislav, *Zur Frage der Slowazismen in den alttschechischen Denkmälern*, «Zeitschr. für Slawistik», Bd. II, Hf. 1, 1957.

¹⁷ Основной материал, характеризующий рассматриваемые в данной статье явления словацкого вокализма, помещен в книге: J. Stanislav, *Dejiny slovenského jazyka*, I, 2-é vyd., Bratislava, 1958 (далее — *Dejiny*).

(местами), *lani, lanie, lanský, laket'*. Кроме этого, ср. материал топонимов: *Raveň, Ravence* и под., *Razsutec* (литер. *Rozsutec*), *Rázselie, v Rázpuťi*, в исторической топографии: *Razdel* 1293 г. (Šm., 97), *Razovag* 1212 г., *Razvag* 1245 г., теперь *Rozvadze* под Тренчином, *Rasosna = Rázsošná* 1427 г. (Гемер), из фамилий — *Neravný* в XVII в. (В. Па, стр. 264). Словакизмом в Венском евангелии является *Vrazumely ste = Urazum'eli ste* — Mat. 13, 51. Формы с *rat-* в средние века в качестве словакизмов пришли и к чехам в именах *letorastl, racochejl, rasocháč, racoši (razsoch-)*, в местных названиях *Ráztoky, Rasochy, Rasošky, Raveň Rastory, Rastely* (из *-tyly*), *Ralsko, Rastice*; топонимические названия с *rat-* связаны, очевидно, со словацкой колонизацией в чешской среде.

Рефлексы *rat-, lat-* были распространены в средние века дальше на запад и восток, чем в настоящее время; среднесловацкая или переходная область со среднесловацкими элементами занимала большее пространство, чем сейчас. Среднесловацкое наречие достигало Малых Карпат. При Болеразе, например, и теперь имеется топоним *Rakici*, хотя есть и иное название — *rokita*; в географическом наименовании, таким образом, сохранилась форма старшего наречия.

Рефлексы редуцированных в словацком языке сходны с русскими и частично с диалектными сербскохорватскими и словенскими. Вызывал споры вопрос о том, следует ли считать *o* на месте твердого редуцированного для словацкого языка старым или новым явлением. Первые данные относятся к 1113 г.: *Nozdrogouz* из **Nozdrōkъ* (записано: *Nosdrok* в 1436 г.), *Istobenize* из **Istēbъnicā*. Существовало мнение и о вторичности *a* на месте *ъ*. Первое свидетельство об этом переходе восходит уже к 1208 г.: *Baznan* из **Bъzъnan-(e)* (Тр., стр. 155).

Факты показывают, что рефлексы *o* и *a* — давнего происхождения, причем развитие шло и путем изменения *e* в *ä* и далее в *a*, например: *lъnъ* > *l'en* > *l'än* > *l'an*, *lъgъkъъ* > *l'ehkъ* > *l'ähkъ* > *l'ahkъ* и под. В старых памятниках удалось обнаружить и предполагаемую форму замены *ton* из праслав. *tъnъ* вместо соврем. *ten*. Она записана в молитвах Спишского собора 1480 г.¹⁸ и в тексте из Мошовец 1689 г. («*Slovenský letopis*», V, стр. 69).

Система словацких гласных около 1000 г. была, по всей вероятности, следующая:

<i>a</i>	<i>ä</i>	<i>o</i>	<i>e</i>	<i>u</i>	<i>ü</i>	<i>i</i>	<i>y</i>
<i>ā</i>	<i>ā</i>	<i>ō</i>	<i>ē</i>	<i>ū</i>	<i>ū</i>	<i>ī</i>	<i>y</i>

Эта система сохранялась в словацком языке приблизительно до второй половины XIII в. — начала XIV в. Можно думать, что уже тогда началась дифтонгизация, т. е. изменение долгих простых гласных в двойные.

После непалатальных (твердых) согласных следовало *a, á*, после палатальных (мягких) — *ä, ā*. Произносилось: *žena*, но *ul'icā*, *ženāch*, но *ul'icāch* и т. д. Такое положение до настоящего времени сохраняется в окраинных наречиях нижней Оравы, в Гемере и частично в Земплине.

Подобным же образом существовало *u, ū* наряду с *ü, ú*: вин. падеж ед. числа жен. рода *pekňū*, но *sūdzu* (ныне *sudziu*); *o* наряду с *e*: твор. падеж ед. числа жен. рода *ženou*, но *ul'iceu*, им. падеж ед. числа муж. рода притяжательных прилагательных и род. падеж мн. числа муж. рода *bratov*, но *mužev* (и до настоящего времени так в части Новограда и Гемера); *y* наряду с *i*: *byt'* «быть», но *bit'* (кого, что) и т. д.

В период около 1300 г. и местами позже *a, u* и *o* начинают широко употребляться в положении после палатальных (мягких) согласных; *ä, ū* и *y* исчезают. На месте старых форм типа *ul'icā, ul'icū, mužev, byt'* возникают формы типа *ul'ica, ul'icu, mužov, bit'* «быть». Старая система сохранилась в окраинных наречиях. Гласный *ü* в настоящее время мало

¹⁸ См. J. Stanislav, *Modlitby pri kázni zo Spišskej Kapituly*. «Jazykovedný sborník», IV, 1950, стр. 141—155; см. также Dejiny III, Bratislava, 1957, стр. 172—178.

известен; он сменился гласным *u*, в некоторых местах *i*: *cudzí*, местами на юге *cídzí*. Гласный *ä* до сих пор сохраняется в литературной речи, причем только в положении после губных (лабиальных) согласных: *mäso*, *päta*, *žriebä*, *vädnüt'* и под., но очень часто он произносится как *e*: *meso*, *peta* и т. д. В иных положениях бывает *a*: *desät'* и под., но на Ораве и т. д. *desät* и теперь, т. е. здесь сохраняется старословацкое положение.

Таким образом, древнесловацкая система простых гласных изменяется в систему *a ä o e u i*, местами *a o e u i*. В литературном языке имеется *y* в качестве исторического элемента. В живом произношении оно существует только в восточных окраинных наречиях.

Словацкий язык не знал дифтонгов, вероятно, примерно до конца XIII в. и начала XIV в. Тогда произносилось: *bělý*, *véra*, *vém*, *věš*, *vě...*, *měj*, *něž*, *ročátok*. Некоторые из этих форм и до настоящего времени живы в говорах.

Первым свидетельством об *uo* можно пока считать название местечка *Crathnow* = *Kratuov* (теперь мельница *Kraty* на западе Словакии) в грамоте от 1262 г., переписанной в 1270 г.

Первое свидетельство об *ie* относится к 1272 г.: *Zlieho* (теперь город *Zliechov*); далее — к 1368 г.: *Predmier* (деревня) (Tr., стр. 89, 213). Первые свидетельства об *ia* имеются в Клементинской псалтыри от первой половины XIV в.: *ziadali su* = *ziadali sú* (псалом 63,7) и т. д. Первые свидетельства южнословацкой мены *y* > *e* (ср. *rebe* < *ryby* и под.) относятся ко второй половине XIII в.: *Premezleyez* = *Premesl'ejec* из *Premyslevec* 1259, *Pribel* вместо *Pribyl* 1262: первый пример из Жилины, второй из Гонта (ср. Dežný, стр. 402).

Как уже упоминалось, словацкий язык имел после мягких согласных *ü*, противопоставленное *u* после непалатальных (твердых), т. е. тип *dobrú cüdzu ženu*; далее из него развилось *u* и лишь на небольшой части южнословацкой области *i*: вин. падеж ед. числа жен. рода *cüdzu* развивается в *cudzu* (позднее в *cudziu*) и на юге — в *cídzí*. Это *ü* передается в грамотах как *i* или *u*; смешение этих букв позволяет заключить, что речь идет об *ü*: ср. *Kozirich* 1263, *Kochyrich* 1298 г. (список 1299 г.) = *Kocúrice* и наряду с этим *Cozuran* 1413 = *Kocúranu*, причем следует иметь в виду, что речь идет о селении *Kocúrice* (ср. Dežný, стр. 441).

Среднесловацкому наречию свойственно изменение *ir*, *il*, *ri* в *er*, *el*, *re* в некоторых словах, точно так же как польскому языку и севернословенскому наречию: *mier* из более старого *mír*, *ortiel'* из *ortíl'*, *posielat'* из *posílat'*, *zbierat'* из *zbírat'* и т. д. Первые данные относятся к XIII в.: *Bogomel* из *Bogumil* 1285 г. (список 1391 г.) во Врутках. Тренчанское поселение *Predmier* записывается как *Predmír* в 1493 г., но *Predmier* в 1368 г.

Древнесловацкая система долгих гласных сменилась системой долгих и двойных гласных следующим образом:

Литературные:	<i>á ó ē ů í</i>	<i>ia uo ie iu</i>
В говорах:		
чаще всего	<i>á ů í</i>	<i>ia ie uo</i>
местами	<i>á ů é i</i>	<i>ia ie iu uo</i>
местами	<i>á ó é ů í</i>	
местами на юге	<i>á é ů í</i>	<i>ia uo eĭ</i>
местами на периферии	<i>á ä ů í</i>	<i>ie, uo</i> ; в некоторых случаях <i>iu</i> ; вместо <i>uo</i> в ряде случаев <i>ö</i> или <i>ua</i> .
	иногда <i>ó</i>	

Примеры на продвижение вперед артикуляции *k*, *g*, *ch* имеются уже 1413 г.: в имени собственном *Buquen* из *Buk'an*, которое из *Bukan*, в названии поселения *Mechina* из *Mechyňa*. После смягченных *k*, *g*, *ch* впоследствии должны были появиться передние гласные; ср. совр. диал. *käteň* (*kameň*), *käie* (*kade*) и т. д.

Смягчение группы *ra > řä* известно уже для IX в. из записи имени *Rastic* как *Restilius* в «*Annales Bertiniani*»; *Re-* здесь обозначает *Řä-*. Примеров от более позднего времени больше. Произносилось и местами и сейчас еще произносится *prācujem*, *prāca*, затем *priaca*, сейчас литер. *praciĕm*, *prāca*. Это явление известно только в среднесловацких говорах. Совр. диал. *riast'* является изменением старшей формы *räst'* и возникло путем указанной замены; ср. литер. *räst'*.

Чередование: *o, ó* после твердых согласных — *e, é* после мягких было в древнесловацком языке более распространенным, чем сейчас. Теперешнее поселение в Тренчанской Вишневе (*Višňové*) еще в 1474 г. обозначалось как *Wysnyewe* = *Višňevé*, но уже в 1438 г. как *Wyssnowa*. Нынешний *Jasenov* в восточной Словакии имеет еще в 1279 г. форму *Jezenew* = *Jeseňev*, но уже и *Jezenow* в 1266 г. Теперешнее *Mošovce* передавалось еще в 1585 г. формой с *-ev-*: *v Moševczich* («*Slovenský letopis*», V, стр. 67). В молитвах Спишского собора от 1480 г. имеется: *w kralestvy nebeskym* и т. д., т. е. *v král'eství* на месте совр. *v král'ovstve*. Остатки бывшего состояния сохраняются до сих пор в части Гемера и прилегающего Новограда, где говорят: *ocevi* («отcovi»), *pod zemľeu* («pod zemou») и т. д. Некоторые исследователи считают, что здесь имела место перегласовка, относящаяся ко времени между XIII и XIV вв.¹⁹ Мы видим здесь не перегласовку, но продолжение праславянского состояния, которое до сих пор лучше всего удерживается в южнославянских языках (ср. Дејпу, стр. 397—400).

Изменение *e* в *o* перед *l* можно наблюдать в грамоте 1253 г. (список 1255 г.): *Koztulan* вместо *Kostol'any*, но еще в 1113 г. *Costelan* и *Custelen* вместо *Kostel'any*. Вместо *y* пишется *i* уже в 1113 г.: *Bistric*, затем *Riba* 1244 г. (список 1281 г.), *Criua-ribnica* = *Krivá Rybnica* 1337 г. Иногда *y* сохраняется. Слияние *y* с *i* можно отнести к концу XIV в. — началу XV в. До этого времени в южной части среднесловацкого наречия произошло изменение *y* в *e* и изменение *ý* в *ej* (*ej*): *meš* (*myš*). *pejtat'i* (*pýtat'*). На этой же территории произошла и замена долгого *á* в *ej* (*ej*): *sveĭtok* (*sviatok*). Материалы показывают, что историческое развитие долгого *ý* на этой территории было следующим: *ý > é > á > ej* (*ej*). На стадии с *á* наступила дифтонгизация, которая осуществлялась в каждом случае употребления *á*. Вероятно, изменение шло через стадию *ai > äi*.

Дифтонг *iu*, кажется, отмечен в конце XV в. при Бардееве в списке разбойников: *na vašim imaniu*. В других частях Словакии он оказывается представленным в значительно более позднее время: *k sjatju* («*k siatiu*») 1690 г. и в Будатинской уставной грамоте. В вып. падеже имен прилагательных жен. рода ед. числа *-i* было в мягком склонении еще у Людевита Штура: *ovši* вместо теперешнего *ovši*; в старших памятниках было тоже только так: *weczú pynwiczú murowati* = *vāču [večú] pinwicu [pimicu] murowati* (1581 г.) («*Slovenský letopis*», VI, стр. 250). Таким образом, *iu* распространяется лишь в последнее столетие.

Протетические и вставные гласные при *r, l, m* в начале слова в случаях типа *lehota*, *omša*, диал. *redza*, *ridza* (литер. *hrdza*) появляются сравнительно поздно. В таких названиях, как **Rvišče* (совр. *Orvište*), **Rdžovce* (совр. *Ordžovany*), группы *Rv-*, *Rdž-* еще в XII в. сохранялись в неизменном виде: в XIII в. появляется *Rev-*, *Redž-* или *Rodž-*, *Radž-* и уже, возможно, и формы *lehota*, *lihota*, *lohota*, *hilhota*; эти новые формы, однако, проникают в памятники лишь в XIV в. Долгое всего, как кажется, сохраняется в неизменном виде группа *mš-* — возможно, вплоть до XV в., когда, видимо, возникают такие формы, как *Omšenie* на месте старшего *Mšenie*, *omša* на месте старшего *mša*.

Вставные гласные в группах *čr-*, *žr-* и *šcr-* возникают довольно рано, но при этом указанные группы удерживаются и в неиз-

¹⁹ См. Š t. T ó b i k, Charakteristické zjavy hláskoslovné v nárečiach juhozápadného Gemera, II — Prehláska *o > e* a zmena *o, ó > e, ie*, «Bratislava», IX, 1935.

менном виде, часто и вплоть до настоящего времени. Уже в грамоте 1156 г. поселение *Černík* обозначено как *Cernic*, причем *Čierna* при Чадце пишется еще в 1474 г. как *Chrna* = *Črná*. В Жиличине в 1469 г. пишется *czerwonych* = *červených* («červených»), около 1468 г. — *na czrtowe huorcze* = *na Črtove Huorce* («na Čertovej Hôrke»). Слово *čerešňa* обозначается в Липтове как *črešňa* еще в памятнике 1649 г.: *do toho čressnowieho pnia* = *do toho črešňovieho pňa* (Ян Липтовский; рукопись у меня). При этом в другом месте имеется *Čerešník*, обозначенный как *Cheresnyk* в 1518 г. (Tr., стр. 177). В среднесловацком наречии до настоящего времени вставного гласного в группе *šcr-*, изменившейся в *štr-*, не бывает: *Štrba*, *štrk*, *štrbina*.

В восточной Словакии сопутствующий звук при слоговых *r* и *l* возник сравнительно поздно и распространился не сразу на всей территории. Так, при Спишском Подграде упоминается селение *Vlčiňa* (*Vlčiná*?) в XIV—XV вв., которое записывается как *Wlchyna* 1346—1349 гг., *Wlchyne* 1350 г., 1351 г., но *Wylchynie* 1431 г. *Welchene* 1479 г., (Csánki, стр. 268). В Земплинской области имеется запись *Charnaneteche* = *Čarná Netečä* 1335 г. (переписано в 1357 г.), список XVIII в. В молитвах Спишского собора 1480 г. находим уже последовательно проведенный вставной звук: *pauperwe* и т. д. Современные формы типа *polni* (*plný*), *štrartek* и т. д. или еще не распространились в XIII в., или имели лишь незначительное распространение. Пишется: *Kolchvan* вместо *Klčorany* 1282 г., *Dolha* 1301 г.

Перевела со словацкого О. А. Лантеева

Р. М. ФРУМКИНА

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕКСИКИ ПУШКИНА *

При изучении языка писателя мы, как правило, не можем точно указать, в чем заключается «богатство», специфика лексики данного автора, хотя, несомненно, ощущаем эти качества интуитивно. В науке неоднократно делались попытки подойти к вопросам изучения лексического фонда писателя на основе количественного критерия — частоты употребления тех или иных слов в его произведениях¹. Количественным критерием предлагалось также воспользоваться в целях эвристики². На этом пути есть значительные успехи, есть и неудачи.

Материалы «Словаря языка Пушкина»³, где для каждого слова указано, сколько раз оно употреблено в пушкинских текстах, впервые позволяют предпринять такого рода исследование для русского автора. Даже предварительные результаты, полученные при таком подходе, представляют, как нам кажется, существенный интерес.

Еще в сороковых годах XX в. было достоверно установлено, что лексика каждого достаточно длинного текста, будь то художественная или научная литература, обладает определенной статистической структурой⁴. В общих чертах это означает, что для каждого автора существует определенное строгое соотношение в употреблении более частых, менее частых и редких слов и что в зависимости от того, каково это соотношение, мы субъективно ощущаем словарь автора как богатый, разнообразный, или бедный, однообразный. Соотношение такого рода изучалось для английских, французских, латинских писателей; для русских авторов таких данных в литературе не имеется.

При определении такого соотношения для лексики Пушкина нами были получены следующие данные. Общий объем пушкинских текстов (по академическому изданию без черновых вариантов) — 544 777 слов. Всего разных слов у Пушкина (по данным картотеки словаря Пушкина и в соответствии с тем пониманием слова, которое принято в словаре) — 21 197. При этом 50 самых частых слов составляют 38% всех словоупотреблений, т. е. более трети всех пушкинских текстов. 200 самых частых слов составляют 52%, т. е. более половины текстов. 1000 самых частых слов составляют 70% текста: это значит, что для лица, не владеющего русским языком, достаточно выучить эти 1000 слов, чтобы из каждых 10 000 слов текста понимать 7000 слов без обращения к словарю. Если мы продолжим это рассмотрение, то окажется, что 8000 самых частых слов соответствуют 95% текста Пушкина, а на остальные 13 200 слов пушкинской лексики

* В настоящей статье излагаются первые результаты совместной работы по статистическому исследованию лексики Пушкина группы «Словаря языка Пушкина» Института русского языка АН СССР и сектора прикладного языкознания Института языкознания АН СССР.

¹ См. G. U. Yule, *The statistical study of literary vocabulary*, London, 1944; M. L. Hanley, *Word index to James Joyce's Ulysses*, Madison, 1951 [mimeogr. изд.]; W. Kuraszkiewicz, *Statystyczne badanie słownictwa polskich tekstów XVI wieku*, «Z polskich studiów slawistycznych. Prace język. i etnogen...», Warszawa, 1958.

² См. В. В. Виноградов, *Лингвистические основы научной критики текста*, ВЯ, 1958, №№ 2 и 3.

³ «Словарь языка Пушкина», М., т. I—1956, т. II—1957, т. III—1959 (т. IV — рукопись).

⁴ См. G. U. Yule, указ. соч.

приходится только 5% текста. Очевидно, что если 13 200 слов (т. е. 62% лексики) составляют всего 5% текста, то мы имеем дело с весьма редкими словами.

Рассмотрим эту группу из 13 200 слов (которые мы в дальнейшем будем условно называть «редкими») с точки зрения того, как часто встречаются в текстах Пушкина входящие в нее слова. Получаем следующие результаты: 1) около 6400 слов (6389) употреблены Пушкиным всего по одному разу, 2) около 3000 слов (2913) — по два раза, 3) самые частые слова из указанных 13 200 встречаются во всех текстах Пушкина не более пяти раз.

Таким образом, слова, встречающиеся у Пушкина не более двух раз, составляют 48% (почти половину!) его лексики. Если мы сочтем, что слова, употребленные у Пушкина по одному разу, не существенны для характеристики его словаря, и будем рассматривать лексику Пушкина без них, то мы обедним пушкинский словарь на 30%, а если мы оставим без внимания все слова, употребленные не более двух раз, то лексика Пушкина уменьшится вдвое. Более того, если бы мы по каким-либо соображениям условились рассматривать только, так сказать, «употребительные» слова, например встретившиеся на протяжении всех томов академического издания не менее 25 раз, то полученный таким образом словарь свелся бы к небольшой группе в 3891 слово. Из этих данных с очевидностью следует вывод о том, что богатство словаря автора заключено по преимуществу в редких словах: именно за их счет мы имеем словарь в 21 197 слов. Таким образом, слова, встречающиеся у автора один раз, должны рассматриваться как существенная часть его лексики.

Продолжим рассмотрение группы редких слов с точки зрения качественной. Ограничимся пока словами, встречающимися по одному разу, — их у Пушкина 6389. В целом об этой группе слов можно сказать следующее: 1) большинство этих слов стилистически нейтрально; 2) наряду с большим количеством окказиональных слов — прилагательных, образованных от имен собственных и географических названий, прозвищ и т. п., в разряд «редких» попадают и такие слова, которые интуитивно мы считаем естественно входящими в пушкинскую лексику. Так, всего по одному разу встречаются у Пушкина прилагательные *благодарный*, *безграничный*, *береговой*, *бравый*.

На основании этого можно высказать одно соображение, небезынтересное для эвристики. Предположим, рассматривается некоторый текст, принадлежность которого Пушкину оспаривается. В качестве одного из аргументов против атрибуции текста Пушкину приводится тот факт, что в тексте есть слова, не засвидетельствованные в картотеке словаря Пушкина и не встречающиеся в черновых вариантах. Однако, если уже упоминавшееся выше слово *благодарный* употреблено Пушкиным только в стихотворении «В часы забав плъ праздной скуки», то для отсутствия этого слова в словнике Пушкина достаточно было, чтобы это стихотворение временно оставалось по каким-либо совершенно случайным внешним причинам неизвестным. Если же имеют место попытки атрибуции довольно длинного текста, например длиной в 500 слов и более (что равно приблизительно 2 страницам прозаического текста), то в таком тексте может быть целая группа слов, в других текстах предполагаемого автора не встречающихся, причем это могут быть и не существенные, которые более всего связаны с темой произведения, а прилагательные, наречия и глаголы. Например, у Пушкина всего один раз встречаются такие наречия, как *бедно*, *беспокойно*, *беспоощадно*, *бесчестно*, *вдохновенно*, *горделиво*, *горестно*, *завистливо*, *заманчиво*. Вообще надо сказать, что в тех случаях, когда количественный критерий применялся успешно в целях эвристики, исследователям потребовалось составить целую совокупность весьма сложных статистических характеристик⁵.

⁵ См., например, G. U. Yule, указ. соч.

Несколько слов о жанровой характеристике так называемых «редких слов». Если разделить все тексты Пушкина на четыре жанра: 1) стихотворные тексты, 2) художественная проза, 3) публицистика и исторические сочинения, 4) письма — и сгруппировать слова, встречающиеся не более одного раза, по жанрам, то окажется, что для каждого такого слова (если отвлечься от имен собственных мифологического характера) трудно объяснить причину его употребления именно в данном жанре. В особенности это касается глаголов, прилагательных и наречий (так, единственное употребление слова *златовласый* приходится на художественную прозу). Однако, рассматривая в целом группу слов, употребленных только в данном жанре, мы все же можем выделить лексические пласты, характерные, например, для публицистики и исторических сочинений Пушкина в противоположность художественной прозе. Можно предположить, что лучше всего различие в употреблении слов в разных жанрах прослеживается на словах средней частоты, встретившихся во всех текстах Пушкина примерно от 10 до 50 раз. Это подтверждается предварительными результатами.

Для примера рассмотрим наугад несколько слов, употребленных по 30 раз. При этом выявляются слова, относительно равномерно распределенные по жанрам, например *великолепный*, и слова, сосредоточенные в отдельных жанрах. Преимущественно в стихах употребляются слова: *богиня* (30 из 30), *воинственный* (21 из 30), *буйный* (24 из 30), *небрежный* (24 из 30), *дороже* (21 из 30). Совсем не встречаются в стихах слова *императорский*, *мелочной*. По одному разу из 30 встречаются в стихах слова: *занимательный*, *деревянный*, *иностранец*. Нам кажется, что, продолжая работу в этом направлении, мы можем получить интересные результаты, характеризующие лексическую структуру, присущую тем или иным жанрам пушкинского творчества.

Перейдем теперь к анализу группы самых частых слов у Пушкина. Если расположить весь словник в порядке убывания частот, от самых частых слов к самым редким, и рассмотреть первые 200 слов в этом списке, т. е. 200 самых частых слов у Пушкина, то выясняется следующее: 1) самое частое из них — *и* — употреблено у Пушкина 25 026 раз, самые редкие — *случай* и *чувство* — по 297 раз каждое (отметим предварительно, что 300 раз на более чем полмиллиона слов пушкинских текстов — это не так уж часто); 2) среди этих 200 слов нет ни одного стилистически нейтрального; 3) подавляющее большинство этих слов и сейчас являются самыми частыми для русского литературного языка. Во всяком случае резкие сдвиги в частоте употребления можно отметить только для 20 слов из 200. Это следующие группы слов: а) служебные слова, местоимения и наречия, которые употребляются в современном языке или крайне редко или с определенной стилистической целью: *сей, да* (союз), *пред, хоть, кой*; б) слова, ставшие значительно менее употребительными в силу изменения общественного строя и исторической обстановки: *бог, государь, господин, князь, граф, царь* (всего 6 слов); в) слова, ставшие менее употребительными в результате изменения системы значений или стилистической характеристики: *душа* (ср. *сердце*), *стих* (ср. *стихи, стихотворение*), *милостивый* (в обращении *милостивый государь* устарело), *взор* (у Пушкина это слово нейтрально, но ср. современное противопоставление *взор* — *взгляд*), *войско* (ср. *войска, армия*), *должный, уж* (в значении современного *уже*), *милый* (ср. *дорогой*).

Еще более показательным является такое сравнение для 500 самых частых слов (мы продолжаем наш список, добавляя 300 следующих по частоте). Теперь самые редкие слова из рассматриваемых имеют частоту 143 (это слова: *воображение, глава, гроб, кругом, легкий, луна, поехать, следующий* и *слишком*). Значительные сдвиги в употребительности отмечаем для следующих слов: а) служебные слова, местоимения и наречия, которые для современного языка или архаичны, или стилистически окра-

шены: *оний*, *ибо*, *противу*, *друг* (краткая форма от *другой*), *меж*, *было* (частица), *тотчас*, *ныне*, *столь*, *ужели* (всего 10 слов); б) слова, ставшие значительно менее употребительными в силу общественно-исторических изменений: *царский*, *величество*, *государыня*, *графиня*, *слуга*, *дама*, *бал* (всего 7 слов); в) слова, ставшие менее употребительными в результате семантико-стилистических сдвигов: *дева*, *внимать*, *дух*, *младой*, *глава*, *любезный*, *муза*, *надобно*, *должно*, *батушка*, *словесность* (всего 11 слов). Итак, для 500 самых частых слов существенные изменения в сторону уменьшения частоты употребления отмечены для 48 слов.

Остальные слова представляются нам вполне современными и почти без исключения стилистически нейтральными. Кроме того, они совершенно не содержат устаревших словообразовательных⁶ элементов. Например, с № 290 по № 300: *вероятно*, *писатель*, *ужасный*, *род*, *скоро*, *шум*, *звать*, *помнить*, *дочь*, *важный*, *разговор*; с № 340 по № 349: *бояться*, *отправиться*, *иной*, *нежный*, *темный*, *вместе*, *внимание*, *петь*, *вновь*, *возвратиться*.

Это позволяет высказать следующее предположение. Наше субъективное ощущение языка Пушкина как очень близкого к современному, несомненно, связано с тем, что 500 самых частых слов⁶ его словаря включают всего 48 сколько-нибудь устаревших или значительно изменивших систему значений, поскольку эти 500 слов соответствуют примерно 62% пушкинского текста.

Полученные результаты позволяют поставить следующий вопрос. Несомненно, что, например, язык Карамзина является по отношению к современному состоянию русского литературного языка более ранней ступенью, чем язык Пушкина. Вместе с тем в сочинениях Карамзина, несомненно, встречаются все или почти все те слова, которые входят в 500 самых частых слов у Пушкина. Будут ли эти слова у Карамзина входить в ту же частотную группу, что и у Пушкина? В качестве рабочей гипотезы можно высказать мысль о том, что списки «500 самых частых слов у Пушкина» и «500 самых частых слов у Карамзина» совпадут лишь частично: часть тех слов, которые у Карамзина принадлежат к 500 самым частым словам, у Пушкина окажутся употребляемыми реже и войдут, например, лишь в список «2000 самых частых слов», и т. д. Представляется, вообще говоря, возможным, располагая лексику каждого из двух или более авторов в порядке убывания частот и рассматривая с разных точек зрения степень коррелированности таких списков, найти некоторые объективные характеристики словаря именно данного писателя. Можно полагать также, что исследование статистических характеристик словарей различных писателей даст возможность выделить индивидуальные особенности лексики писателя от фона, характерного для эпохи в целом.

⁶ Цифра «500», конечно, условна: можно было бы рассматривать группу в 600, 700, 1000 самых частых слов.

И. И. РЕВЗИН

О СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯХ В СИСТЕМЕ ПАДЕЖЕЙ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

1. Будем называть группой существительного само существительное (или местоимение=существительному) и все слова, стоящие слева от него и относящиеся к нему, за исключением первого слева предлога. Можно было бы дать более строгое определение, но для наших целей это не нужно. Мы ограничимся лишь рядом примеров отдельных групп существительного:

<i>Freiheit</i>	}	«свобода»
<i>die Freiheit</i>		
<i>seine endlich</i>	}	«его наконец обретенная свобода»
<i>eroberte Freiheit</i>		
<i>ihnen</i>		«им»

По смыслу данного определения в сочетании *um die Freiheit des Volkes* «за свободу народа» слова *um* и *des Volkes* не входят в одну группу со словами *die Freiheit*. Здесь две группы: 1) *die Freiheit* и 2) *des Volkes*.

2. Две группы существительного А и В считаются эквивалентными, если замена группы А на группу В и группы В на группу А в любом правильно построенном немецком предложении не влияет на правильность построения предложения¹. Так, группа *seine endlich eroberte Freiheit* и группа *das folgende Beispiel* эквивалентны, так как они взаимозаменяемы (в указанном выше смысле) в любом предложении, например: *Dies gilt für das folgende Beispiel* (ср. *Dies gilt für seine endlich eroberte Freiheit*), *Er verteidigt seine endlich eroberte Freiheit* (ср. *Er verteidigt das folgende Beispiel*).

3. Собрав вместе все эквивалентные между собой группы, мы получим ряд множеств, которые мы будем называть типами. Всего в современном немецком языке 8 типов:

1. Группы типа: *der Mann*
2. Группы типа: *des Mannes, des Auges* (а также: *der Männer*)
3. Группы типа: *dem Mann* (также: *den Männern*)
4. Группы типа: *den Mann*
5. Группы типа: *die Frau* (а также: *das...Auge*)
6. Группы типа: *der Frau*
7. Группы типа: *die Männer, die...Frauen, die...Augen*
8. Группы типа: *den Studenten*

4. Посредством довольно простой логической процедуры, предложенной Р. Л. Добрушиным² (суть ее мы здесь для краткости излагать не будем), можно распределить группы, принадлежащие к этим 8 типам, по пяти категориям³, которые следующим образом соответствуют традиционным падежам:

¹ По вопросу о правильно построенных предложениях см. N. Chomsky, *Syntactic structures*, 's-Gravenhage, 1957, стр. 5—7.

² Р. Л. Добрушин, Элементарная грамматическая категория, «Бюллетень объединения по проблемам машинного перевода», № 5, М., 1957.

³ Под категорией у Р. Л. Добрушина понимается так же, как, например, у Пешковского, некоторая совокупность слов.

- I категория (*der Mann, die Frau, das Auge*) → Nominativ Sing (N₁)
 II категория (*die Männer, die Frauen, die Augen*) → Nominativ Pl (N₂)
 III категория (*des Mannes, der Männer, der Frau*) → Genitiv (G)
 IV категория (*dem Mann, den Frauen, der Frau*) → Dativ (D)
 V категория (*den Mann, die Frauen, das Auge*) → Akkusativ (Akk.)

То, что именительный падеж расщепляется на две категории, в то время как для остальных падежей формы единственного и множественного числа объединяются в одной категории, вытекает из принятого нами принципа эквивалентности. Группа *des Mannes* может быть в любом предложении заменена группой *der Männer* и обратно, причем грамматическая правильность не нарушается, так как ни один из элементов предложения, находящихся в ней группы существительного, не согласуется с данным существительным. По-иному обстоит дело с именительным падежом, который влияет на форму *verbum finitum*, находящуюся в ней группы существительного, ср. *Die Kinder sind da* при грамматической неправомерности предложения *Das Kind sind da*.

5. Функции каждой из выделенных нами категорий выясняются из того, каким категориям противопоставлена данная категория. Противопоставление выражается в определенных типах словосочетаний. Для простоты, однако, мы будем считать, что при помощи какой-то определенной процедуры мы можем выделить глагол как слово, грамматически выражающее действие, а также установить направление действия, т. е. выделить слово, обозначающее субъект действия, и слово, обозначающее его объект. Иначе говоря, мы считаем, что ряд наиболее простых предложений немецкого языка вида: *der Mann geht* «человек идет»; *er raucht eine Zigarette* «он курит папиросу»; *ich beschreibe das Fest* «я описываю праздник»; *die Frau küßt das Kind* «женщина целует ребенка»; *du dankst mir* «ты благодаришь меня» — задан нам в качестве заранее проанализированных с точки зрения направленности действия.

6. Все противопоставления, выделяемые нами (мы выделили лишь основные), мы занумеруем римскими цифрами в порядке анализа.

6. I. Итак, одно из противопоставлений нам задано, это противопоставление $N_1 \leftrightarrow \text{Akk.}$ (субъектно-объектное отношение). Тем самым нам задано и противопоставление $N_2 \leftrightarrow \text{Akk.}$ Вообще же сразу очевидно, что с точки зрения противопоставлений N_1 и N_2 идентичны. Поэтому для простоты мы сразу же их объединим и в дальнейшем не будем делать различий между N_1 и N_2 .

6. II. Четко выделяется противопоставление $N \leftrightarrow G$; ср. сочетания *der Mann raucht* и *das Rauchen des Mannes*. Это противопоставление «выявленного» субъекта, т. е. субъекта, действие которого выражено *verbum finitum*, и субъекта «невыявленного». Противопоставление это сугубо синтаксическое, оно связано с тем, принадлежит ли данное предложение к так называемому «ядру» языка, т. е. некоторой совокупности фраз наиболее простого строения (такова фраза *der Mann raucht*), или же к числу фраз, получившихся в результате определенной «трансформации»⁴ (такова, например, фраза *das Rauchen des Mannes geht mir auf die Nerven*).

6. III. Противопоставление $N \leftrightarrow D$ в сущности то же самое, что и $N \leftrightarrow \text{Akk.}$ Если и есть разница между *Akk.* и *D* (см. 6. VI), то она никак не затрагивает отношения каждого из этих падежей к *N*.

6. IV. Противопоставление $\text{Akk.} \leftrightarrow G$ есть противопоставление выявленного и «невыявленного» объекта, связанное с наличием или отсутствием соответствующей трансформации; ср. сочетания: *ich beschreibe das Fest* «я описываю праздник»; *die Beschreibung des Festes* «описание праздника».

6. V. Противопоставление $D \leftrightarrow G$ в сущности то же самое, что 6. IV. Чистота этого противопоставления нарушается тем, что «невыявленный»

⁴ Понятия «ядро» и «трансформация» определены более строго в упомянутой работе Н. Хомского; см. также консультацию Т. М. Николаевой «Что такое трансформационный анализ?», ВЯ, 1960, № 1, стр. 111—113.

объект ставится не в G, а оформлен предложной конструкцией. Однако D и G четко противопоставлены в системе современного немецкого языка (в отличие, например, от родительного и дательного падежей в русском языке, где данный признак неважен) по следующему принципу, очень важному для понимания всего строя современного немецкого языка: в немецком языке дательный падеж без предлога может относиться только к глаголу, но не к существительному; ср.:

	В русском языке	В немецком языке
С глаголом	<i>Он предоставил съезду отчет о работе</i>	<i>Er erstattete dem Parteitag einen Rechenschaftsbericht</i>
С существительным при трансформации	<i>Отчет съезду о работе</i>	<i>Der Rechenschaftsbericht an den Parteitag</i>
С глаголом	<i>Этому общественному деятелю присудили премию</i>	<i>Diesem Vertreter der Öffentlichkeit wurde ein Preis verliehen</i>
С существительным при трансформации	<i>Присуждение премии этому общественному деятелю</i>	<i>Die Verleihung des Preises an diesen Vertreter der Öffentlichkeit</i>

Таким образом, G противопоставлен D и Akk. по принципу сочетаемости. G сочетается с существительным и характерен для трансформированных фраз, а D и Akk. сочетаются во фразах ядра с глаголом. Как известно, отдельные случаи зависимости G от глагола — это пережиток, никак не характеризующий систему современного немецкого языка. Управление глагола родительным падежом есть факт словаря, а не грамматики. В общем, вполне можно считать, что противопоставление 6. IV и противопоставление 6. V есть одно и то же противопоставление.

6. VI. Осталось противопоставление D ↔ Akk. Здесь можно установить две линии, по которым это противопоставление намечается: а) При наличии двух объектов, например в предложении *er gibt dem Mann das Buch* «он дает человеку книгу», Akk. оформляет объект, подвергающийся более непосредственному воздействию, чем объект, оформляемый D (обычно лицо). Заметим, что в случае одного объекта это различие простирается гораздо слабее. Попытки объяснить соответствующую разницу между управлением глаголов *treffen* и *begegnen* (ср. *ich traf ihn*, *ich begegnete ihm* «я встретил его»), несмотря на очень тонкий анализ этого примера профессором В. Г. Адмони, вряд ли убедительны, если даже добавить сюда различие в ощущении интенсивности действия⁵.

б) С предлогами *in*, *an*, *auf*, *über*, *unter*, *vor*, *zwischen* D выражает действие, остающееся в сфере соответствующего объекта (ср. *in dem Hause* «в доме», *in der Ecke* «в углу»), в то время как Akk. оформляет действие, вторгающееся в сферу объекта (ср. *in das Haus* «в дом», *an eine Ecke* «в угол» и т. п.). Однако последнее значение, как правило, поддерживается всем контекстом, например *er ging ins Haus hinein*.

§ 7. Итак, имеются следующие четыре противопоставления:

П₁: 6.I (= 6.III)

П₂: 6.II

П₃: 6.IV (= 6.V)

П₄: 6.VI

Дадим схему противопоставлений между падежами (см. схему 1):

На схеме 1 ясно видно, что каждое из противопоставлений П₁,

⁵ См. В. Адмони, Введение в синтаксис современного немецкого языка, М., 1955, стр. 332—333.

Π_2 и Π_3 поддержано хотя бы одним другим противопоставлением. В самом деле, представим каждый падеж как пучок противопоставлений (повторяющиеся противопоставления мы опустим): $N = (\Pi_1, \Pi_2)$; $G = (\Pi_2, \Pi_3)$; $D = (\Pi_1, \Pi_3, \Pi_4)$; $Akk. = (\Pi_1, \Pi_3, \Pi_4)$.

Здесь противопоставление между N и G и N и D , т. е. Π_1 , поддержано противопоставлениями Π_2 и Π_3 , противопоставление Π_2 — противопоставлениями Π_1 и Π_3 и, наконец, Π_3 — противопоставлениями Π_1 и Π_2 . Проти-

вопоставление Π_4 не поддерживается другими противопоставлениями. Это лучше всего видно, если перерисовать нашу схему, где $Akk.$ и D совмещены (см. схему 2).

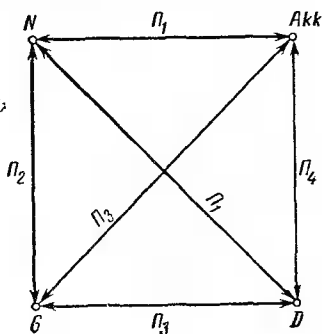


Схема 1

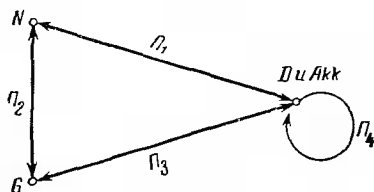


Схема 2

Мы видим, что совмещение D и $Akk.$ (снятие противопоставления Π_4) не затрагивает ни одного из других противопоставлений. Противопоставления, не поддерживаемые другими противопоставлениями в системе, мы будем называть с л а б ы м и. Противопоставление, которое поддержано хотя бы одним другим противопоставлением, мы будем называть с и л ь н ы м. Итак, противопоставление D и $Akk.$ с точки зрения этого определения есть противопоставление слабое.

Интересно отметить, что противопоставление Π_4 — единственное противопоставление, которое не удалось сформулировать исходя из чисто синтагматических критериев. Его можно сопоставить с противопоставлением по признаку «периферийности», рассматриваемым Р. Якобсоном⁶.

8. Настоящее исследование. произведенное в строгом синхронном плане, возникло в связи с практическими потребностями составления правил машинного перевода с немецкого языка. Интересно, однако, что выводы его полностью соответствуют данным истории языка и диалектологии. Слабость противопоставления между D и $Akk.$ вполне согласуется со случаями смешения этих падежей в ряде средненижнегерманских диалектов⁷.

В. М. Жирмунский считает, что смешение дательного и винительного падежей, наблюдаемое в истории немецкого языка, объясняется тем, что «в предложных конструкциях центр тяжести переносится с падежей на предлоги»⁸. С этим нельзя не согласиться, хотя это смешение имеет место и в беспредложном употреблении (например, для личных местоимений, в системе которых произошла почти полная унификация форм дательного и винительного падежей множественного числа).

Нам, однако, кажется, что слабость противопоставления дательного и винительного в описанном выше смысле сыграла немаловажную роль и в диакропии.

⁶ См. Р. О. Якобсон, Морфологические наблюдения над славянским склонением, 's-Gravenhage, 1958. Заметим, что предложенная нами система противопоставлений отличается от системы Якобсона именно тем, что Якобсон, по-видимому, исходит из парадигматических критериев, в то время как мы считаем более целесообразным положить в основу синтагматические критерии.

⁷ Ср., например, карту распространения *dir* «себе», *d ch* «тебя» и общей формы дательного падежа в немецких диалектах в сб. «Немецкая диалектология», М., 1955 стр. 196 (перевод с немецкого под ред. проф. В. М. Жирмунского).

⁸ В. М. Жирмунский, История немецкого языка, 4-е изд., М., 1956, стр. 212.

Е. А. КРАШЕНИННИКОВА

ИРРЕАЛЬНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Ирреальная модальность в немецком языке представляет собой систему форм, передающих значения недействительности, сомнения, ирреального предположения, ирреального сравнения и т. п. В немецкой лингвистической литературе ирреальность признается как ведущее значение претеритума и плюсквамперфекта конъюнктива и кондиционалиса. На это указывает большинство немецких лингвистов¹.

Основная трудность в анализе ирреальной модальности в любом языке, в том числе и в немецком, заключается в сложности отграничения ирреальных значений от близких к ним гипотетических и потенциальных. Некоторые немецкие грамматисты склонны смешивать ирреальные значения с потенциальными. В частности, О. Бехагель первым и основным потенциальным значением считает пререалис². Такое смешение понятий порождено искусственным перенесением на немецкий язык категорий латинской грамматики. Немецкая традиционная грамматика взяла термин «потенциальный конъюнктив», но вложила в него не те значения, которые соответствуют латинскому *conjunctivus potentialis*, а ирреальное значение, принадлежащее в латинской грамматике оптативному конъюнктиву³.

Отграничение ирреальной модальности от других, близких к ней модальных значений имеет большое теоретическое значение⁴. Р. А. Будагов, определяя место гипотетической модальности среди других модальных значений, писал, что «если представить себе модальную линию предложения в виде прямой линии, по краям которой расположены утверждение и отрицание, а конъюнктив посередине: *плакал* ← *плакал бы* → *не плакал*, то гипотетическая модальность конъюнктива расположится не всегда посередине, она может перемещаться по этой линии, приближаясь то к отрицанию, то к утверждению»⁵. Развивая эту мысль, можно сказать, что гипотетические предложения (т. е. выражающие реальное предположение) расположатся ближе к да, а ирреально-гипотетические — ближе к нет (см. таблицу). Надо добавить к этому, что все перечисленные здесь виды модальности могут стоять как в утвердительных, так и отрицательных предложениях, и от этого их модальность не меняется.

Распределив таким образом основные модальные значения действительности, вероятности и ирреальности, необходимо провести их сопоставительный анализ, без которого вопрос о границах между этими видами модальности не может быть решен. Здесь на помощь приходит метод противопоставлений (оппозиций).

¹ См., например, H. Paul, *Deutsche Grammatik*, Tl. IV (II). Halle (Saale), 1957, стр. 158; W. Jung, *Kleine Grammatik der deutschen Sprache*, Leipzig, 1954, стр. 221; M. Regula, *Grundlegung und Grundprobleme der Syntax*, Heidelberg, 1951, стр. 141.

² O. Behagel, *Deutsche Syntax*, Bd. 2, Heidelberg, 1924, стр. 236.

³ См. С. И. Соболевский, *Грамматика латинского языка*, М., 1938, стр. 190—194.

⁴ В данной работе мы не останавливаемся на ирреальных пожеланиях, относящихся к оптативной модальности. Ирреальные пожелания имеют свои семантические особенности и должны быть предметом особого исследования.

⁵ Р. А. Будагов, *Проблема гипотетической модальности в романских языках*, ИАН ОЛЯ, 1947, вып. 2, стр. 155.

Д а			Д а
Виды модальности	Основные модальные значения	П р и м е р ы	
Индикативная модальность	Констатация факта и утверждение	<i>Er ist (nicht) stark genug</i>	
	Реальное сравнение (сопоставление)	<i>Er ist (nicht) stärker, als sein Vater vor Jahren gewesen ist</i>	
	Реальная косвенная речь	<i>Man sagt, er sei (nicht) stark genug</i>	
Потенциальная модальность	Реальное условие	<i>Wenn er (nicht) stark genug ist, wird er damit (nicht) fertig sein</i>	
Проблематическая модальность	Реальное предположение, основанное на знании фактов	<i>Er muß (nicht) stark genug gewesen sein</i>	
	Реальное предположение, основанное на очевидности, уверенности	<i>Er wird (nicht) stark genug gewesen sein</i>	
	Уверенное предположение, основанное на размышлении	<i>Er mag (nicht) stark genug gewesen sein</i>	
	Вежливое, но уверенное предположение	<i>Er dürfte (nicht) stark genug gewesen sein</i>	
	Предположение, допускающее двоякий исход дела	<i>Er kann (könnte) (nicht) stark genug gewesen sein</i>	
Ирреальная модальность	Ирреальное предположение	<i>Er wäre (nicht) stark genug gewesen</i>	
	Ирреальное условие	<i>Wenn er (nicht) stark wäre, hätte er anders gehandelt</i>	
	Ирреальное сравнение	<i>Er sah so aus, als ob er (nicht) besonders stark wäre</i>	
	Ирреальное значение прерванного действия	<i>Ich hätte ihn beinahe für (nicht) besonders stark gehalten</i>	
	Ирреальная косвенная речь	<i>Er sagt, er wäre (nicht) stark genug</i>	
Н е т			Н е т

В сфере модальности действительности, вероятности и ирреальности может быть выведена система противопоставлений, составляющая как бы логический каркас этого вида модальности. Противопоставления (оппозиции) помогают выделить основные, ведущие понятия и установить их соотношенность (корреляции). Выведение этих оппозиций и корреляций должно основываться на выделении существенного, значительного и на устранении всего второстепенного, несущественного для данного языка. Для этого необходимо привлечь понятие признака. Представители пражской лингвистической школы показали, что коррелятивные языковые противопоставления (Gegensätze) образуются категориями, не имеющими признака (merkmale) по отношению к категориям, наделенным опре-

деленным признаком (*merkmalhaftig*)⁶. Таким признаком в сфере модальности является **реальность**.

Чтобы избежать возможных смещений понятий ирреального, проблематического (гипотетического) и потенциального, для немецких наклонений сами собой напрашиваются следующие противопоставления:

1. Ирреальное предположение: реальное предположение (проблематическое значение)
2. Ирреальное условие: реальное условие (потенциальное значение)
3. Ирреальная косвенная речь: реальная косвенная речь (индикативное значение)
4. Ирреальное сравнение: реальное сравнение (сопоставление) (индикативное значение)
5. Значение прерванного действия: констатация факта (индикативное значение)

Если обозначить индикативную модальность как *A*, потенциальную модальность как *B*, проблематическую — как *C* и ирреальную — как *D*: признак реальности обозначить как *R* и признак нереальности — как *I*, а частные значения следующим образом: предположение — *l*, констатация факта — *p*, условие — *m*, сравнение — *q*, косвенная речь — *n*⁷, то мы сможем изобразить указанные выше соотношения, как:

$$\begin{aligned} (D) \quad Il : Rl \quad (C) \\ (D) \quad Im : Rm \quad (B) \\ (D) \quad In : Rn \quad (A) \\ (D) \quad Ip : Rp \quad (A) \\ (D) \quad Iq : Rq \quad (A) \end{aligned}$$

Эти оппозиции показывают, что в немецком языке сфера ирреальных значений (*D*) более всеобъемлюща, чем сфера значений действительности (*A*), возможности (*B*) и вероятности (*C*). Получая признак реальности (*R*), значения *l*, *m*, *n*, *p*, *q* как бы расходятся по разным категориям.

Если скомбинировать приведенные выше соответствия по тем сферам, куда они относятся, то получим:

$$D \begin{cases} \begin{Bmatrix} In : Rn \\ Ip : Rp \\ Iq : Rq \end{Bmatrix} A \\ \begin{Bmatrix} Im : Rm \\ Il : Rl \end{Bmatrix} (B) - (C) \end{cases}$$

Иными словами, наиболее многочисленные модальные значения с признаком реальности относятся к сфере *A* — действительности [косвенная речь (*Rn*), констатация факта (*Rp*) и реальное сравнение (*Rq*)]. Одно значение [реальное условие (*Rm*)] относится к сфере потенциальности (*B*) и одно [реальное предположение (*Rl*)] является проблематическим (*C*).

Эти корреляции дают возможность наглядно и отчетливо показать все наиболее общие и ведущие соответствия между основными модальными значениями в сфере ирреальности, вероятности и действительности. Кроме того, они дают основание доказывать, что отрицание и утверждение, хотя и являются рамками, в которые укладываются эти виды модальности, все же сами не являются видами модальности. Если предположить, что немецкие предложения *Wenn er Zeit hätte, wäre er heute bei uns* и *Wenn er keine Zeit hätte, wäre er heute nicht bei uns* различаются по модальности, то это должно сказаться и на соответствующих модальных оппозициях. Но оказывается, что если модальность первого предложения можно изобразить

⁶ См. P. Trost, Zum lateinischen Konditionalsatz, «Glotta», Bd. XXVII, Hf. 3/4, 1939, стр. 207.

⁷ Буквенные обозначения здесь имеют чисто лингвистический смысл в отличие от сходных обозначений в модальной логике, где основное значение *p*, *q*, *m*, *n* соответственно следует читать: *p*: zutreffend, *q*: nicht; *m*: möglich, *n*: notwendig (см. H. A. Schmidt, Über einige neuere Untersuchungen zur Modalitätslogik, «Dialectica», vol. 12, №№ 3/4, Paris, 1958, стр. 410).

как *Im*, а второго — как *Im + nicht*, то соответствие первого и второго предложений будет таково: *Im : Im + nicht*. А это соответствие указывает на то, что существенные модальные признаки (*I* и *m*) при этом не меняются. Значит, для немецкой модальности признаки да и нет не существенны (ср. также таблицу).

Выводя эти корреляции на основании данных немецкого языка, необходимо показать не только моменты различия между модальными значениями, но и элементы их сходства. Иначе говоря, указанные противопоставления не абсолютны, а имеют в языке множество случаев сближения и взаимоперехода. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, обратимся к материалу ирреальной модальности немецкого языка. Распределив виды модальности от да до нет, мы вовсе не полагаем, что группы *A*, *B*, *C*, *D* разделены четкими границами.

Языковой материал показывает, что основное пререальное значение — ирреальное предположение — есть указание на наше предположение о чем-то, не соответствующем реальности, невероятном или заведомо невозможном. Оно, как правило, передается претерпитальной группой конъюктива. Например: «[*Mutter*] *Glücklich wärest du immer mit ihm gewesen*. [*Klara*] *Wäre versorgt und hatte ein ruhiges Leben*» (Goethe, *Egmont*). Соответственно реальное предположение говорит о вероятном. Например: *Sie muß glücklich gewesen sein*. «Она, по всему видно, была счастлива»; *Sie wird glücklich gewesen sein* «Она, я в этом уверена, была счастлива».

Итак, противопоставление пререального предположения реальному показывает обоснованность нашей корреляции. Однако немецкий язык не ограничивается этим общим соотношением и указывает на ряд переходных ступеней между пререальным и реальным предположениями.

Между ирреальным предположением типа *Da wäre er immer glücklich gewesen* и реальным предположением типа *Er muß glücklich gewesen sein* располагается гамма переходных оттенков. Ср.: 1) *Da wäre er immer glücklich gewesen* (ирреальное предположение); 2) *Da kann (könnte) er immer glücklich gewesen sein* (предположение, допускающее двоякий исход — как положительный, так и отрицательный); 3) *Da dürfte er immer glücklich gewesen sein* (вежливое, но достаточно уверенное предположение); 4) *Da mag er immer glücklich gewesen sein* (уверенное предположение, основанное на выводе, на размышлении); 5) *Da wird er immer glücklich gewesen sein* (реальное предположение, основанное на очевидности); другой пример: «*Aber eine Mutter werden Sie doch gehabt haben*» (Fr. Wolf, *Doktor Wanner*); 6) *Da muß er immer glücklich gewesen sein* (реальное предположение, основанное на точном знании фактов).

Таким образом, в первом и основном пререальном значении (пререальном предположении) есть две особенности: противопоставление реальному значению и наличие ряда ступеней перехода к этому реальному значению. Выражен этот ряд ступеней характерной для немецкого языка системой модальных глаголов с инфинитивом II (или I) и *werden* + инфинитив II (или I).

Аналогичную картину можно проследить и на других пререальных значениях. Так, предложения пререального условия в немецком языке оформляются при помощи претерита и плюсквамперфекта конъюктива и кондиционалиса I и II. Между этими формами существуют главным образом временные различия. Что же касается их модальных значений, то ирреальные условные предложения противопоставляются условным реальным предложениям. Например, ср.: «*Wenn Maud Allan noch am Leben wäre, so hätte ich eine Hoffnung!*», dachte er» (B. Kellermann, *Der Tunnel*), и *Wenn er kommt, werde ich ihm helfen*.

По типу модальности первое предложение относится к типу *D* (пререальности), а второе — к типу *B* (потенциальности). Первое предложение оформлено в претерите конъюктива, второе — в презенсе и футуруме индикатива. В самой общей форме в языке эти типы предложений проти-

вопоставлены друг другу. Однако благодаря наличию в немецком языке системы модальных глаголов, между этими двумя противоположными типами условных предложений существует ряд переходных моментов. Например: *Wenn er hier wäre, würde ich ihm helfen* (ирреальное условие); *Wenn er hier sein könnte, hätte ich ihm geholfen* (ирреальное условие с оттенком возможности); *Wenn er hier sein möchte, hätte ich ihm geholfen* (более реальное условие с оттенком пожелания); *Sollte er hier sein, könnte ich ihm helfen* (реальное условие, близкое к индикативу); *Wenn er kommt, werde ich ihm helfen* (реальное условие — потенциальное значение). Такие же гаммы оттенков, существующих между противопоставленными друг другу модальными значениями, имеются также в сфере сравнительных предложений, в области средств выражения констатации факта и в косвенной речи.

*

Приведенный выше материал показывает, что ирреальность в немецком языке следует ограничивать от проблематичности, потенциальности и действительности. Особенно четко это можно сделать, применяя метод корреляций и оппозиций. Результаты применения этого метода к ирреальности в немецком языке свидетельствуют о том, что сфера ирреальных значений в немецком языке шире, чем сфера потенциальности и проблематичности. Кроме того, оппозиции внутри ирреальности показывают, что отрицание и утверждение нельзя рассматривать как модальные значения, так как утвердительным и отрицательным может быть предложение любых модальностей. Существенные модальные признаки предложения при этом остаются без изменений.

Языковые данные подтверждают, таким образом, большие возможности, которые дает метод корреляций для изучения наиболее сложных проблем синтаксиса. В то же время, как показывают приведенные выше примеры, в живом языке существует также и взаимосвязь противопоставляемых в оппозициях значений. Язык не терпит слишком резких различий и дает целые гаммы взаимопереходов и взаимовлияний противоположных типов модальности.

К. П. БАХМАН

КЪ ВОПРОСУ О ГРАММАТИЧЕСКИХ СПОСОБАХ
В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ

Перечисляя грамматические способы (аффиксация, внутренняя флексия, повторы, сложение, служебные слова, порядок слов, ударение, интонация и суффиксализм), А. А. Реформатский утверждает, что «грамматика любого языка может выражаться только этими способами»¹ (разрядка моя. — К. Б.). Если это так, встает довольно трудный вопрос — к какому же способу относится так называемое чередование ступеней долготы в эстонском языке? Для ясности дальнейших рассуждений рассмотрим само явление чередования ступеней долготы (*astmevaheldus*).

Эстонский язык относится к языкам, в которых очень важную роль играют комбинации количественных характеристик звуков. Этот язык со всей справедливостью можно назвать квантитативным языком, как это делает П. Аристэ. По мнению П. Аристэ, кроме эстонского и лопарского (язык саами), в мире нет ни одного другого языка, в котором столь важное значение имели бы квантитативные корреляции звуков².

Изменение долготы гласных, согласных и дифтонгов в эстонском языке имеет фонологическое значение и может служить различителем как лексических, так и грамматических значений. Ср. *kali* «квас», *kaali* (генитив от *kaal* «брюква»), *kaali* (произносится *kaaali* — форма паритива и иллатива от *kaal*). В научной транскрипции: *kal'i* — *kāl'i* — *kāl'i*³ (= *kali* — *kaali* — *kaaali*); *koli* «хлам», *kooli* (генитив от *kool* «школа»), *kooli* (произносится *koooli* — форма паритива и иллатива), т. е. *kol'i* — *kōl'i* — *kōl'i* (= *koli* — *kooli* — *koooli*) и т. п.

То же самое происходит с изменением долготы согласных. Ср. *lina* «лен» — *linna* (генитив от *linn* «город») — *linna* (= *linnna* — паритив и иллатив от *linn*), т. е. *linnā* — *līnnā* — *līnnā* (= *lina* — *linna* — *linnna*); *kasi* «убирай» — *kassi* (генитив от *kass* «кошка») — *kassi* (= *kasssi* — форма паритива), т. е. *kasi* — *kašsi* — *kašsi* (= *kasi* — *kassi* — *kasssi*) и т. п.

В отличие от гласных и согласных, дифтонги имеют только две ступени фонологической долготы. Ср., например, формы генитива и паритива:

Номи н а т и в	Ге н и т и в	П а р т и т и в
<i>laul</i> «песня»	<i>laulu</i> [laũlu]	<i>laulu</i> [laũlu]
<i>kael</i> «шея»	<i>kaela</i> [kaēla]	<i>kaela</i> [kaēla] и т. п.

В приведенных примерах различителями генитива и паритива являются различные ступени долготы дифтонгов *au* и *ae*.

Следует отметить, что во многих случаях ступени долготы графически не различаются, вследствие чего в эстонском языке очень много омографов, смысл которых распознается только по контексту. Однако это положение зачастую приводит к двусмысленности написанного. Так, например, заглавие книги «*Salga au*»⁴ можно понять двояко: «Честь отряда» и «Отрицай честь» (или «Отрекись от чести»), так как слово *salga* (со слабой ступенью *l*) является омографом формы 2-го лица повелительного наклонения *salga!* (= *sallga!*) «отрицай! отрекись!».

¹ А. А. Реформатский, Введение в языкознание, М., 1955, стр. 199.

² P. A r i s t e, Eesti keele foneetika, Tallinn, 1953, стр. 90.

³ Применяем систему, которой пользуется кафедра эстонского языка Тартуского государственного университета.

⁴ H. P u k k, Salga au, Tallinn, 1955.

Вернемся к вопросу о грамматических способах. Из всех перечисленных выше грамматических способов к явлению чередования ступеней долготы ближе всего подходит способ грамматического чередования звуков (по определению А. А. Реформатского — способ внутренней флексии⁵). Можно ли назвать корреляцию долготы звуков чередованием звуков? Нам кажется, что это различные по своей природе явления. Ведь при чередовании звуков какие-то определенные звуки заменяют друг друга, а при изменении долготы основные качественные признаки звука сохраняются; изменяются лишь их количественные показатели. Поэтому вряд ли будет правомерным относить это явление к чередованию звуков. Это не чередование самих звуков, а чередование их долготы. Допустим, что изменение ступеней долготы можно назвать способом «внутренней флексии». Тогда в ряду *māra* «кобыла» — *māra* (генетив слова *määr* «норма, мера, степень») — *māra* (= *määra* — форма паритива) внутренней флексией, образующей генетив, можно было бы считать *ä* долгое, а внутренней флексией паритива — сверхдолгое *ä̃*. Однако для грамматики безразлично, какой именно звук будет фигурировать в роли носителя долготы; этим звуком может быть и гласный, и согласный, и дифтонг. Но зато очень важное значение имеет сама долгота как квантитативный показатель, служащий смысловым различителем — долгота в отвлечении от конкретных звуков. Следовательно, способ долготных комбинаций звуков не тождествен способу внутренней флексии. Поэтому нам кажется, что квантитативные ступени, имеющие в эстонском языке фонологическое значение, следует признать особым самостоятельным грамматическим способом. Очевидно, список грамматических способов нельзя представлять себе в виде замкнутого круга, так как не все языки еще достаточно изучены.

Отметим попутно, что наличие в эстонском языке очень сложной фонологической системы осложняет изучение и определение количества фонем, о чем не случайно до сих пор нет еще достоверных данных.

Если считать звуки различной долготы самостоятельными фонемами (ведь различителями звуковой оболочки слов они являются), то уже одних гласных фонем наберется по крайней мере 27: 9 кратких гласных, 9 долгих и 9 сверхдолгих. Приведем их в роли смысловых различителей:

1. Девять кратких гласных: *takk* «пакля», *tokk* «палка», *tukk* «головешка» или «вихор», *tekk* «одеяло», *tikk* «спичка», *tükk* «кусочек», *täkk* «жеребец»; *kört* «кашица», *kört* — паритив от слова *kõrs* «соломинка».

2. Девять долгих гласных: *kaar* «дуга», *koor* «кора», *kuur* «сарай», *küür* «луч», *käär* «изгиб», *küür* «горб»; *sõn* «полоса», *sõn* «ем», *seen* «гриб».

3. Девять сверхдолгих гласных. В качестве примеров возьмем формы генетива (с долгими гласными) и формы паритива (с сверхдолгими гласными), причем сверхдолгие фонемы обозначим условно тройными буквами, хотя обычно они пишутся двойными:

Номинатив	Генетив	Паритив
<i>vaal</i> «кит»	<i>vaala</i>	<i>vaala</i> (ср. <i>vala</i> «лей»)
<i>kool</i> «школа»	<i>kooli</i>	<i>kooli</i> (ср. <i>koli</i> «хлам»)
<i>kuur</i> «сарай»	<i>kuuri</i>	<i>kuuri</i> (ср. <i>kuri</i> «злой»)
<i>lõõr</i> «дымоход»	<i>lõõri</i>	<i>lõõõri</i>
<i>neer</i> «почка» (анат.)	<i>neeru</i>	<i>neeru</i>
<i>piin</i> «мука»	<i>piina</i>	<i>piina</i>
<i>käär</i> «изгиб»	<i>kääru</i>	<i>kääaru</i> (ср. <i>käru</i> «тачка»)
<i>nõõr</i> «веревка»	<i>nõõri</i>	<i>nõõõri</i>
<i>tüür</i> «штурвал»	<i>tüüri</i>	<i>tüüüri</i> (ср. <i>Türi</i> — город ЭССР)

Итого: $9 \times 3 = 27$ гласных различителей звуковой оболочки слова. В нашу задачу не входило решение вопроса о том, представляют ли собою эти различители самостоятельные фонемы. Приведенных примеров, однако, должно быть достаточно, чтобы признать корреляцию долготы звуков в эстонском языке особым грамматическим способом.

⁵ А. А. Реформатский, указ. соч., стр. 219.

Д. М. НАСИЛОВ

К ВОПРОСУ О ПЕРИФРАСТИЧЕСКИХ ФОРМАХ ГЛАГОЛА
В ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Вопрос о перифрастических формах глагола является одним из сложных и спорных в грамматике тюркских языков, причем рассмотрению описательных форм глагола в отдельных тюркских языках стали уделять специальное внимание только в последние годы.

Перифрастическими принято называть такие глагольные образования, которые состоят обычно из двух компонентов — основы временной формы и вспомогательного глагола *бол-/ол-* «стать, быть» в любой спрягаемой форме¹ и которые служат для уточнения характера проявления и протекания действия. При анализе подобных аналитических форм глагола, как нам кажется, необходимо учитывать: в описательном (перифрастическом) спряжении «заключен оттенок перехода действия в следствие и т. д., смысл сложных временных образований вытекает из значений вспомогательного глагола (обозначающего начало и конец действия)»².

Глагол *бол-* «становиться, делаться, быть» выражает переход из одного состояния в другое, изменение признака, приобретение предметом новых признаков (активных или пассивных), причем эти вновь приобретенные признаки становятся новым качеством предмета, его свойством. По своей семантике *бол-* как бы противопоставлен глаголу *är-* «быть», который передает статику, определенное состояние предмета, стабильность какого-либо признака. В соответствии с этим, если в сложных формах глагола с вспомогательным компонентом *är-* наличествует оттенок статичности, то, естественно, в аналитических формах с *бол-* передается динамика, изменение свойства. Такое различие в семантике можно проследить в сложных конструкциях, которые различаются только вспомогательными глаголами. В этом отношении интересный материал дают древние тюркские языки, где глагол *är-* имел более развитую систему морфологических форм [этот глагол употреблялся не только в формах прошедшего категорического (*ärdi*) и прошедшего повествовательного (*ärmiş*), но также в форме настоящего-будущего времени (*ärür*), в формах желательного и условного наклонений (*ärgäi*, *ärsär*) и в модальных формах (*ärinç*, *ärki*, *ärkän*], чем в современных языках, и где *бол-*, видимо, не замещал по функции *är-*, что имеется теперь в некоторых аналитических временных формах глагола.

В настоящем сообщении рассматриваются зафиксированные в памятниках древнетюркской письменности (преимущественно — в древнеуйгурских) сложные формы глагола, имеющие в качестве вспомогательного компонента глагол *бол-*, в связи с общим вопросом эволюции сложных глагольных форм в тюркских языках. Логически изменение признака или действия может происходить во всех трех временных плоскостях. Это находит свое отражение в морфологической структуре описательных форм глагола. Признавая, что общее временное значение перифрастической формы обуславливается обоими ее структурными компонентами, мы считаем возможным в древних тюркских языках выделить три основные группы перифрастических форм по сочетаемости вспомогательного

¹ См. об этом: П. И. Кузнецов, К вопросу о перифрастических формах турецкого языка, «Краткие сообщения [Ин-та востоковедения АН СССР]», XVIII, М., 1956, стр. 19.

² См. Вл. Гордлевский, Грамматика турецкого языка (Морфология и синтаксис), М., 1928, стр. 97.

глагола *бол-* с основами: 1) настоящего-будущего на *-ур/-ӱр*, 2) прошедшего повествовательного на *-мын/-мин*, 3) будущего на *-тачы/-мәчи*.

1. Первая группа представлена двумя типами описательных форм, которые различались в зависимости от того, выступал ли глагол *бол-* в настоящем-будущем (*болур*) или в прошедшем категорическом (*болды*).

а) Перифрастическая форма тип *-ур/-ӱр болур* выражает в плоскости настоящего времени переход к другому состоянию или действию, которое становится новым качеством предмета³. Например: *Будун барча бузлур болур әлгә йут* (КВ, 68, 27)⁴ «Народ станет гибнуть — несчастье для племенного союза»; *İkäğü ci коркынч лык осар* (чит. *озар*) *болур* (ЗБ, 620, 22) «Двое из них стали спасаться в сильном страхе»; *Амiki төбүрә бычылур болур, азыг micläri ағызынта коңрулун тўсәр болур* (ЗБ, 620, 18—19) «Грудь ее совсем стали вырезаться, коренные зубы во рту ее стали расшатываться и выпадать». На этих примерах видно, что действие, проявляющееся как активный процесс, приводит к становлению нового признака.

Вспомогательный глагол *болур* мог сочетаться и с отрицательной формой причастия на *-ур/-ӱр*. Такая описательная конструкция также выражает в плоскости настоящего времени переход к иному действию или состоянию и становление нового признака, прямо противоположного прежнему. Например: *Кич оглан кораллур болсар, аишкәк төзін башында урзун оранмаз болур* (НУ, XI, 103—104) «Если ребенок станет худеть, то положите на его голову „ослиную соль“, он перестанет худеть» (буквально: «станет не худеющим»); *Көңүл кимнi сәсәй, камугу сәйгә, көрүр көзкә кирәк көрүнмәз болур!* (КВ, 29, 15) «Если сердце кого полюбит, то все будет мило: если [недостатки. — Д. Н.] войдут в поле зрения, то (они) не будут видимы (т. е. станут невидимыми)»⁵.

б) Перифрастическая форма на *-ур/-ӱр болды* выражает переход к новому состоянию или к новому действию в плоскости прошедшего времени. Например: *Mäni ol milädi әң ашну сәбiн, аны мән milär болдум әмдi әбiн* (КВ, 135, 24) «Прежде он просил меня любя, теперь же я спешно стал просить его»; *Mäni ашну ol колды әрдi әзәл, анын мән колур болдым әмдi тўкәл* (КВ, 135, 25) «Сначала он желал меня всегда, теперь же я постоянно стал его желать всецело». В последнем примере интересно соотношение форм сказуемого в первом и во втором предложениях. В первом сказуемом вспомогательный глагол *әрдi* переносит действие в плоскость прошлого и образует форму преждепрошедшего времени (неопределенный имперфект), которое передает только объективную констатацию совершения действия [например: *Көрүр әрдi көзләр бу күн, көк, jәriг* (КВ, 160, 17) «Глаза видели это солнце, небо, землю»]. В перифрастической

³ Семантика данной и последующих конструкций в тюркском языке подробно освещается в работах: М. С. Михайлов, Перифрастические формы и категория вида в тюркском глаголе, М., 1954; П. И. Кузнецов, указ. соч. (М. С. Михайлов в своей работе, кроме того, излагает с достаточной полнотой точки зрения тюркологов на рассматриваемые конструкции.)

⁴ В статье нами приняты следующие сокращения: КВ — W. Radloff, Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass-Hadschib aus Bälasagun, TI. II, St. Petersburg, 1910; ЗБ — отрывки из книги «Золотой блеск», см. С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования, М.—Л., 1951, стр. 145—187; ТТ II — W. Bang und A. v. Gabain, Türkische Turfan-Texte. II, «Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften». Philosoph.-hist. Klasse, XXI—XXII, Berlin, 1929; ТТ V — W. Bang und A. v. Gabain, указ. соч., V, там же, XIII—XIV, 1931; НУ — G. R. Rachmatı, Zur Heilkunde der Uiguren, там же, XXIV, 1930; ТМ I — A. v. Le Coq, Türkische Manichaica aus Chotscho, I, «Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften». Philosoph.-hist. Classe, Berlin, 1911; ТМ II — A. v. Le Coq, указ. соч., II, там же, 1919; ТМ III — A. v. Le Coq, указ. соч., III, там же, 1922; Уиг. III — F. W. K. Müller, Uigurica, III, там же, 1922; Уиг. IV — F. W. K. Müller, указ. соч., IV, там же, 1931. Все примеры даются в упрощенной русской транскрипции. Первая цифра в скобках указывает страницу цит. памятника; при ссылке на страницу комментированного издания памятника перед первой цифрой вставляем стр.; вторая цифра обозначает строку.

⁵ С. Е. Малов, указ. соч., стр. 253.

конструкции *болур болдым* вспомогательный глагол *болдым* выражает переход к новому действию в плоскости прошедшего времени, но это новое действие становится уже обычным и постоянным для субъекта.

Перифрастическая форма на *-маз/-мәз болды* показывает, что с переходом к новому действию в плоскости прошедшего времени связано проявление нового действия, по своей семантике противоположного прежнему; например: *Амты читаны илг бәг көзүмәз болур барды* (Uig. IV, стр. 20, 229) «Теперь правитель Чштана стал совершенно невидимым (т. е. перестал быть видимым)». Здесь перифрастическая конструкция осложнена оттенком полной законченности действия, что достигается присоединением *бар-* к вспомогат. глаголу (*бол-* выступает в виде деепричастия на *-н*).

Семантика перехода к новому действию или состоянию, заложенная в этих перифрастических формах, естественно, дает повод некоторым исследователям усматривать в данных конструкциях выражение начинания или завершения действия (в последнем случае имеется в виду тип *-маз болур*) и говорить в первом случае о начинательном виде, а во втором — о завершительном⁶. На наш взгляд, такие конструкции считать видовыми нельзя. Во-первых, если исходить из общепринятого понимания категории вида (Verbalaspekt) как выражающей отношение действия к его пределу, то оттенки значений, вносимые вспомогательным глаголом *бол-*, никак нельзя признать собственно видовыми⁷. Подобные описательные конструкции, видимо, не связаны непосредственно с категорией вида и выражают скорее способ протекания действия (Aktionsart); то же самое можно сказать о значениях и других перифрастических форм. Во-вторых, не приходится говорить и о том, что перифрастические формы типа *-ур / -маз бол-* выражают начинательный или завершительный вид. Прежде всего эти формы передают значение п р и с т у п а к действию, т. е. обозначают, что с определенного момента, который уточняется временной формой вспомогательного глагола *бол-*, осуществляется переход к новому действию или состоянию. При этом акцентируется именно значение перехода, приступа к новому действию, которое как таковое может и не проявляться; таким образом, значение начинания действия не есть основное для перифрастических форм. В формах же начинательного вида внимание обращается как раз на значение начинания действия.

Далее, нам кажется неправомерным противопоставление форм типа *-ур болур* и типа *-маз болур*. Морфологически они отличаются друг от друга только тем, что во второй перифрастической конструкции смысловой компонент — основа настоящего-будущего времени — стоит в отрицательной форме, в то время как вспомогательный глагол *бол-* в обеих конструкциях стоит в положительной форме и в обеих конструкциях он указывает на переход к другому действию или состоянию⁸. Однако переход от одного действия к новому, естественно, подразумевает завершение первого действия и приступ к другому. Подчеркивая именно приступ к новому действию, некоторые исследователи при анализе описательной формы типа *-ур бол-* считают ее выражающей начинательный вид (ср., однако, *корүңүр болды* «с т а л видимым»; ведь это одновременно мо-

⁶ См. М. С. Михайлов, указ. соч., стр. 66—69.

⁷ Существует, однако, и иное понимание категории вида в тюркских языках как категории, выражающей любую характеристику протекания действия во времени и в пространстве. См. об этом, например: Н. А. Баскаков, Каракалпакский язык, II, ч. 1, М., 1952, стр. 352—386; А. А. Юлдашев, Система словообразования и спряжения глагола в башкирском языке, М., 1958, стр. 72—83; Б. А. Серебряников, Категории времени и вида в финно-угорских языках пермской и волюжской групп. Докт. диссерт., М., 1956.

⁸ Перифрастическая конструкция, в которой вспомогательный глагол стоит в отрицательной форме, показывает, что переход к новому, ранее намечавшемуся, предполагаемому действию не совершился. Конструкции типа *-ур болур*, *-маз болур* и типа *-ур болмаз*, безусловно, отличаются друг от друга оттенками модального характера, но известная ограниченность древнетюркского языкового материала, которым мы располагаем в настоящее время, не позволяет сделать каких-либо обобщений.

жет обозначать «перестал быть невидимым»); при анализе же форм типа *-маз бол-* на первый план эти исследователи выдвигают значение завершения действия и говорят при этом о завершительном виде (ср., однако, *көрүнмәз болды* «перестал быть видимым»; в то же время обозначает и «стал невидимым»). Нам кажется, что эти два типа перифрастических форм не должны анализироваться изолированно друг от друга и в них нельзя усматривать выражение двух различных видов.

2. Вторая группа перифрастических форм типа *-мыш/-миш бол-* передает законченный переход к другому состоянию или действию, причем этот переход является результатом закончившегося действия, его следствием⁹. Обнаруживая в силу своего значения перфективности (включая ее оттенки) известную близость к формам на *-мыш әрді*, перифрастические конструкции рассматриваемого типа подчеркивают, что эта перфективность начинает проявляться только с переходом к другому действию¹⁰. Можно выделить два типа таких форм:

а) Описательная форма типа *-мыш болур* передает переход к иному действию или состоянию в плоскости настоящего времени; но, в отличие от формы *-ур болур*, она показывает также, что этот переход является результатом ранее законченного действия (это обусловлено перфективным значением формы на *-мыш*). Примеры: *Кіші ікі ажуңні білсә кутун, кудатмыш болір бу сөзүмдін бүтүн* (КВ, 12—3) «Если человек познает счастливо два мира, то он от этих моих слов [т. е. слов автора, помогающего читателю познать два мира.— Д. Н.] становится совершенно счастливым»; *Улуғ әдеғү кымынчаар кымыш болур* (ТТ II, стр. 414, 18) «Будут сделаны великие добрые дела (поступки)»; *Барчаны тітмиш ыдаламыш болур мән* (ЗБ, 614, 5—6) «Я окажусь погубившим и отстранпвшим от себя все». В последнем примере интересно сочетание *болур* с двумя причастиями на *-мыш*; такие сочетания синонимичных по значению именных и глагольных форм встречаются в древнетюркских языках очень часто (ср., например: *ачыг асыг* «выгоды и блага», *өтүг бірім* «долги и уплаты», *ірің жарлығ* «бедный и несчастный», *корк-бәліңлә* «бояться и ужасаться»¹¹).

Сложная форма на *-мыш әрүр* имеет чисто перфективное значение (действие совершено в прошлом, но результат его проявляется в настоящем). Например: *Бу азыз кітаб төрт улуғ ағыр ол тәкмә өзә көтүрүлмиш әрүр* (КВ, 3, 20) «Эта почитаемая книга поднята (возвышена) над четырьмя теми великими»: *Ір сүеда туғмыш әрүрбіз* (ТМ I, 41, 2) «Мы родились на земле-воде» [т. е. в земной стихии.— Д. Н.].

б) Перифрастическая форма *-мыш/-миш болды* выражает законченный переход к новому действию или состоянию в плоскости прошедшего времени; этот переход уже полностью закончен к моменту речи. Примеры: *Тархан кәлгінчә сізің іліңізді кымыш болты* (ТТ II, стр. 414, 19—20) «До того времени, пока Тархан пришел, в вашей стране (она) была уже сделана (сооружена)»; *Јәмә аматы төкәл түрлүг ітегін бітілмиш болты* (ТМ I, 25, 5—7) «Теперь это уже написано с большим старанием»: *Сизләр аны үчүн оқытмыш болтуңузлар* (ТМ III, 15, 5) «Вы были уже позваны поэтому (для этого)».

Форма же на *-мыш әрді* выражает давно прошедшее или преждепрошедшее время: *Јана кәја көрдүм, танг бәлгүрмиш әрті* (ТМ III, 23, 8) «Я снова оглянулся; занялась утренняя заря»; *Ол ач барс јәмә әнүклән, јіті күй әртмиш әрті* (ЗБ, 609, 17—18) «Семь дней прошло, как оценилась та голодная тигрица».

К этой же группе перифрастических форм непосредственно примыкают конструкции, представляющие собой сочетания смыслового глагола в форме основы прошедшего повествовательного на *-мыш* и вспомогатель-

⁹ В этом случае можно отметить факты относительной зависимости данных грамматических форм от лексических значений смысловых глаголов.

¹⁰ См. об этом: П. И. Кузнецов, указ. соч., стр. 24—26.

¹¹ См. С. Е. Малов, указ. соч., стр. 353, 408, 383, 414.

ного *бол-* в форме повелительного или желательного наклонений. Эти композиции передают помимо значения перехода к другому действию или состоянию ряд иных модальных оттенков, которые обуславливаются формой вспомогательного глагола. Так, сочетания, где *бол-* выступает в форме повелительного наклонения, выражают настойчивое, до конца доведенное побуждение к совершению действия. Например: *Алты азымларын оңи оңи тартыл оңтүргил улуггын ызыгун тәгүрмиш болзун* (Uig. III, стр. 56,8) «Выврите ему шесть клыков по отдельности, пусть ему будут уже причинены великие страдания» (буквально: «пусть он станет таким, которому будут причинены великие страдания»); *Tüzyñ бузруклар-а! бошуг кымыш болуңлар* (Uig. III, стр. 68, 20) «Мои верные приказные! Будьте свободны (станьте свободны)»; *İciğ ög birмиш болајын* (Uig. III, стр. 60, 10) «Отдам-ка свою жизнь» (буквально: «да пусть я стану отдавшим себя»).

Конструкция, где смысловой глагол *бол-* выступает в форме желательного наклонения, при употреблении ее в сложном предложении с придаточным условным выражает действие, которое могло бы совершиться, если бы было выполнено известное условие; такое значение конструкции вытекает из соотношения форм смыслового и вспомогательного глаголов (прошедшее в будущем, поскольку желательное наклонение включает момент будущего времени): *Biröğ бармасар äziğ söläмиш болајман* (Uig. III, стр. 69,2) «Если бы я не пошел, то я бы сказал неправду».

3. Третью, по своей употребляемости очень незначительную группу описательных форм составляют сочетания смыслового глагола в виде основы будущего времени на *-тачы-тәчи* и вспомогательного глагола *бол-*. Подобные конструкции выражают намерение, желание, долженствование, попытку совершить действие. Эти модальные значения определяются как грамматической формой вспомогательного глагола, так и общим соотношением форм смыслового и вспомогательного глаголов. Рассматриваемые конструкции часто употребляются в сложном предложении с придаточным условным. Примеры: *Тынмығлар әрсәр, адрүк адрүк таң таңсуқ татығлар öзә тотғуртачы болајын* (ТТ V, стр. 338) «Если они живые существа, то я готов насытить (или попытаться насытить) их самыми различными чудесными наслаждениями»; *Номуғ төрүг ағыр туттачы болајалар*¹² «Они должны стать глубоко уважающими закон и учение». В этой группе, а также в названных формах второй группы, значение перехода к новому действию осложняется рядом модальных оттенков. Дальнейшее развитие подобных описательных форм, при котором на первый план, видимо, выдвигались именно модальные значения, привело к выделению конструкций с чисто модальным значением, уже не выражающих перехода к др. действию.

Данные современных тюркских языков, как нам кажется, позволяют предварительно говорить о двух путях развития некоторых перифрастических форм, которым модальные оттенки были присущи. В одних случаях к абсолютному развитию модальных значений приводило затемнение значения перехода (т. е. потеря грамматического значения) в некоторых перифрастических формах (например, турецк. *O bu şehirden gelmiş olmalı* «Он, вероятно, уже приехал из этого города»). В других же случаях, наоборот, развитие уже наличных модальных оттенков вело к исчезновению в перифрастической форме значений перехода к другому действию или состоянию (например, узб. *Мен у қишлоққа борадиган бўлганман* «Решено, что я пойду в тот кишлак»). Безусловно, эти предположения нуждаются в дальнейшем углубленном изучении материалов древних и современных тюркских языков. При этом необходимо также учитывать, что в современных тюркских в отличие от древних языков *бол-* в ряде случаев стал замещать в сложных формах постепенно грамматикализирующийся *är-*¹³.

¹² «Suvarnaprabhāsa» («Сутра Золотого блеска»), изд. В. В. Радлов и С. Е. Малов, III—IV, Пр., 1914, стр. 195.

¹³ В этой связи нам кажутся правильными замечания П. И. Кузнецова (указ. соч., стр. 20 и сл.) относительно нечеткого разграничения М. С. Михайловым употребления глагола *бол-* в его модальном значении и в случае замещения им глагола *är-*.

М. Ш. ШИРАЛИЕВ

ОБ ЭТИМОЛОГИИ ДЕЕПРИЧАСТНОЙ ФОРМЫ НА -ЫБАН, -ИБЭН, -УБАН, -УБЭН

Одной из специфических особенностей азербайджанских диалектов и говоров в отличие от литературного языка является широко распространенное употребление деепричастия на *-ыбан*, *-ибэн*, *-убан*, *-убэн*. Особенно часто эта форма встречается в губинском диалекте и в северных диалектах и говорах азербайджанского языка.

Показатель этой деепричастной формы имеет следующие сингармонические варианты: *-ыбан*, *-ибэн*, *-убан*, *-убэн*, и, кроме того, варпаны, осложненные аффиксом 3-го лица ед. числа *-и*, который в этом составе действием закона сингармонии гласных не подвергается: *-ыбани*, *-ибэни*, *-убани*, *-убэни*. Например: *алыбан*, *алыбани* «взяв, взявши; купив, купивши», *қалибан*, *қалибани* «прядя, цдя». Еще одна разновидность рассматриваемого деепричастия образуется путем присоединения к нему аффикса 3-го лица мн. числа *-лары/-лэри*, начальный *л*- которого подвергается ассимиляции: *-ыбан + -лары > -ыбаннари*, *-ибэн + -лэри > -ибэннэри*; например: *алыбаннари* «купив», *қерубэннэри* «увидев» и т. д. Деепричастия на *-ыбан*, *-ыбани* в современном азербайджанском литературном языке не употребляются, но они были широко распространены в литературном языке, начиная с XI в. и кончая началом XX в., например: *Алыбани ордусуна қатирдилэр* («Деде Коркут», XI в.) «Взяв его, привели в свое войско»; *Дурна учубан һаваја дүшдү* (Хатаи, XVI в.) «Журавль, летая, поднялся в воздух»; *Салланыбан кәклик кими сәкәндә* (Ватиф, XVIII в.) «Когда ты, словно куропатка, плавно семенишь»; *һачы Бәдәли јандырыбан јажмарам* (Сабир, XX в.) «Не причину горькой обиды Гаджи Бедалу».

Этимология деепричастия на *-ыбан* издавна привлекала внимание тюркологов. Первую в тюркологической литературе попытку выяснить происхождение этого деепричастия находим у М. А. Казембека, по мнению которого рассматриваемая форма образовалась путем присоединения к деепричастию на *-уб*, *-иб* форманта *-н*, *-ан*, чем достигается выражение «полного совершения прошедшего времени»¹; о том, что представляет собой формант *-ан*, Казембек не говорит ничего. В. Банг и К. Броккельман считали, что показатель рассматриваемого деепричастия *-ран*, *-рен*, встречающегося в орхонских надписях, образовался из деепричастного аффикса *-р* и инструментального аффикса *-ан*². Ж. Дени склонен видеть в деепричастиях на *-йбан*, *-йбани*, *-йбанн*, встречающихся в старотурецких памятниках, сочетание деепричастия с родительным падежом личного местоимения³. Таким образом, этимология деепричастия на *-ыбан* до настоящего времени оставалась спорной.

При обследовании западных диалектов и говоров азербайджанского языка мы обнаружили деепричастие на *-ыфдан*, *-ифдэн*, *-уфдан*, *-уфдэн* в газакском диалекте. Примеры: *Гызырыфдан јерә кечмерсән*, *һәтә бир*

¹ М. А. Казембек, Грамматика турецко-татарского языка. Казань, 1839, стр. 310.

² См. об этом: А. Сафероглу, *Azeri türkçesinde -uban/-üben eki*, «Jean Deny armağanı», *Mélanges Jean Deny*, Ankara, 1958, стр. 62.

³ J. Deny. Le gérondif de liaison *-(y)üp*, «60. doğum yılı münasebetiyle Fuad Köprülü armağanı», *Mélanges Fuad Köprülü*, İstanbul, 1953, стр. 126.

үзүмдә бахерсан? «Почему ты, краснея, не провалишься сквозь землю, а еще смотришь на меня?»; *Базардан җәлифдән көрдүм күн, җедиҗлар* «Возвращаясь с базара, я увидел, что они ушли».

По нашему мнению, приведенная диалектная форма может послужить отправным пунктом при выяснении этимологии деепричастия на -ыбан. Выделив составные части показателя деепричастия -ыфдан, мы увидим, что -ыф является вариантом показателя деепричастия -ыб, вторая же часть -дан является не чем иным, как аффиксом исходного падежа. Нужно заметить при этом, что в турецком народно-разговорном языке уже отмечалось деепричастие на -(y)arak в форме исходного падежа: -(y)arakтан / -(y)erekten⁴. Известна также значительная роль, которая принадлежит местному и исходному падежам при образовании деепричастных оборотов (от соответствующих причастий) типа, например -анда/-әндә (данышанда «когда говорил», җәләндә «когда шел»), -дыгда/-дикдә (алдыгда «когда купил», билдикдә «когда узнал»), -андан сонра/-әндән сонра (јазандан сонра «после того как написал», вләндән сонра «после того как умер»), -дыгдан сонра/-дикдән сонра (ачдыгдан сонра «после того как открыл», чимдикдән сонра «после того как искупался»). Здесь следует учесть также, что показатель исходного падежа в диалектах имеет еще варианты -нан, -нән⁵, например: аланнан сбра «после того как купил», җедәннән сбра «после того как ушел».

Основываясь на всех приводимых выше фактах, я считаю, что происхождение деепричастия на -ыбан можно объяснить следующим образом: форма, от которой оно производится, — деепричастие на -ыб — получает наращение в виде аффикса исходного падежа -нан. При дальнейшем развитии полученной формы в соответствии с законом регрессивной диссимилиации выпадает начальный *н* падежного аффикса: -ыб + -нан > -ыбан. Таким образом, образуется деепричастие на -ыбан, -ибэн, -убан, -убэн.

⁴ А. Н. К о в о н о в, Грамматика современного турецкого литературного языка, М.—Л., 1956, стр. 477.

⁵ Могут возразить, что аффикс -нан, -нән возможен только при оформлении слов, оканчивающихся на носовые звуки (*м*, *н*), и что при этом имеет место прогрессивная ассимиляция. Однако, как известно, в башкирском языке аффикс исходного падежа -нан, -н присоединяется и к словам, оканчивающимся на гласные; например: даланан «из степи», сәс-нән «от матери» (Н. К. Д м и т р и е в, Грамматика башкирского языка, М.—Л., 1948, стр. 64).

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

З.¹ М. ВОЛОЦКАЯУСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРОИЗВОДНОСТИ
МЕЖДУ СЛОВАМИ

(Опыт применения трансформационного метода)*

Формальное описание языка (в частности, для целей машинного перевода) требует в ряде случаев уточнения некоторых грамматических понятий. В этой связи будет рассмотрен термин «производность». Нас интересует производность только в чисто синхронном плане, т. е. без учета истории и этимологии слов.

Под производными словами (пока не дано строгого определения термина «производность») будем понимать только такие слова, значения которых однозначно и стандартно выводятся из значений морфем, составляющих эти слова. Так, значение слова *превращение* однозначно выводится из значения соответствующей глагольной основы и словообразовательного суффикса. Точно так же выводятся значения слов *движение*, *чтение* и др. Таким образом, соотношение по смыслу между существительными и глаголами, от которых образованы эти существительные, однозначно и стандартно. Достаточно знать значение глагола и значение словообразовательного суффикса, чтобы понять значение производного существительного. Соотношение же по смыслу между словами *уравнять* и *уравнение* не таково, как, например, между словами *вращать* и *вращение*. Из значения глагольного корня *уравн-* и словообразовательного суффикса *-ни-* нельзя непосредственно вывести значение слова в целом, нужны еще некоторые дополнительные сведения.

Практически вопросы, связанные с выделением слов с общим корнем и со стандартным соотношением по смыслу, возникли при составлении словаря для машинного перевода. Оказалось, что слова, значения которых однозначно и стандартно выводятся из значений составляющих их морфем, можно не записывать в словарь, а синтезировать в процессе перевода (и тем самым значительно сократить объем словаря). Однако заключение о том, что данные слова попарно имеют однозначное и стандартное соотношение по смыслу, субъективно и основывается только на интуиции. Необходимо найти объективные критерии для такого рода суждений.

В настоящей статье будет описан формальный способ, с помощью которого можно установить, между какими словами одного корня существует однозначное, стандартное соотношение по смыслу, или (что то же самое) какие слова можно считать связанными отношением производности. Для того чтобы это определить, был использован метод трансформаций. Под трансформацией понимается любое преобразование языкового текста, производимое по заранее заданным правилам¹.

Мы будем говорить о производности лишь применительно к таким парам слов, которые удовлетворяют следующим трем условиям: 1) эти слова

* Считаю своим долгом выразить благодарность Вяч. В. Иванову, П. А. Мельчуку и И. Н. Шелимовой за помощь, оказанную мне в работе над статьей.

¹ См. Т. М. Николеева, Что такое трансформационный анализ, ВЯ, 1960, № 1.

обязательно должны иметь общий корень; 2) они должны принадлежать к различным морфологическим классам (т. е. одно из слов должно быть, например, существительным, а другое — прилагательным); 3) эти слова могут иметь только одинаковые приставки (так, сопоставляются попарно только слова *извлечь* и *извлечение*, *привлечь* и *привлечение*, но не *извлечь* и *привлечение*). Кроме общего корня и общей приставки, эти слова могут иметь еще общий словообразовательный суффикс (как, например, в словах *частотн-ый* и *частотн-ост-ь*). Будем называть слова, удовлетворяющие этим трем условиям, испытываемыми, общую часть двух испытываемых слов — основой, а слова, с которыми испытываемые слова образуют осмысленное словосочетание, — контекстными.

Способ, с помощью которого устанавливается, следует ли считать связанной отношением производности данную пару слов, представляет собой процедуру, состоящую из последовательного выполнения следующих действий: 1) подбираются осмысленные словосочетания поочередно с каждым из испытываемых слов и 2) подобранные словосочетания преобразуются по определенным правилам. Мы будем говорить, что испытываемые слова связаны отношением производности, если все словосочетания, полученные в результате преобразования, являются осмысленными.

Остановимся подробнее на этой процедуре.

1. В качестве исходного словосочетания (т. е. такого, которое будет подвергаться трансформации) может быть взято только словосочетание заданного типа. Тип словосочетания задается в зависимости от двух условий: а) морфологического класса, к которому принадлежит испытываемое слово (т. е. в зависимости от того, является оно существительным, глаголом или прилагательным), и б) морфемного состава испытываемого слова. (На этом этапе деление слова на морфемы является гипотетическим, дальнейший анализ покажет, насколько оно было правильным. Так, например, в слове *кислота* первоначально выделяются три морфемы *кисл-от-а*, когда же выясняется, что слово *кислота* в синхронном плане нельзя считать производным от *кислый*, то разбиение слова на морфемы оказывается иным, а именно — *кислот-а*.)

Если испытываемое слово является существительным (например, *вероятность*), которое состоит из основы прилагательного (*вероятн-*), суффикса, образующего существительное из прилагательного (*-ост-*), и флексии, то для него следует подбирать словосочетания типа: «существительное (испытываемое) + существительное в род. падеже (контекстное)». Словосочетаниями такого типа будут: *вероятность процесса*, *вероятность появления*, *вероятность изменения* и т. п. Если испытываемое слово — прилагательное, то для него следует подбирать словосочетания типа: «прилагательное (испытываемое) + существительное (контекстное)».

Все типы исходных словосочетаний задаются списком. Каждый тип записывается в виде последовательности морфем. При каждой морфеме указываются существенные для нее признаки и, когда это требуется, значения этих признаков. Такая запись удобна для описания трансформаций, поскольку она позволяет представить в явном виде все преобразования, которым подвергаются словосочетания.

Вводятся следующие условные обозначения: *R* (radical) — основа, *T* (transformator) — словообразовательный суффикс, *F* — флексия, *S* — существительное, *A* — прилагательное, *V* — глагол, *Pr* — предлог. При каждой морфеме *R* указывается ее принадлежность к морфологическому классу; так, запись *R_S* означает основу существительного, *R_A* — основу прилагательного и т. д. При морфеме *T* указывается, к основе какого морфологического класса этот суффикс присоединяется и в какой морфологический класс переводит эту основу. Так, запись *T_{A/S}* означает, что данный суффикс образует существительное из прилагательного. Морфема *F* сопровождается указанием, к основам какого морфологического класса данная флексия присоединяется; ей приписываются также суще-

ственные для нее грамматические признаки. Под существенными понимаются такие признаки, значения которых изменяются в процессе трансформаций. Грамматические признаки при каждой флексии записываются в виде дроби: в числителе — название данного признака, а в знаменателе — его значение. Так, запись $F_A \left[\frac{\text{пад.}}{\text{род.}} \right]$ означает флексию прилагательного род. падежа, а $F_S \left[\frac{\text{род} \quad \text{число} \quad \text{пад.}}{\text{муж.} \quad \text{ед.} \quad \text{дат.}} \right]$ — флексию существительного ед. числа муж. рода дат. падежа. Когда признак является существенным, а значение, которое он принимает, несущественно, в знаменателе пишутся буквы x, y, z и т. п.; наличие в знаменателе одинаковых букв у признаков, имеющих одинаковые названия и входящих в описание одного словосочетания, показывает только, что значения этих признаков одинаковы. Так, например, запись $F_A \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right] \dots F_S \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right]$ выражает, что значения признаков рода, числа и падежа у флексий существительного и прилагательного одинаковы, т. е. прилагательное согласовано с существительным. При каждой основе ставится указатель тождества или различия ее с другими основами того же словосочетания. Так, запись $R_A^1 \dots R_A^1$ означает тождество основ, а $R_S^1 \dots R_S^2 \dots R_S^3$ — их различие. Морфемы одного слова отделяются знаком тире (—), разные слова — знаком плюс (+). Примеры заданных типов словосочетаний приведены в таблице 1.

2. Исходные словосочетания преобразуются не произвольно, а согласно заранее заданным правилам. Каждая трансформация представляет собой процесс, включающий совокупность отдельных частных замен, подстановок и т. п. В процессе трансформации можно производить следующие изменения: а) заменять одно испытуемое слово на другое, т. е. вместо слова, состоящего из морфем R^1-T-F , подставлять слово, состоящее из морфем R^1-F , и наоборот; б) изменять грамматическую форму контекстных слов; в) вводить и исключать из словосочетания целые слова, входящие в число заранее заданных списком, каковы все предлоги и предложные сочетания (например, *в, на, для, с, из, без, в виде* и др.), прилагательные *большой* и *малый* (например, в трансформации *длинный предмет* ↔ *предмет большой длины*), глаголы *представлять* и *вызывать* (например, в трансформациях *интересный вопрос* ↔ *вопрос представляет интерес*, *смешной рассказ* ↔ *рассказ вызывает смех*).

Первый тип изменения обозначен при каждой трансформации. Второй и третий типы факультативны. Имеются трансформации, состоящие только из изменений первого типа, например: *управлять процессом* ↔ *управление процессом*. Ряд трансформаций включают изменения первого и второго типов, например: *извлечь корень* ↔ *извлечение корня*. Некоторые трансформации включают изменения первого и третьего типов, например *читальный зал* ↔ *зал для чтения*, *стеклянная колба* ↔ *колба из стекла*.

Трансформации задаются отдельно для каждого типа словосочетания и записываются в следующем виде:

Исходный член трансформации	↔	Результирующий член трансформации
-----------------------------	---	-----------------------------------

Стрелки показывают направление трансформации. Поскольку отношение производности симметрично (если слово a находится в отношении производности со словом b , то и слово b находится в том же отношении со словом a), заданные трансформации являются двунаправленными. Поэтому понятия исходного и результирующего членов относительны, справедливы только для конкретного процесса трансформации: любой исходный член может быть результирующим, а любой результирующий — исходным при обратном направлении трансформации. Будем называть трансформацию слева направо прямой, а справа налево — обратной.

Таблица 1

Морфемный состав испытуемого слова	Морфологический класс	Порядковый номер типа	Тип словосочетания	Примеры
$R_A^1 - F_A$	A	1	$R_A^1 - F_A \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right] + R_S^2 - F_S \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right]$	<i>трудный вопрос, вероятный результат, важное решение, важная проблема</i>
$R_S^1 - F_S$	S	2	$R_S^2 - F_S + R_S^1 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{род.}} \right]$	<i>дом отца, права автора, требования читателя</i>
$R_V^1 - F_V$	V	3	$R_V^1 - F_V + R_S^2 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{вин.}} \right]$	<i>прибавить число, обна- ружить ошибку</i>
		4	$R_A^2 - F_A \left[\frac{\text{форма}}{\text{бр.}} \frac{\text{род}}{\text{ср.}} \right] + R_V^1 - F_V$	<i>быстро вращать, пра- вильно возразить, тща- тельно отбирать</i>
		5	$R_V^1 - F_V + R_S^2 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{твор.}} \right]$	<i>управлять процессом</i>
		6	$R_V^1 - F_V + R_{Pr}^3 + R_S^2 - F_S$	<i>сводить к минимуму</i>
$R_S^1 - T_{S/A} - F_A$	A	7	$R_S^1 - T_{S/A} - F_A \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right] + R_S^2 - F_S \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right]$	<i>стеклянная колба, от- цовский дом, интерес- ный рассказ, смысло- вое различие</i>
$R_V^1 - T_{V/S} - F_S$	S	8	$R_A^2 - F_A \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right] + R_V^1 - T_{V/S} - F_S \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right]$	<i>быстрое движение, важ- ное решение</i>
		9	$R_V^1 - T_{V/S} - F_S + R_S^2 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{род.}} \right]$	<i>вращение диска, решение задачи</i>
$R_A^1 - T_{A/S} - F_S$	S	10	$R_A^1 - T_{A/S} - F_S + R_S^2 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{род.}} \right]$	<i>важность проблемы, не- прерывность процесса</i>

Рассмотрим для примера одну трансформацию:

$$R_V^1 - F_V + R_S^2 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{вин.}} \right] \rightarrow R_V^1 - T_{V/S} - F_S + R_S^2 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{род.}} \right]$$

решить задачу → решение задачи

Произведены следующие изменения: одно испытуемое слово заменено на другое ($R_V^1 - F_V \rightarrow R_V^1 - T_{V/S} - F_S$); изменена грамматическая форма контекстного слова (а именно изменено значение признака падежа у флексии существительного $\frac{\text{пад.}}{\text{вин.}} \rightarrow \frac{\text{пад.}}{\text{род.}}$). Примеры заданных трансформаций см. в табл. 2.

Рассмотрим в общем виде применение процедуры, с помощью которой

Таблица 2

Порядно- вый № трансфор- мации	Исходным и результирующий члены трансформации	Примеры
1	$R_A^1 - F_A \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right] + R_S^2 -$ $- F_S \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right] \longleftrightarrow$	Быстрое движение $\longleftrightarrow$
	$\longleftrightarrow R_A^1 - T_{A/S} - F_S + R_S^2 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{род.}} \right]$	$\longleftrightarrow$ быстрота движе- ния
2	$R_A^1 - F_A \left[\frac{\text{Форма}}{\text{кр.}} \frac{\text{род}}{\text{ср}} \right] + R_V^2 - F_V \longleftrightarrow$	быстро вращать $\longleftrightarrow$
	$\longleftrightarrow R_A^1 - F_A \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right] + R_V^2 - T_{V/S} -$ $- F_S \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right]$	$\longleftrightarrow$ быстрое вращение
3	$R_V^1 - F_V + R_S^2 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{вин.}} \right] \longleftrightarrow$	прибавить число $\longleftrightarrow$
	$\longleftrightarrow R_V^1 - T_{V/S} - F_S + R_S^2 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{род}} \right]$	$\longleftrightarrow$ прибавление числа
4	$R_V^1 - F_V + R_S^2 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{твор.}} \right] \longleftrightarrow$	управлять процессом $\longleftrightarrow$
	$\longleftrightarrow R_V^1 - T_{V/S} - F_S + R_S^2 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{твор.}} \right]$	$\longleftrightarrow$ управление процес- сом
5	$R_V^1 - F_V + R_{Pr}^3 + R_S^2 - F_S \longleftrightarrow$	возвести в степень $\longleftrightarrow$
	$\longleftrightarrow R_V^1 - T_{V/S} - F_S + R_{Pr}^3 + R_S^2 - F_S$	$\longleftrightarrow$ возведение в степень
6	$R_S^1 - T_{S/A} - F_A \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right] + R_S^2 -$ $- F_S \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right] \longleftrightarrow$	авторские права $\longleftrightarrow$
	$\longleftrightarrow R_S^2 - F_S + R_S^1 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{род}} \right]$	$\longleftrightarrow$ права автора
7	$R_S^1 - T_{S/A} - F_A \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right] + R_S^2 -$ $- F_S \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад.}}{z} \right] \longleftrightarrow$	металлический предмет $\longleftrightarrow$
	$\longleftrightarrow R_S^2 - F_S + из + R_S^1 - F_S \left[\frac{\text{пад.}}{\text{род}} \right]$	$\longleftrightarrow$ предмет из метал- ла

определяется, следует ли некоторые два слова считать связанными отношением производности. Пусть требуется установить, находятся ли в отношении производности слова *a* и *b*, если известно, что слово *a* состоит из основы и флексии (в частном случае флексия может быть нулевой), а слово *b* — из той же основы, словообразовательного суффикса (который тоже может быть нулевым, как, например, в словах *бегать* и *бег*) и

Таблица 2 (продолжение)

Порядко- вый № трансфор- мации	Исходный и результирующий члены трансформации	П р и м е р ы
8	$R_S^1 - T_{S/A} - F_A \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад}}{z} \right] + R_S^2 -$ $- F_S \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад}}{z} \right] \longleftrightarrow$	смысловое различие $\longleftrightarrow$
	$\longleftrightarrow R_S^2 - F_S + e + R_S^1 - F_S \left[\frac{\text{пад}}{\text{предл}} \right]$	$\longleftrightarrow$ различие в смысле
9	$R_S^1 - T_{S/A} - F_A \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад}}{z} \right] + R_S^2 -$ $- F_S \left[\frac{\text{род}}{x} \frac{\text{число}}{y} \frac{\text{пад}}{z} \right] \longleftrightarrow$	длинный предмет $\longleftrightarrow$
	$\longleftrightarrow R_S^2 - F_S + \text{большой} + R_S^1 - F_S \left[\frac{\text{пад}}{\text{род}} \right]$	$\longleftrightarrow$ предмет большой длины

флексии, причем слова *a* и *b* принадлежат к различным морфологическим классам. Подбираем возможно большее количество осмысленных словосочетаний заданного типа (см. табл. 1) с одним из испытуемых слов. Поскольку заданные трансформации являются двунаправленными, безразлично, будут ли сначала подбираться словосочетания со словом *a* или со словом *b*. Если в табл. 1 для испытуемого слова задан только один тип словосочетания, то подбираются различные конкретные словосочетания этого типа, а если задано несколько типов, то достаточно подобрать различные словосочетания хотя бы одного типа. Ко всем подобранным словосочетаниям применяется одна из заданных для данного типа трансформаций (см. табл. 2).

При этом имеем следующие три возможных случая: а) нельзя подобрать ни одного такого осмысленного словосочетания, которое после преобразования становилось бы неосмысленным; б) можно подобрать как такие словосочетания, которые в результате преобразования сохраняют осмысленность, так и такие, которые в результате преобразования ее утрачивают; в) нельзя подобрать ни одного осмысленного словосочетания, которое после преобразования оставалось бы осмысленным. Когда имеет место первый случай, нужно повторить всю процедуру сначала, подбирая словосочетания со вторым испытуемым словом; если также нельзя найти ни одного словосочетания, которое после преобразования становилось бы неосмысленным, то можно считать, что слова *a* и *b* связаны отношением производности. Второй случай свидетельствует, что слова *a* и *b* связаны отношением производности не при всех своих значениях, а лишь при тех, которые эти слова имеют в словосочетаниях, сохраняющих осмысленность после преобразований. В третьем случае следует проверить, задана ли для данного типа словосочетания еще другая трансформация, кроме уже примененной. Если нет, то слова *a* и *b* нельзя считать связанными отношением производности. Если же такая трансформация задана, то нужно все словосочетания преобразовать по правилам этой второй трансформации. Если опять получились неосмысленные словосочетания, то следует перебирать поочередно все заданные для данного типа трансформации, пока хотя бы часть из преобразованных словосочетаний не

будет осмыслена (т. е. получится первый или второй случай), либо не будут исчерпаны все трансформации. Не получив ни одного осмысленного словосочетания, делаем вывод, что слова *a* и *b* не связаны между собою отношением производности.

Теперь, наконец, мы можем сформулировать наше понимание термина «производность»; иначе говоря — определить, какие слова следует считать связанными отношением производности.

Два слова с общей основой следует считать связанными отношением производности при всех значениях этих слов только в том случае, если ни с одним, ни с другим испытуемым словом нельзя подобрать ни одного осмысленного словосочетания заданного типа, которое становилось бы неосмысленным после применения к нему заданной трансформации.

Два слова с общей основой можно считать связанными отношением производности частично (т. е. не при всех значениях этих слов) только в том случае, если некоторые из подобранных осмысленных словосочетаний заданного типа сохраняют осмысленность после применения к ним заданной трансформации, а некоторые из подобранных словосочетаний становятся неосмысленными.

Два слова с общей основой нельзя считать связанными отношением производности только в том случае, если нельзя подобрать ни одного осмысленного словосочетания заданного типа, которое сохраняло бы осмысленность после применения заданной (или заданных) трансформации.

В заключение приведем несколько конкретных примеров установления отношения производности методом трансформаций.

1. Для того чтобы установить, связаны ли отношением производности слова *сложный* и *сложность*, подбираем сначала все осмысленные словосочетания с одним из испытуемых слов, например со словом *сложный*. Такие словосочетания должны быть построены по образцу одного из заданных структурных типов (см. табл. 1)². Таковы, например, словосочетания *сложный вопрос*, *сложная задача*, *сложное доказательство*. К этим словосочетаниям применима прямая трансформация № 1 (см. табл. 2)³. Преобразуем словосочетания по правилам этой трансформации, т. е., во-первых, подставляем вместо одного испытуемого слова — *сложный* — другое — *сложность*; во-вторых, существительное, согласованное с прилагательным, ставим в форме род. падежа после слова *сложность*. Все словосочетания, полученные в результате этого преобразования, а именно: *сложность вопроса*, *сложность задачи*, *сложность доказательства* — осмысленны. После этого подбираем осмысленные словосочетания со вторым испытуемым словом (*сложность*). После применения к ним обратной трансформации № 1 осмысленность не нарушается. Отсюда заключаем, что слова *сложный* и *сложность* можно считать связанными отношением производности.

2. Требуется установить, связаны ли отношением производности слова *уравнять* и *уравнение*. Подбираем все осмысленные словосочетания со словом *уравнение*, например: *квадратное уравнение*, *дифференциальное уравнение*, *интегральное уравнение*, и применяем к ним обратную трансформацию № 2. Полученные в результате словосочетания *квадратно уравнять*, *дифференциально уравнять* и *интегрально уравнять*, будучи грамматически правильно построенными, не являются осмысленными. Кроме трансформации № 2, для этого типа словосочетания не задана никакая другая трансформация. Приходим к заключению, что слова *уравнять* и *уравнение* нельзя считать связанными соотношением производности.

² В дальнейшем для краткости мы вместо «осмысленное словосочетание заданного типа» будем говорить «осмысленное словосочетание» или просто «словосочетание». а вместо «трансформация, заданная для данного типа словосочетания» — просто «трансформация».

³ В дальнейшем мы не будем повторять ссылок на таблицы. Оговорим заранее: когда речь идет о типах словосочетаний, нужно обращаться к табл. 1, а когда о трансформациях, то следует иметь в виду табл. 2.

3. Требуется установить, связаны ли отношением производности слова *предложить* и *предложение*. Берем осмысленные словосочетания со словом *предложить*, в результате их преобразования получаем также осмысленные словосочетания. Далее подбираем словосочетания со словом *предложение*: *целесообразное предложение*, *своевременное предложение*, *нужное предложение*, *сложносочиненное предложение*, *придаточное предложение* и т. п. К этим словосочетаниям применима обратная трансформация № 2; в результате преобразования получаются как осмысленные словосочетания (*целесообразное предложить*, *своевременно предложить* и *нужно предложить*), так и неосмысленные (таковы: *сложносочиненно предложить* и *придаточно предложить*). На основании проведенного анализа заключаем, что при одних своих значениях слово *предложение* связано отношением производности со словом *предложить*, а при других не связано.

4. Требуется установить, связаны ли отношением производности слова *стеклянный* и *стекло*. Подбираем словосочетания со словом *стеклянный*, например: *стеклянная колба*, *стеклянный графин*, *стеклянное изделие* и др. Преобразуем их по правилам трансформации № 6, получаем неосмысленные словосочетания *колба стекла*, *графин стекла*, *изделие стекла*. Кроме трансформации № 6, для этого типа словосочетаний задана еще трансформация № 7. Преобразуя словосочетания по правилам этой трансформации, получаем осмысленные словосочетания, а именно: *колба из стекла*, *графин из стекла*, *изделие из стекла* и др. На этом основании заключаем, что слова *стекло* и *стеклянный* можно считать связанными отношением производности.

5. Пользуясь этим методом, можно установить, что из слов *пух*, *пушиной* и *пуховый* слова *пух* и *пуховый* связаны отношением производности (поскольку словосочетания типа *пуховое одеяло* дают в результате применения трансформации № 7 осмысленные словосочетания), а слова *пух* и *пушиной* не связаны этим отношением (поскольку словосочетания *пушиной промысел* и *пушиной зверь* дают в результате применения трансформаций №№ 6 и 7 неосмысленные словосочетания). Аналогичным образом можно установить, что из слов *масса*, *массовый* и *массивный* слова *масса* и *массивный* связаны отношением производности, а слова *масса* и *массовый* не связаны; или из слов *гроза*, *грозовой* и *грозный* — слова *гроза* и *грозовой* связаны отношением производности, а слова *гроза* и *грозный* не связаны.



Таким образом, предлагаемое в настоящей статье понимание термина «производность» является более узким по сравнению с принятым в лингвистике, однако такое сужение оправдано задачами практического характера (в частности, составлением словарей при машинном переводе).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

«Studii și cercetări lingvistice», I—X.—București, 1950—1959 (Academia Republicii Populare Române. Institutul de lingvistică).

Журнал «Studii și cercetări lingvistice» («Лингвистические очерки и исследования») является органом Бухарестского института языкознания Академии наук Румынской Народной Республики и издается с 1950 г. (с 1957 г. — четырьмя выпусками в год; до этого выходили ежегодно по два полтума, то один том). Журнал предназначен для языковедов: на его страницах обсужаются вопросы фонетики, лексикологии, грамматики и словообразования румынского языка, вопросы общего языкознания, литературного языка, румынско-славянских лингвистических связей и др. В настоящем обзоре будут рассмотрены наиболее важные работы, помещенные в журнале за время его существования.

В области фонетики наибольший интерес представляют работы, посвященные фонологической системе румынского языка; они принадлежат главным образом перу академиков Э. Петровича и А. Росетти — представителям двух противоположных, взаимноисключающих взглядов на фонологическую систему румынского языка. Основываясь на результатах исследований акад. Э. Петровича, установившего экспериментальным путем, что конечное румынское *i* представляет собой не обозначение определенного звука, а является лишь указателем мягкости предшествующего согласного¹, академики А. Росетти и А. Граур в свое время пришли к выводу, что противопоставление твердых и мягких согласных в румынском языке существует только в конце слова, где в определенных случаях смягчение конечного согласного имеет смыслообразительное значение. В дальнейшем, однако, акад. Э. Петрович выдвинул положение о наличии в румынском языке в любой позиции в слове мягких (1950, fasc. 2) и лабиализованных согласных (1952, t. III, статья «Взаимоотношение тембров округленных и неокругленных согласных в румынском языке»), что привело его к отрицанию

наличия в румынском языке в качестве самостоятельных фонем дифтонгов *ia* (графически изображенного через *ia*, *ea*), *iu* (графически изображенного через *iu*) и *io* (графически изображенного через *eo*, *io*), а также дифтонга *oa* и трифтонга *eo(aioa)*; он считает, что в первом случае имеется налицо «мягкий согласный + *a* (*y*, *o*)», во втором случае соответственно «лабиовеляризованный согласный + *a*» и «лабиопалатализованный согласный + *a*». В тех же случаях, когда так называемые дифтонги *ia*, *iu*, *io*, *oa* стоят в начале слова или слога, то первым их элементом следует считать согласный звук, соответственно *j* и *w*.

В ответной статье «Несколько вопросов фонетики румынского языка» (1954, t. V, № 3—4) А. Росетти, возражая против выдвинутых Э. Петровичем положений, указывает, что наличие мягких согласных внутри слова характерно лишь для отдельных говоров, но не для румынского общенародного литературного языка; оппонируя утверждение Э. Петровича о наличии конечных лабиовеляризованных согласных, А. Росетти считает, что в действительности в результате взрывного произношения конечных согласных в некоторых говорах в конце слова возникают краткие гласные *u*, *e*, *i*, причем явление это представляется, сравнительно новым в языке.

На страницах журнала за 1955 и 1957 гг. помещены результаты проводившихся в 1954—1956 гг. исследований дифтонгов *ea* и *oa* группой сотрудников Лаборатории экспериментальной фонетики Института языкознания АН РНР под руководством А. Росетти; исследования проводились сначала на материале электрографической записи, а затем на материале фонограмм, что позволило применить метод пересадки звуков; пересадка подтвердила полученные ранее данные на материале электрографических записей: первым элементом дифтонгов *ea* и *oa* являются соответственно гласные *e* и *o*; это самостоятельные краткие гласные звуки, которые при пересадке в другое слово воспринимаются как обычные *e* и *o*.

Э. Петрович в статье «К вопросу о фонемах румынского языка» (1955,

¹ E. Petrovici, Le pseudo-*i* final du roumain, «Bulletin linguistique», II, București — Paris, 1934, стр. 86—97.

t. VI, № 1—2) утверждает, что дифтонги румынского языка в действительности представляют собой дифтонгоидные гласные, являющиеся позиционными вариантами соответствующих недифтонгоидных гласных; фонематическое же различие существует между твердыми и мягкими согласными.

В статьях, опубликованных в 1956 г., спорящие стороны как бы подводят итоги своих исследований. Э. Петрович в статье «Система фонем румынского языка» (1956, t. VII, № 1—2) приходит к выводу, что в системе фонем румынского литературного языка имеются четыре класса согласных фонем («нейтральные», палатализованные, лабиовеляризованные и лабиопалатализованные), только пять гласных фонем (*a, o, u, ä/e, i/i*) и вовсе нет дифтонгов; звуки *e* и *i* являются позиционными вариантами фонем *ä* и *i* после палатализованных согласных; однако они проявляют стремление к превращению в самостоятельные фонемы в связи с тенденцией общенародного литературного языка к произношению твердых согласных перед *i* и *e*, а в начале слов — под влиянием западных романских языков, из которых заимствовано румынским языком немало слов с начальными *e* и *i*. Автор считает, что описанная им система фонем румынского языка оформилась под влиянием славянских говоров территории к северу и к югу от нижнего течения Дуная, в результате чего образовалась система фонем, отличная и от других романских языков и от славянских языков.

Возражая Э. Петровичу, А. Росетти в статье «О фонологической системе румынского языка» (1956, t. VII, № 1—2) отклоняет тезис о существовании в румынском языке корреляций «твердый согласный — мягкий согласный» и «лабиализованный согласный — нелабиализованный согласный» и оспаривает обоснованность установленной Э. Петровичем системы гласных фонем; он отмечает, что чередования звуков *ä/e* и *i/i* не засвидетельствованы в румынском языке. Затем автор доказывает необоснованность положения о том, что в румынском языке отсутствуют дифтонги, так как в древних румынских текстах, использующих кириллицу, дифтонг *ea*, например, передается буквой *ѣ*, обозначающей определенный гласный звук, а не качеством предшествующего согласного. К тому же, наличие дифтонга *ea* в ударном слоге обусловлено качеством гласного последующего слога. Так, в текстах XVI в. встречается противопоставление *ea — e*: ед. число *leăe* «закоп» — мн. число *legi*. Автор приходит к выводу, что в румынском языке существует определенная закономерность во влиянии качества гласного последующего слога на гласный предшествующего слога. Что касается системы гласных фонем румынского языка, то она состоит из семи гласных без количественных различий: *a, o, u, î, i, ä, e*, полугласных *î, u, e* и из ряда дифтонгов, в том числе *ea* и *oa*; система согласных состоит

из 20 фонем, из которых 15 имеют палатализованный вариант в конце слова.

Рассмотрению системы фонем румынского языка посвящена также статья венгерского ученого Т. Тамаша «К вопросу о системе фонем румынского языка» (1956, t. VII, № 2—4), который присоединяется к выводам А. Росетти и А. Граура.

Полемика между Э. Петровичем и А. Росетти продолжалась на страницах журнала и в 1957 г. Однако следует отметить, что некоторым фонетистами уже с 1956 г. высказывались соображения, ставящие под сомнение исходное положение спора — общепринятое положение о наличии в румынском языке конечных мягких согласных. А. Аврам в статьях «К вопросу об изучении фонологии румынского языка» (1956, t. VII, № 3—4), «Образование соотносительности согласных палатального тембра в румынском языке» (1957, t. VIII, № 1) и «Румынские полугласные в фонологическом отношении» (1958, t. IX, № 1) и Э. Васьлиу «О соотносительности в смещении согласных в румынском языке» (1957, t. VIII, № 1), исходя из положения А. Мартине о том, что два следующих друг за другом звука являются наверняка различными фонемами лишь в том случае, если при замене каждого из них другим звуком (включая ноль) получается другое слово², приходят к выводу, что в румынском языке не существует, вопреки общепринятому мнению, противопоставления твердых и палатализованных согласных в конце слова: конечные палатализованные в действительности представляют собой сочетание твердого согласного + полугласный *î*, являющийся некой разновидностью *j*. Таким образом, вопрос о фонологической системе румынского языка остается нерешенным, причем ждет решения целый ряд спорных вопросов.

Вопросам фонологии посвящены также статьи А. Росетти «О фонетике и фонологии в свете диалектического материализма» (1954, t. V, № 1—2), «К вопросу о фонеме» (1956, № 3—4) и «О значении славянской буквы *ѣ* в наиболее древних румынских текстах» (1959, t. X, № 1), Э. Васьлиу «Фонологические чередования с точки зрения управления» (1955, t. VI, № 1—2) и «Еще раз о фонологических чередованиях в румынском языке» (1956, t. VII, № 1—2) и др.

Статья В. Шутеу и Г. Абалашей «Новые способы исследования в области экспериментальной фонетики» (1959, t. X, № 3) посвящена описанию и изложению принципа работы двух аппаратов для изучения звуков языка — фильмографа и фильмофона, задуemannых и сконструированных в лаборатории экспериментальной фонетики Бухарестского института языкознания. Фильмограф превращает звуковые вибрации в световые

² А. Martinet, Un ou deux phonèmes?, «Acta linguistica», vol. I, fasc. 1, 1939.

раздражители, отмечающиеся на киноплёнке, а фильмофон служит для прослушивания, выделения и исследования звуковых вибраций, зарегистрированных фильмографом.

Н. Штефан в статье «Новая часть речи в русской и румынской грамматике — категория состояния» (1955, т. VI, № 1—2), охарактеризовав категорию состояния на основе русской лингвистической литературы и, в частности, работ акад. В. В. Виноградова, делает впервые попытку выделить ее в системе частей речи румынского языка.

И. Котяну в статье «К вопросу о месте артикля в румынском языке» (1956, т. VII, № 1—2) выдвигает гипотезу, что возникновению постпозитивного артикля в румынском языке способствовало сохранение в нем, в отличие от западнороманских языков, формы косвенного падежа: постпозитивный артикль возник в группе «существительное + существительное (в родительном или дательном падеже)», где окончание родительного падежа притянуло к себе артикль наподобие того, как в западнороманских языках притянул его к себе заменивший это окончание предлог.

Вопросу о среднем роде существительных посвящены статьи Г. Ивэнеску «Судьба среднего рода классического латинского языка в народной латыни и в романских языках» (1957, т. VIII, № 3), А. Росетти «Средний род в румынском языке» (1950, fasc. 2) и «О среднем и личном роде в румынском языке» (1957, т. VIII, № 4) и чешского ученого В. Хожеши «Проблема так называемых существительных „среднего“ рода в румынском языке в связи с другими индоевропейскими языками» (1957, т. VIII, № 4). Г. Ивэнеску защищает положение, что средний род является в румынском языке живой категорией, и соглашается с ранее высказанной А. Грауром мыслью, что в румынском языке существует стремление превращать мужской род в средний, когда речь идет о предметах неодушевленных. Однако в отличие от А. Граура, автор считает, что это стремление существовало и в народной латыни, главным образом в апеннинско-балканской, где ему способствовало исчезновение конечных *-s* и *-m*, что привело к созданию единого окончания *-i* для существительных мужского и среднего рода. Соглашаясь с Мейер-Любе, автор рассматривает румынский средний род как продолжение среднего рода народной латыни, в которой при существительных среднего рода во множественном числе стал употребляться артикль женского рода (например, *le corna*). Исчезновение среднего рода в западнороманских языках автор объясняет не исчезновением понятия неодушевленности, а тем, что фонетическая эволюция этих языков привела к исчезновению морфем, представляющих собой окончания среднего рода (например, *-ora*).

А. Росетти отмечает, что характерной чертой среднего рода является по-

нятие неодушевленности; в румынском языке нет слов среднего рода, обозначающих одушевленные предметы (за исключением нескольких заимствований, относящихся к XIX в.). Румынский средний род не соответствует ни по форме, ни по смыслу латинскому среднему роду: он образовался в результате переформирования языкового материала румынского языка в период его балканской общности с болгарскими, македонскими и албанскими говорами. Личный род в румынском языке образуется внутри рода, обозначающего одушевленные предметы: он относится к именам лиц и одиетворенным животным, и отмечается особыми морфемами. Автор считает, что существование личного рода в старославянском, русском и польском языках также объясняется наличием в них среднего рода; причиной различия между одушевленным и неодушевленным, а внутри одушевленного — между людьми и животными, по его мнению, является стремление языка к конкретности.

В. Хожеши возражает против общепринятого в румынском языкознании положения о наличии в румынском языке трех родов: мужского, женского и среднего (существительные среднего рода в единственном числе имеют форму мужского рода, во множественном числе форму женского рода); автор считает, что в румынском языке существует лишь два рода — мужской и женский: латинские существительные среднего рода, за исключением исключений, перешли в в группу мужского рода и лишь на более позднем этапе развития языка часть существительных мужского рода по определенным смысловым признакам (в первую очередь неодушевленности) во множественном числе получила форму женского рода, образовав группу существительных «обоюдного рода»; автор отмечает, что подобные явления наблюдаются в албанском, чешском и тохарском языках.

Статья шведского ученого А. Ломбарда «Морфология румынского глагола» (1957, т. VIII, № 1) представляет собой попытку систематизации спряжения румынского языка; автор устанавливает следующие основные приметы румынского глагола: а) система окончаний, представленная окончанием инфинитива; б) отсутствие или наличие суффиксов *-ez* или *-esc* в настоящем времени; в) чередование гласных и согласных внутри корня; г) ударение внутри корня (окситонное или парокситонное).

С. Стати в статье «К вопросу об определении и классификации предложений» (1955, т. VI, № 3—4) определяет предложение как самую мелкую грамматическую единицу, объединенную известным образом с другими элементами сложного предложения, которая при помощи лексических средств и форм сказуемости выражает субъективную или объективную реальность. Автор предлагает проводить классификацию предложений по следующим критериям: а) отношение (предложения простые, сложные и подчинен-

ные); б) качество (предложения утвердительные и отрицательные); в) модальность (предложения желательные, условные, повествовательные и повелительные); г) интонация (предложения повествовательные, вопросительные и восклицательные). В статье «Управляющий элемент в подчинительной связи» (1955, т. VII, № 3) С. Стати отходит от утвердившегося в румынской грамматике взгляда на предложения, определяющие имена прилагательные, как на дополнительные, считая их определительными, и выдвигает положение, что придаточное предложение зависит не от главного предложения в целом, а от определенного члена главного предложения.

В статье И. Ф и ш е р а «Некоторые вопросы словообразования в румынском языке» (1954, т. V, № 3—4) рассматриваются наиболее актуальные задачи в области изучения румынского словообразования и выявляются наиболее целесообразные методы исследования в этой области. Отмечая органическую неспособность румынского языка к образованию сложных слов, количество которых в нем, как и в остальных романских языках, крайне незначительно по сравнению с такими языками, как русский и немецкий, автор указывает на возникающие трудности в области создания научной и философской терминологии. Рассматривая префиксацию как средство словообразования, автор отмечает, что румынский язык располагает большим количеством живых словообразовательных префиксов, чем западные романские языки, что объясняется заимствованиями из славянского; при рассмотрении словообразовательных суффиксов автор высказывается за их классификацию по функциональному признаку.

В статье «Роль глагольных оборотов в словообразовании» (1956, т. VII, № 1—2) Ф. Д и м и т р е с к у устанавливает три способа образования новых слов (существительных, прилагательных, глаголов) от глагольных оборотов, состоящих из глагола и существительного (с предлогом или без него) или наречия: а) изменение грамматического значения; б) суффиксальное образование; в) словосложение. Наиболее продуктивным является первый способ.

В статье «К вопросу об изучении основного словарного фонда румынского языка» (1954, т. V, № 1—2) Д. М а к р я ставит задачу установить, в какой мере различные влияния, которым подвергался в процессе своего исторического развития румынский народ, сказались на словарном составе румынского языка. Автор использует для этой цели статистический метод: словари румынского языка А. Чихака и И. А. Кандря показывают, что в румынском языке слова, унаследованные из латинского языка, составляют около 20% словарного состава языка; по данным словаря Кандря, слова славянского происхождения составляют в румынском языке почти 17%, а заимство-

ванные из французского — почти 30% словарного состава; однако, если для слов, унаследованных из латинского языка, соотношение производных слов к производным составляет 1:3, то для славянских слов соотношение это — 1:2, а от слов, заимствованных из французского, на румынской почве вообще не образуется производных слов; заслуживает быть отмеченным тот факт, что в словах, общих с албанским языком (около 250), соотношение равно 1:4; это позволяет автору прийти к выводу, что указанные слова унаследованы румынским языком из фракийско-дакийского. Д. Макря подводит итог: главным элементом основного словарного фонда румынского языка является латинский элемент; вторым по значению — славянский элемент; слова же французского происхождения бытуют почти исключительно в словарном составе

Вопросам грамматики, словообразования и лексикологии посвящены также статьи Э. В а с и л и у «Замечания об именной флексии в румынском языке» (1953, т. IV), П. К р е ц я «Согласование времен» (1954, т. V, № 3—4), Ф. Д и м и т р е с к у «К вопросу о безличном и видовом характере глагольных оборотов» (1957, т. VIII, № 2), Ж. Б и к а «Научная техническая терминология в румынском языке XVIII в.» (1954, т. V, № 1—2), П. П а н а и т е с к у «Следы феодального строя в словарном составе румынского языка» (1958, т. IX, № 2), М. П о п е с к у «Продуктивные и непродуктивные суффиксы» (1958, т. IX, № 2), А. Г р а у р а «Гласный корня в сопоставлении с гласным глагольного суффикса в румынском языке» (1958, т. IX, № 3), М. А в р а м а «Морфологические средства лексической дифференциации в румынском языке» (1958, т. IX, № 3), В. А р в и н т е «Окончание множественного числа *-ăi* некоторых существительных среднего рода» (1959, т. X, № 2), Е. К а р а б у л я «Определительно-обстоятельственные придаточные предложения» (1959, т. X, № 3), П. Р и з е с к у «Обстоятельство меры и соответствующее придаточное предложение» (1959, т. X, № 3), А. А в р а м а «О причинах исчезновения определенного артикля — конечного *l*» (1959, т. X, № 3) и др.

Ряд статей посвящен вопросам диалектологии [Г. И с т р а т е «О значении диалектических исследований» (1956, т. VII, № 1—2); В. К а з а к у «О процессе дифференциации в говоре села Меря области Хунедоара» (1956, т. VII, № 3—4) и др.] и этимологическим разысканиям [Э. П е т р о в ч «Славянские притяжательные прилагательные на *-j-* в топонимике ПНР» (1953, т. IV), «Этимология топонимов *Doftana, Doftenia, Doftinet, Dofti-nița* и слова *dohot*» (1954, т. V, № 1—2); Г. М п х а п л а «Вопросы составления этимологического словаря славянских заимствований в румынском языке» (1958, т. IX, № 2); Т. Х р и с т я «Народные этимологии» (1958, т. IX, № 4) и др.].

Славяно-румынским языковым свя-

зиям посвящены статьи чешского ученого П. Бенеша «Латинско-славянское скрещивание в форме румынского инфинитива» (1956, т. VII, № 3—4), В. Арвинте «Случай славяно-румынского двуязычия» (1958, т. IX, № 1) и В. Ващенко «Восточнославянские элементы в румынском языке (Периодизация лексических заимствований)» (1959, т. X, № 3). П. П. Бенеш выдвигает гипотезу о том, что сокращение формы румынского инфинитива, потерявшего латинское окончание *-re*, произошло под славянским влиянием в период славяно-румынского двуязычия VI—XII вв. По мнению автора, процесс скрещивания начался первоначально в глаголах славянского происхождения типа *platiti*, *vestiti*, в которых вследствие галогонии исчезло окончание *-ti*; это явление по аналогии распространилось на все глаголы четвертого спряжения славянского происхождения, затем — сначала на румынские глаголы четвертого спряжения, а позже — и на глаголы других спряжений, так как в сознании говорящих славянское *-ti* было равнозначно латинскому *-re*. Суффикс же *-re* широко употребляется в языке для образования отглагольных существительных от глаголов как латинского, так и славянского происхождения. В. Арвинте, рассматривая результаты длительного двуязычия у русского «липованского» населения села Думаска Ясского района, отмечает, что в результате продолжающегося свыше двух веков двуязычия в язык липован проник ряд фонетических особенностей румынского языка, главным образом молдавских говоров, и большое количество румынских слов, относящихся в первую очередь к сельскому хозяйству; однако слова эти претерпели определенные изменения, подчиняясь внутренним законам развития русского языка (например, аканье).

В. Ващенко отмечает, что восточнославянское влияние на румынский язык сказалось преимущественно в области лексики, и, основываясь на ряде соображений лингвистического и историческо-этнографического порядка (анализ данных исторической фонетики восточнославянских и румынского языков, данные из области ономастики, семантико-исторический критерий, словообразовательная продуктивность заимствованных слов и т. п.), предлагает установить три периода в процессе лексических заимствований румынским языком из восточнославянских: древний период (XI—XVII вв.), новый период (XVIII в. — первая половина XIX в.) и новейший период (после Октябрьской революции). Древними заимствованиями, проникшими в румынский язык устным путем в результате длительного совместного проживания румын и славян на территории между Карпатами и Днестром, автор считает в первую очередь многочисленные слова, служащие для наименования предметов материальной культуры (*coromislă* < укр. *коромисло*, русск. *коромысло*; *covor* < укр. и русск. *ковер*; *boroană* < укр.

и русск. *борона* и мн. др.). К заимствованиям нового периода относится главным образом проникающая из русского языка в румынский общественно-политическая и административная терминология в связи с политическим, военным и хозяйственным переустройством Дунайских княжеств под влиянием России (*cinovnic*, *caznacei*, *ceasovoi*, *pojarnic*, *comandirovac*, *dopros*, *na-bor* и др.); через посредство русского языка проникают в румынский язык также и интернациональные термины, многие из которых сохранились в языке до нашего времени (*administratie*, *artilerie*, *comisie*, *divizie*, *ofiter*, *pensie*, *secție* и др.). К новейшему периоду относятся заимствования из русского языка советской эпохи, причем большая их часть проникла в румынский язык после перехода страны на рельсы социалистического строительства; это слова, служащие для наименования понятий, появившихся в условиях нового общественного строя (*marxism-leninism*, *colhoz*, *sovhoz*, *hozrasciot*, *partinic* и т. п.), а также интернациональные термины, главным образом из области техники (*agregat*, *combinat*, *freză* и т. п.).

Ряд статей посвящен вопросам общего языкознания. В статье В. Хожеша «Содержание морфологии и ее место в грамматике» (1956, т. VII, № 3—4), опубликованной в дискуссионном порядке, подвергается пересмотру традиционный взгляд на морфологию и на классификацию грамматических категорий и частей речи с точки зрения структурного подхода к языку. Автор предлагает чисто морфологические критерии для различения и классификации форм: 1) разница в структуре и разнообразие возможных комбинаций форм между собой, 2) согласование, 3) возможность замещения. Рассматривая в свете этих критериев именные и глагольные морфологические категории, автор устанавливает наличие категорий падежа, класса (категории рода и числа по традиционной классификации), согласования подлежащего со сказуемым (категории лица и числа традиционной классификации) и глагольной формы (категории времени, наклонения и залога традиционной классификации). Слова языка делятся на имена, глаголы, прилагательные и неизменяемые слова; артикль рассматривается не как самостоятельное слово, а как суффикс имени. Т. Казак в статье «Наблюдения и экспериментальные исследования по вопросу «контаминации» (1956, т. VII, № 3—4) общим термином «контаминация» обозначает явления взаимодействия слов между собой, в результате чего слова изменяют свою форму или же свое значение, в первую очередь явления, известные под названиями аналогии и народной этимологии. Автор приходит к выводу, что все виды взаимодействия между словами являются различными аспектами одного и того же процесса, причем явления эти — результат определенного «интерпретационного процесса»; главной причиной «контаминации» является неудовлетворительное знание языка, в частности

звукового состава и точного значения отдельных слов, как взрослыми, не владеющими литературным языком, так и детьми.

И. Котяну в статье «К вопросу об изучении артикля» (1958, т. IX, № 1) считает артикль средством экспрессивного подчеркивания имени, о чем свидетельствуют факты древнегреческого, армянского, старофранцузского, исландского, шведского и датского языков. Однако во многих языках в связи с упрощением системы склонения артикль довольно быстро утратил свое экспрессивное значение, получив взамен грамматические функции, отчего употребление артикля становится систематическим.

Проблемам общего языкознания и математической лингвистики посвящены также статьи А. Граура «К вопросу об изучении взаимосвязей между формой и содержанием слов» (1953 IV, т.) и «Символические группы в румынском фонетизме» (1959, т. X, № 2), Т. Казаку «Принцип уточнения значения слова через контекст» (1954, т. V, № 1—2) и «Аспекты речевого стиля детей» (1957, т. VIII, № 3), А. Ионашкю «Морфема и морфологическая структура слова» (1957, т. VIII, № 2), Б. Казаку «О реакции говорящего на лингвистические явления» (1957, т. VIII, № 4), С. Стойкова (Болгария) «О спонтанных фонетических изменениях в языке» (1957, т. VIII, № 4). С. Стати «Синтагма и синтаксическая система языка» (1957, т. VIII, № 4) и «Латинское причастие на -to-» (1959, т. X, № 2), Э. Николау «Клбернетика и лингвистика» (1958, т. IX, № 4), Э. Вассилиу «Смыслоразличительные и „наполняющие“ признаки в морфематическом плане» (1959, т. X, № 1) и «Язык, речь, стратификация» (1959, т. X, № 3), П. Котяну «Объективная реальность основного словарного фонда» (1958, т. IX, № 3), И. Фишера «Еще раз об основном словарном фонде» (1958, т. IX, № 3), Э. Николау, К. Сала и А. Рочерик «Некоторые замечания об энтропии румынского языка» (1959, т. X, № 1), В. Шутеу «Замечания по поводу частоты употребления слов в произведениях некоторых румынских писателей» (1959, т. X, № 3) и др.

Большой интерес для романистов и для исследователей балканских языков представляют исследования И. Шнадбей. И. И. Руссу, А. Росетти, В. Казаку, С. Стати, Х. Михэску, П. Пордана, А. Никулеску и К. Погирк, помещенные на страницах журнала за 1957, 1958 и 1959 гг. И. Шнадбей в статье «Лексические ареалы в восточной Романии» (1957, т. VIII, № 1), отмечая, что на территории «восточной Романии» существовало несколько лексических ареалов (южнорумынский, северорумынский и др.), приходит к следующим выводам: а) в «восточнолатинском» языке существовало языковое единство при наличии, однако, многочисленных фонетических и лексических разновидностей; б) с начала V в. н. э. это единство распалось, и территория, на

которой развивался албанский язык, стала ориентироваться на запад; в) до оседания албанцев на берегах Адриатического моря область распространения албанского языка занимала промежуточное место между ареалами даматинского и румынского языков; г) можно считать доказанным постоянное пребывание албанцев, македоно-румын и меглено-румын на территории к югу от Дуная; д) дакорумыны же являются коренным населением той территории, на которой они проживают в настоящее время.

В статье того же автора «К вопросу о восточной латыни» (1957, т. VIII, № 4; 1958, т. IX, № 1; 1958, т. IX, № 2) исследуется фонетическая система, грамматический строй и словарный состав восточной латыни; автор приходит к выводу, что в фонетической системе «восточнолатинского» имелось шесть тонических гласных (i, e, ε, a, o, u) и пять неударных (i, ε, a, o, u), два полугласных (в дифтонгах *ai*: *yă*, *ya*, *yū*), простые согласные *p*, *t*, *c*: *b*, *d*, *g*; *f*, *v*: *s*, *z*; *l*, *r*; *m*, *n*; двойные согласные *ll*, *nn*, *mm*, *rr*; аффрикаты *ts* (и *tsʰ*). В последующий «дорумынский» период произошло «закрытие» гласных *a*, *e*, *o* перед носовыми и изменение зубных и свистящей *s* перед *i*, *y* — явления, неизвестные латинским элементам албанского языка, что может служить для датировки языковых фактов «дорумынского» периода; в результате утраты конечных согласных и перехода безударных *i* и *y* в *e* и *o* большая часть падежных и личных окончаний совпала, и в целях возмещения утрат «восточнолатинский» пополнился новообразованиями по аналогии: лучше сохранилось в восточной латыни склонение местоимений. От латыни западных провинций Империи «восточнолатинский» отличался рядом черт, представлявших собой либо сохранение более древних грамматических форм, либо самостоятельные новообразования. Эволюция звуков и грамматических форм превратила народную латынь «восточной Романии» в разговорный язык с немногочисленными, но четко отличающимися друг от друга по поэтому легкими для использования формами. Социальные преобразования городской жизни привели к упрощению словарного состава, ограничившегося областью пастушеской и земледельческой жизни: одновременно в «восточнолатинский» вошел ряд заимствований, в первую очередь из греческого языка, что объясняется двуязычием большинства жителей, и из туземных языков романализированных народностей, также в результате их двуязычия. Единство «восточнолатинского» языка на территории между Балканами, Дриной и Карпатами до проникновения славян в долину Дуная указывает на существование единого типа цивилизации на этой территории в указанный период.

И. И. Руссу в статье «Иллирийские этюды» (1957, т. VIII, № 1) подвергает критике «паниллиризм», отмечая допущенные ошибки при изучении иллирий-

ской антропонимасии, главным образом в «Лексиконе» Г. Крае³, где из приведенных 860 имен 500 оказываются неиллирийскими (главным образом кельтскими и италийскими). В статье того же автора «Фракийские этимологии» (1957, т. VIII, № 2) подвергаются критике некоторые ошибочные этимологии, главным образом Томашека⁴, и предлагаются этимологические объяснения (с корнем и аналогиями в других индоевропейских языках) для ряда фракийских имен собственных. В конце статьи дается список индоевропейских корней (основ), наличествующих в указанных фракийских племенах.

А. Росетти в статье «К вопросу о балканском „языковом союзе“» (1958, т. IX, № 3) приходит к выводу, что сходные черты, общие элементы и направление дальнейшего развития «балканских» языков определяются тремя факторами: существованием у двух из них (румынского и албанского) общего субстрата (фракийского), совместной жизнью балканских народов, их сходным в прошлом общественным и экономическим укладом и, наконец, влиянием византийской цивилизации на Балканском полуострове и в дунайских румынских княжествах.

Статья Б. Казаку «Об одном спорном лингвистическом вопросе. Язык или диалект?» (1959, т. X, № 1) посвящена вопросу классификации романских наречий территории к югу от Дуная. Автор отмечает, что лингвистический критерий (генеалогическое родство) представляет собой лишь исходную точку классификации на языки и диалекты: решающая же роль принадлежит факторам нелингвистическим (историческим, социальным, политическим и культурным); большое значение приобретает (особенно в период образования наций) «осознание» говорящими своей принадлежности к тому или иному языковому коллективу.

Х. Михэеску в статье «Некоторые замечания о латинском языке придунайских провинций Римской империи» (1959, т. X, № 1) в результате изучения языка надписей и других латинских текстов придунайских провинций приходит к выводу, что в них, как правило, отражены языковые особенности, общие для всей империи, и поэтому их значение для изучения «восточнолатинского» языка оказывается весьма ограниченным. Объясняется это тем, что письменные источники имеют, как правило, книжный городской характер и не отражают языка основной массы населения, занятой земледелием и скотоводством.

С. Стати в статье «Некоторые вопросы истории румынского склонения» (1959, т. X, № 1) рассматривает вопрос происхождения окончания *-i* в им. падеже мн. числа существительных 3-го склонения и окончаний *-e* (1-е склонение) и

-i (3-е склонение) в дат. падеже ед. числа существительных женского рода. Автор приходит к выводу, что окончание им. падежа мн. числа *-i* не восходит к латинскому окончанию *-es*, а отражает в румынском (а также и в итальянском) языке факты народной латыни. Большая стабильность этого окончания в румынском языке, чем в итальянском, объясняется славянским влиянием. Окончания дат. падежа ед. числа существительных женского рода 1-го и 3-го склонения также не восходят к соответствующим латинским окончаниям. Автор считает, что в истории румынского языка существовал период, когда существительные женского рода не изменялись по падежам, а грамматические значения выражались при помощи служебных слов; существующие окончания косвенных падежей существительных женского рода представляют собой новообразования, возникшие, по всей вероятности, в результате славянского влияния.

П. Йордан в статье «Параллельные явления в синтаксисе романских языков» (1959, т. X, № 2) отмечает односторонность традиционного взгляда, приписывающего элементы, общие для всех членов данной языковой семьи, языку-основе и рассматривающего факты, характерные лишь для одного или нескольких языков той или иной семьи в качестве «заимствований» из генеалогически неродственного языка, с которым данные языки находились в контакте на определенном этапе своего исторического развития. Автор выдвигает положение, что подобные факты в ряде случаев представляют собой новшества, самостоятельно возникшие в каждом из родственных языков, в результате наличия в них объективных совершенно тождественных ситуаций. В качестве иллюстрации этого тезиса П. Йордан рассматривает синтаксические построения плеонастического характера, общие для отдельных групп романских языков: повторение именного подлежащего посредством личного местоимения (во французском и румынском языках) и повторение прямых и косвенных дополнений посредством кратких безударных форм личных местоимений (главным образом в румынском и испанском языках); при этом подчеркивается ярко выраженная стилистическая окраска первого из приведенных построений. Что касается второго из упомянутых явлений, то оно встречается также в кельтских и балканских нероманских языках. Автор приходит к выводу, что рассмотренные им синтаксические построения развились независимо в различных романских языках, без какой-либо прямой связи с латинским языком, являясь результатом «сильного фонетического ослабления», характерного как для романских языков, так и для других языков, в которых наблюдаются подобные построения.

Статья А. Никулеску «О прямом дополнении с предлогом в романских языках» (1959, т. X, № 2) посвящена рассмотрению причин появления прямого

³ H. K r a h e, Lexikon altillyrischer Personennamen, Heidelberg, 1929.

⁴ W. T o m a s c h e k, Die alten Thraker, Wien, 1893, 1894.

дополнения с предлогом в отдельных романских языках и его смысловых отличий от соответствующего дополнения без предлога. В результате изучения этого явления в ряде романских языков и диалектов автор приходит к выводу, что функцией конструкции с предлогом является не только различение субъекта и объекта, когда этот последний является наименованием одушевленного предмета, но не в меньшей мере выражение определенного, индивидуального характера объекта; наличие предлога обязательно перед собственными именами, а также перед нарицательными, когда они служат для именования определенного лица, и перед личными местоимениями, которые по своей природе всегда служат для указания на определенный предмет (лицо); однако в тех случаях, когда нарицательное существительное, служащее для наименования лица, не содержит указания на конкретное, определенное лицо, для выражения прямого дополнения употребляется конструкция без предлога. Причиной тесной связи между появлением предлога и личным и определенным (индивидуализированным) характером прямого дополнения автор считает синтаксические условия, в которых появилась эта конструкция: предлог был необходим для различения прямого дополнения и подлежащего переходного глагола в том случае, когда оба они имели членную форму, так как в связном изложении, за исключением начального предложения, по самым различным причинам обычный порядок слов мог быть нарушен, а это привело бы к смешению прямого дополнения и подлежащего; другим синтаксическим приемом для предотвращения подобного смешения явилось повторение прямого дополнения посредством плеонастического безударного местоимения. Высказанные соображения приводят автора к отрицанию наличия в романских языках различия между одушевленным и неодушевленным, личным и безличным; «род лица» в романских языках представляет собой, по мнению автора, лишь особый случай чувствительности этих языков к индивидуализации понятий, входящих в синтаксические отношения; поэтому его было бы целесообразнее назвать «индивидуальным родом».

Статья К. Погирк «О лексике древнемакедонского языка» (1959, t. X, № 3) посвящена вопросу о месте древнемакедонского языка в генеалогической классификации индоевропейских языков. Учитывая почти полное отсутствие данных о грамматическом строе и фонетических особенностях древнемакедонского языка, а также то обстоятельство, что засвидетельствованные древними источниками македонские слова (около 80) представляют собой случайные примеры, автор полагает,

что статистический метод, показывающий, что большинство засвидетельствованных македонских слов — греческого происхождения, в данном случае не может служить убедительным аргументом для решения вопроса о генеалогических связях древнемакедонского языка. К. Погирк считает, что для правильного решения рассматриваемого вопроса необходимо установить важность слов различных происхождений в совокупности лексики древнемакедонского языка. Анализ с этой точки зрения засвидетельствованных древнемакедонских слов, по мнению автора, показывает, что слова греческого происхождения служат для обозначения жизненно важных понятий, тогда как слова негреческого или неизвестного происхождения в подавляющем большинстве случаев относятся к периферийным слоям лексики; это ему позволяет сделать вывод, что ядро македонской лексики составляют слова, тождественные по происхождению с соответствующими греческими словами, причем значение этих слов и их специфически македонский фонетический облик в большинстве случаев исключают возможность заимствования из греческого, являясь доказательством весьма близкого генетического родства обоих языков; многочисленные лексические (а также отдельные фонетические и морфологические) изоглоссы, связывающие македонский язык с самыми различными, зачастую весьма отдаленными от него территориально греческими диалектами служат подтверждением этого родства. В качестве дополнительного аргумента автор указывает на высказывания многих древнегреческих писателей о близости македонского языка к греческому.

Ряд статей посвящен изучению языка М. Эминеску (Т. Вигану, 1954, t. V, № 1—2), И. Некулче (И. Нордан, 1954, t. V, № 3—4), М. Садовяну (Г. Истрате, 1955, t. VI, № 3—4), рассмотрению взглядов писателей С. Эминеску (Г. Булгар, 1954, t. V, № 3—4) и Б. Делавранча (А. Никулеску, 1955, t. VI, № 1—2) на язык и стиль, обсуждению понятия литературного языка (И. Нордан, 1954, t. V, № 1—2) и об орфоэпических нормах румынского языка (Б. Казаку, 1957, t. VIII, № 3). Интересна статья Г. Ивэнеску о взглядах Л. П. Якубинского на общеславянский и древнерусский языки (1957, t. VIII, № 2). На страницах журнала широко обсуждались материалы «Словаря современного румынского литературного языка» в процессе его подготовки к печати. В № 3 журнала за 1959 г. помещены статьи академиков А. Граура, А. Росетти и Э. Петровича, посвященные развитию румынского языкознания за пятнадцатилетие со дня освобождения от фашистского ига (1944—1959 гг.).

В. В. Каракулаков

РЕЦЕНЗИИ

И. О. Дзензелевский. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР (Лексика). Ч. I. — Ужгород, 1958, 18 стр. + 120 + 2 карты («Наук. зап. [Ужгородськ. держ. ун-ту]», т. XXXIV).

Выход в свет нового лингвистического атласа всегда является событием в языкознании. Тем более ценно появление атласа, посвященного одной из самых интересных в диалектологическом отношении областей восточнославянской и вообще славянской территории — украинскому Закарпаты. Специфичность этой области объясняется ее определенной географической изолированностью от остальной восточнославянской территории (откуда вероятность сохранения ряда архаизмов) и ее расположением на древнем пограничье трех основных групп славянских языков (откуда вероятность сохранения старых переходных явлений).

Рецензируемая часть «Атласа» представляет лишь половину его первого тома, посвященного рассмотрению лексики. Однако уже она позволяет оценить значительность работы, проделанной И. А. Дзензелевским, известным украинским диалектологом и историком языка¹: в книге представлено 120 лексических карт, материал для которых был собран в 212 пунктах Закарпатской области.

Следует особенно отметить объем диалектологической литературы, использованной при составлении «Атласа»: в библиографическом списке, не включающем ряда привлеченных для работы фольклорных записей, насчитывается более 250 названий². В большом количестве были ис-

пользованы автором записи³ и исследования, опубликованные в местных изданиях, сосредоточенные почти исключительно в книгохранилищах Закарпатья и поэтому малодоступные. Такая подробная библиография отражает стремление, все настойчивее проявляющееся в среде советских диалектологов, — стремление сделать лингвистический атлас не только отчетом о работе, проделанной на местности, но и универсальным диалектологическим справочником в руках исследователя языка.

Во многом используя лучшие достижения румынской (работы Э. Петровича и его учеников⁴) и польской (работы К. Нича и его учеников⁵) школ лингвистической географии, рецензируемый «Атлас» тем не менее самостоятелен по методике и, если можно так выразиться, уникален среди славянских атласов своей направленностью в сторону изучения лексики. В то же время, охватывая довольно значительную по территории славянскую область, он представляет гораздо более обширный материал, нежели, например, лексические карты атласа К. Дейны⁶, являющиеся лишь своего рода дополнением

³ К сожалению, в комментариях не указывается номер населенного пункта в тех случаях, когда иллюстративные примеры взяты из печатных источников (см. комментарии к картам №№ 1—4, 6—8, 14, 15, 22, 32, 37, 81 и др.). А это важно знать, поскольку возможны расхождения между печатными источниками и материалами «Атласа». Ср., например, карту № 1, где в н. п. 75 отмечено слово *йар'* «весна», а в комментарии приведена поговорица со словом *весна*, при этом сам автор находит нужным специально отметить, что в обычной речи для выражения понятия весны в этом говоре употребляется слово *йар'*.

⁴ Ср., например, «Atlasul lingvistic român», Seria nouă, vol. I—II, București, 1956.

⁵ Ср., «Mały atlas gwar polskich». t. I, Wrocław — Kraków, 1957.

⁶ К. Dejna. Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski. 2 tt., Łódź, 1951—1953.

¹ Ср., например, его работы: «Лексика українських говорів Закарпатської області» («Наук. зап. [Ужгородськ. держ. ун-ту]», т. XXVI, вип. 2, 1957); «Термінологія, пов'язана з ткацьким станком у говірках Закарпатської області» («Доповіді та повідомлення [Ужгородськ. держ. ун-ту]», Серія історико-філологічна, № 1, 1957) и др.

² Пропуски незначительны. Можно отметить, например, отсутствие в списке этнографических работ Фальковского (J. Falkowski, Północno-wschodnie pogranicze Huculszczyzny, Lwów, 1938; его же, Zachodnie pogranicze Huculszczyzny, Lwów, 1937; ср. также J. Falkowski, B. Pasznycki. Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Lwów, 1935).

к лексико-фонетическим картам⁷, или карты атласа Я. Сятковского⁸, имеющие в основном узкоспециальный характер и не могущие отразить древних процессов. Разнообразие лексических пластов, охваченных «Атласом», дает возможность использовать его материал для характеристики самых различных по своей хронологии явлений.

Сводные карты, заключающие 1-ю часть «Атласа», представляют в какой-то степени выводы автора о диалектном членении Закарпатя на основании данных лексики. Полностью подтверждается закономерность отделения гуцульских говоров от остальных закарпатских (в пограничной полосе между ними проходит более 40 лексических изоглосс — ср. сводные карты №№ 1 и 11, а также №№ 2 и 3) и связь их с находящимися северо-восточнее говорами Покутья⁹. Возможно, образование резко очерченной группы гуцульских говоров является результатом вторичного движения восточных славян за Карпаты [ср. наличие в них ряда общеукраинских (юго-восточно-славянских) новообразований: *богато* «много» (карта № 118), *хата* (№ 15), *скрипки* (№ 98)]. Вместе с тем «Атлас» дает указания на связи гуцульских говоров с соседними говорами Закарпатя и на сохранение в них ряда древних восточнославянских элементов [например, *віно* «приданое» (№ 32), *гід* «год» (№ 110) и др.], что служит убедительным опровержением всплывающим время от времени теориям о происхождении гуцулов от поздних переселенцев с запада, юга или востока¹⁰.

Менее резкой является граница между говорами карпатских верховин и долин (сводная карта № 8). Что же касается пучков изоглосс, идущих в основном с юго-запада на северо-восток (по течению р. Латорицы, старым границам административных единиц и т. д. — ср. сводные карты

№№ 4, 5, 6), то они создаются главным образом сферами распространения заимствований различной давности и едва ли могут служить основанием для выделения обособленных диалектных зон.

Анализ многочисленных карт, отражающих распространение заимствований, дает зато значительный материал для характеристики взаимоотношения украинских говоров с их западными соседями — польскими, словацкими, венгерскими и румынскими говорами. Здесь, кроме названий реалий, отличных от местных реалий [например, *грапа* «борона» < рум. *grară*, ср. *борона* (№ 84)], выделяются заимствования, связанные с влиянием иноязычного государственного аппарата [например, *азур* «тысяча» < венг. *ezer*, ср. *міль'ача* (№ 115)]. Особенно интересно проследить распространение заимствований из западнославянских языков, где представлены часто не только иные слова [например, *бобра* «губа» < польск. *warga*, ср. *губа* (№ 40)], но и морфологические [например, *лишка* «лишца» < словацк. *liška* или польск. *liszka*, ср. *лисий'а* (№ 9)] и фонетические варианты одних и тех же по происхождению слов [например, *пец* «печь» < словацк. *pec* или польск. *piec*, ср. *піч* (№ 24); *мідло* «мыло» < польск. *mydło*, ср. *мйло* (№ 102)]. Здесь представляется важным определить сферы польских и словацких заимствований в северо-западном Закарпатье.

Если сравнительно недавно данные географии слов почти полностью игнорировались историками языка и считалось, что наличие (отсутствие) определенных лексем в языке не позволяет делать каких-либо далеко идущих выводов, то теперь положение изменилось. В настоящее время проявляется стремление увидеть в лексических различиях диалектное членение, зачастую более давнее, чем членение, устанавливаемое исследованием фонетики и морфологии¹¹. Фонетические и морфологические системы именно в силу их системного характера стремятся к быстрому и широкому распространению, в то время как лексические инновации почти никогда не могут полностью охватить все многообразие словаря. Материалы рецензируемого «Атласа» во многом подтверждают это положение, давая ключ к интерпретации ряда чрезвычайно древних явлений.

Периферийные и изолированные географически закарпатские говоры не были затронуты многими поздневосточнославянскими (частично украинскими) лексическими инновациями. На этот процесс указывают карты сфер распространения архаизмов *кліт'* «клеть» (№ 21, ср. *ко́бра*), *віно* «приданое» (№ 32, ср. *по́саг*), *сва́д'ба* (№ 31, ср. *весілля*), *перст*¹²

⁷ Что, впрочем, оправдывается целью этого атласа — установкой языковую границу на небольшой (обследован 51 пункт) территории переходных говоров.

⁸ J. Siatkowski, Słownictwo Warmii i Mazur, Wrocław, 1958.

⁹ Ср. Б. Кобильянский. Гуцульский говор и его відношення до говору Покуття, «Український діалектологічний збірник», кн. 1, Київ, 1928.

¹⁰ Ср., с одной стороны, работы Янова, считавшего гуцулов сперва романизованной, а позднее украинизованной ляхской группой (J. Janów, Uwagi o gwarach huculskich, śladach ich stosunków z polszczyzną oraz o pierwotnej ludności Ziemi Czerwieńskiej; «Sprawozdania t-wa naukowego we Lwowie», t. 8, 1929, стр. 51—59; его же, Pochodzenie Huculów w świetle zaróżyczeń, там же, t. 18, 1938, стр. 26—27), с другой стороны, недавнюю гипотезу этнографа Зеленина (Д. К. Зеленин, Про кїївське походження карпатських українців — гуцулів, «Українська етнографія», т. IV, Київ, 1958), видящего в гуцулах потомков киевских ремесленников.

¹¹ Ср., например, попытку Ф. Маурера использовать лексические изоглоссы для обоснования нового членения германских диалектов (F. Maier, Nordgermanen und Alemannen. 3. Aufl., Bern — München, 1952).

¹² Интересно сохранение этого слова па

(№ 37, ср. *pálecъ*), *gid* «год» (№ 140, ср. *pík*), *йимити* «поймать» (№ 113, ср. *зл-йтти*), *много* (№ 118, ср. *богáто*), *тjн'о* «дешево» (№ 119, ср. *дешевео*) и т. д. Повидимому, сохранение таких архаизмов свидетельствует о достаточно ранней колонизации закарпатских областей предками восточных славян. «Атлас», таким образом, может помочь в решении этого спорного вопроса, столь различно трактованного разными исследователями¹³, а также дать дополнительный материал для освещения ряда коренных проблем формирования украинского языка.

Впервые получивши лингво-географическое основание факты так называемых закарпатско-южнославянских связей, на которые в свое время обратил внимание В. Погорелов¹⁴. Уже в рецензируемом томе «Атласа» можно отметить значительное число слов, имеющих закарпатско-южнославянский ареал [*вѣрмя* «солнечная погода» (№ 2), *мáчка* «кошка» (№ 8), *хйжа* «крестьянский дом» (№ 15), *оболок* «окно» (№ 22), *кúча* «свинарник» (№ 29), *пáвити* «спешить» (№ 112), *игрáти* «танцевать» (№ 114), *копáчка* «мотыга» (№ 83), *нйчелáничи* «часть ткацкого стана» (№ 106)¹⁵]. Совокупное рассмотрение изгlossen такого рода не только может дать многое для решения вопроса о генезисе закарпатских украинских говоров, но и способно пролить свет на проблему переселения южных славян за Карпаты.

Таким образом, значение рецензируемого «Атласа» далеко выходит за рамки проблематики диалектной области, с которой он имеет дело непосредственно. Его материал будет полезен как для составителей большого украинского атласа, так и для коллективов, занятых подготовкой общеславянского атласа, который, по господствующему мнению, должен будет иметь преимущественно лексический характер. В частности, в вопросник общеславянского атласа могут быть, вероятно, включены вопросы атласа закарпатских говоров, отражающие праславянские диалектные противопоставления типа другой, северной, окраине восточнославянской области, ср. сев.-русск. *перѣс*, *nĕрес* (M. V a s m e r, Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. 2, Heidelberg, 1953, стр. 344).

¹³ Ср., например, сводку мнений в книге: *І. П а н ь к е в и ч*, Українські говори Підкарпатської Русі і сумежних областей, Прага, 1938, стр. 14 и сл.

¹⁴ В. Погорелов, Болгаризмы в карпаторусских говорах, «Spisy Filozofskej fakulty Slovenskej university v Bratislave», t. 29, 1940. Ряд отрицательных оценок этой статьи (М. Фасмера, И. Панькевича, в последнее время Л. А. Булаховского) опроверг лишь часть доводов автора, но не его основной тезис.

¹⁵ Ср., например, болг. *врѣме* «погода», серб. *мáчка* «кошка», болг. *хйжа* «хижина», венг. *ablak* «окно», южно-слав. **kotja* «дом», болг. *пáзя* «храню, берегу», болг. *игрáя* «танцую», болг. *копáчка* «мотыга», болг. *нйчелáки* «часть ткацкого стана».

**дъньсь* — **нынѣ* (№ 116), **vesna* — **jarъ* (№ 1), **pъrstъ* — **palъсь* (№ 37), **ъdati* — **čekati*, **čakati* (№ 114).

Переходя к вопросам, касающимся чисто практического выполнения карт «Атласа», надо прежде всего остановиться на следующем. При лингвистическом картографировании одно из важнейших условий, которое необходимо строго соблюдать, заключается в четком разграничении противопоставленных и непротивопоставленных различительных элементов. В частности, при картографировании лексического материала — названий предметов, понятий — надо всегда иметь в виду, что названия можно противопоставлять лишь тогда, когда известно полное семантическое тождество этих названий. Из этого положения исходит и П. А. Дзедзевский (см. предисловие, стр. 8). Большинство его карт с этой точки зрения верны. Однако в некоторых случаях можно обнаружить отход от указанного принципа, причем делается это автором вполне сознательно. Он пишет, что в тех случаях, когда имеется 2 или 3 видовых названия и «особенно когда одно из них хотя иногда может выступать как родовое», карту составлять можно, «во всяком случае в региональном атласе» (стр. 8). С этим положением согласиться нельзя. Несомненно, что ошибки не будет тогда, когда одно из видовых названий, противопоставляемых на карте названиям родовым, может, хотя бы и иногда, выступать в говоре как название родовое. В противном случае, т. е. когда видовое название выступает только как таковое, противопоставлять его как различительный элемент родовому названию в принципе будет неправильно. При этом совершенно неважно, имеется ли в данном говоре при отсутствии общего (родового) названия всего лишь два или три видовых названия или же их больше. Их может быть столько, сколько разновидностей (этнографических) данного предмета известно носителям говора. Но все эти названия не могут противопоставляться ни друг другу, ни общему названию данного предмета (или понятию), несмотря на функциональную близость или даже функциональное тождество обозначаемых ими предметов. И это, разумеется, относится не только к общенародным атласам, но и к региональным.

В связи с этим автора «Атласа» можно упрекнуть в том, что он значительное внимание уделяет лексике, связанной с такими предметами, которые обнаруживают этнографические различия. Таковы вопросы о названиях жилища, предметов домашней утвари, хозяйственных построек, сельскохозяйственных орудий, одежды и некоторые другие¹⁶. Весьма

¹⁶ Этот недостаток в большей или меньшей мере характерен и для других атласов. Ср., например, «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» (М., 1957), об указанном недостатке которого и сами составители пишут во «Вступительных статьях» (стр. 64 и сл.).

характерна в этом отношении карта № 57 (название женского фартука). На этой карте как противопоставленные картографируются и названия фартука вообще (независимо от его кроя и материала), и названия разновидностей фартука, связанных с различиями в крое фартука и его материала. В комментариях, правда, все эти различия отмечены. Однако комментарий может только предостеречь читателя от неправильного чтения составленной карты. Подобное замечание можно сделать и в отношении карт №№ 21, 22, 56, 58—60, 67, 94, особенно карты 81 и др. На этих картах изоглоссы получаются, и они бесспорно представляют значительный лингвистический интерес. Но это скорее изоглоссы, которые показывают распространение названий, обозначающих функционально близкие или функционально тождественные предметы с этнографическими различиями, а не изоглоссы строго противопоставленных лексических явлений. Поэтому при картографировании лексических явлений основное внимание должно быть уделено прежде всего таким явлениям, которые не отражают предметных различий (названия животных, птиц, растений, плодов, овощей, частей тела и др.)¹⁷.

В известной мере, видимо, указанный недостаток сказался и на соотношении карт, посвященных отдельным частям речи. И в этом «Атласе», как и в других, основное внимание уделено существительным. Лишь 15 карт посвящено другим частям речи, главным образом глаголу. Возможно, что во второй части тома им будет уделено больше внимания.

В «Атласе» последовательно проводится графическое выделение трех типов противопоставлений. Основное противопоставление — это противопоставление названий, представляющих собой этимологически разные слова (например, *рик* — *гид*). Второй тип — противопоставления словообразовательных и морфологических вариантов (например, *плат*, *платбк*, *плат'анк*, *приплаток* и т. п.). Третий тип — это противопоставления фонетических (в том числе и акцентных) вариантов. Это дополнительное противопоставление, разумеется, может касаться как противопоставляемых разных слов, так и противопоставляемых словообразовательных и морфологических вариантов. Указанные типы противопоставлений имеют определенную систему обозначений, чем достигается строгое разграничение на самих картах словообразовательных вариантов от вариантов фонетических.

Известно, что не во всех атласах на лексических картах отмечаются фонетические варианты. И это находит свое оправдание. Едва ли было бы целесообразно, например, в общенародном атласе указывать на картах фонетические варианты. Это может, при наличии многих вариантов, и заслонить основную тему карты, и вы-

звать много чисто практических затруднений. В таких случаях целесообразнее фонетические варианты приводить в комментариях. Другое дело с региональным атласом. Здесь, как нам кажется, передача фонетических вариантов на лексических картах вполне целесообразна. Это определяется спецификой региональных атласов: чем больше частных особенностей отражено в атласе, тем он ценнее. Можно, конечно, и в региональном атласе особенности произношения отдельных слов отражать на частных фонетических картах. Но это сильно увеличило бы объем атласа и то главным образом за счет фонетических особенностей, характерных для незначительной группы говоров.

В рецензируемом «Атласе» отдельными знаками переданы не все фонетические варианты отдельных слов, а лишь такие, которые нельзя объяснить последовательными, регулярными фонетическими изменениями, характерными для данного говора. Те же варианты, которые обусловлены законочерными изменениями, на картах обозначаются одним общим знаком. Это правильно. Правда, при отсутствии карт на соответствующие фонетические явления, как, например, в данном «Атласе», мы не можем сказать, глядя на карту, как именно звучит данное слово в каждом конкретном говоре. К сожалению, в комментариях к картам не всегда указывается, в каких говорах употребляется тот или иной фонетический вариант, а также мотивы обозначения ряда фонетических вариантов одним знаком (ср., например, №№ 7, 62, 83, 96, 110 и др.).

Разумеется, что к отображению фонетических особенностей на лексических картах надо подходить осторожно, чтобы за ними всегда была ясно видна основная тема карты. Их следует отражать тогда, когда, во-первых, их немного и во-вторых, когда они дают четкие изоглоссы. С этой точки зрения целесообразность передачи фонетических вариантов на большинстве карт рецензируемого «Атласа» (таких карт 50 из всех 120) не вызывает сомнений.

В «Атласе», как правило, фонетические варианты слов дают четкие изоглоссы, которые безусловно важны для характеристики отдельных групп говоров. Некоторые из них при этом совпадают с основными лексическими изоглоссами. Так, например, западная граница варианта *руш'ник* (другой вариант *руч'ник*) (№ 58) в основном совпадает с западной границей рас пространения названий *фин* «крестник» с его вариантами (№ 51), *клубка*, *клуб'чка* «наседка» (№ 86), *вес'сна* «весна» (№ 1) и др. Довольно четкие изоглоссы дают фонетические варианты и других названий. См. изоглоссы слов *заул'а* (*заул'а*) и *зоул'а* «кукушка» (№ 14), *коу'ч'ер'га* и *коу'арга* «кочерга» (№ 26), *свад'ба* и *свад'ба* «свадьба» (№ 31), *игра'ти* (*игра'ти*) и *гра'ти* «играть на скрипке» (№ 99), *лбжка* (*лбж'ка*) и *лйжка* (*лбжка*, *лйжга*) «ложка» (№ 65)

¹⁷ Ср. и рецензию С. Б. Бернштейна на «Атлас русских народных говоров...», ИАН ОЛЯ, 1958, вып. 4, стр. 364.

и др. Однако в некоторых случаях очевидно чрезмерное увлечение фонетическими вариантами. Так, вряд ли стоило картографировать отдельными знаками формы *пiака* и *пiека* «женский фартук» (№ 57), отмеченные всего в 3-х пунктах (№№ 57, 59, 60). В этих формах согласный *е* представляет, вероятно, результат регулярного изменения *л* в *е*. Ср., например, *зо^урiека* «горилка» в этих говорах при *зо^урiлка*, *зоб^урiлка* в других говорах (№ 61). Может быть, не стоило бы выделять отдельными знаками варианты *не^пеiтка* и *не^пеiска* «вестка» (№ 48), *покр^есник* и *покр^есник* «крестник» (№ 51) и некоторые другие.

Большое место в «Атласе» занимают лексические заимствования. Способ их передачи, как нам кажется, имеет в известном смысле принципиальное значение и представляет некоторые затруднения. Предметом картографирования в данном «Атласе» являются хронологически любые иноязычные заимствования в отличие от «заимствований» из украинского литературного языка, которые не картографируются (см. №№ 1, 7, 9, 21, 22 и др. и комментарий к ним). Эти заимствования передаются следующим образом. Если корень иноязычного слова отличается от корня (корней) украинских названий, то эти названия передаются как основные различительные элементы — противопоставление корней [по типу *рiк* — *гiд*, см., например, *боронá*, *смык*, *грáпа* «борона» (№ 81)]. Если на данной карте все картографируемые слова, в том числе и заимствованные, имеют один и тот же корень и отличаются только словообразовательными аффиксами или морфологическими особенностями, то такие слова на картах противопоставляются так же, как и указанные выше [например, *лисцi'а* — *лишiка* «лиспа» (№ 9)]. В том случае, когда заимствованное слово отличается от украинских названий словообразовательными аффиксами или морфологическими особенностями и на карте противопоставляется не менее двух разных корней, то заимствованное слово передается как противопоставление словообразовательных (морфологических) вариантов слов. В связи с этим мы бы хотели высказать следующее соображение.

Нам представляется, что любые иноязычные заимствования следовало бы обозначать на картах как противопоставление разных корней. Ведь фактически для говора, заимствующего какое-либо слово из другого языка, в принципе безразлично, имеются ли слова того же корня в говорах, родственных данному говору, или нет, потому что проникновение этого слова из другого языка (здесь прежде всего следует иметь в виду родственные языки) в данный говор не обязательно должно связываться с наличием слов того же корня в других говорах. Поэтому иноязычное заимствованное слово, отличающееся словообразовательными аффиксами или морфологическими (и даже фонетиче-

скими) особенностями от слов того же корня в других говорах, в данном говоре будет таким же внешним, чужим, как и заимствованное слово с иным корнем. Заимствования и того и другого рода выступают здесь примерно на равных основаниях и картографировать их следует одинаково. Иногда автор «Атласа» так и поступает. Ср., например, карту № 7, где названия *ко^уцiр* «кот», словацк. *kočúr* и укр. *kit*, имеющие один корень, передаются как противопоставление разных корней. Это позволяет на самих картах резко отграничить исконное слово от заимствованного, хотя бы этимологически и близкого слова. Здесь, правда, составитель карт должен будет решать нередко сложный вопрос: является ли данное слово заимствованием из другого языка или нет.

Все карты «Атласа» выполнены в коричневом и белом цветах. В общем почти все они читаются легко, особенно те, в которых отражено противопоставление двух лексических явлений. Труднее (или даже с трудом) читаются лишь некоторые карты, где использованы знаки с разного рода штриховкой (см. №№ 27, 63, 66, 83 и др.). Конечно, «Атлас» был бы гораздо нагляднее (и параднее), если бы хотя часть карт была многоцветной. Отсутствие цветных карт, видимо, объясняется техническими причинами, поэтому к автору тут не может быть никаких претензий. «Атлас» и в том виде, в каком он издан (имеем в виду в данном случае чисто техническую его сторону), заслуживает всяческой похвалы, особенно если иметь в виду возможности местного издательства и типографии.

Принятая в «Атласе» система знаков не вызывает возражений. Следует отметить довольно последовательно проведенное различие в системе обозначения фонетических и словообразовательных (морфологических) вариантов. Лишь в редких случаях наблюдаются отступления [например, *кл'ука* и *кл'и́ка* «кочерга» (№ 27), *косá* и *кíска* «коса» (№ 43) переданы как варианты фонетические, а не словообразовательные]. Акцентные варианты в одних случаях переданы отдельными знаками (см. №№ 81, 102, 12, 97 и др.), в других — одним знаком (№№ 16, 22, 12, 55 и др.). Правильно сделано, что равнозначные варианты, употребляемые в одном и том же говоре, передаются отдельными знаками, а не наложением знаков или их вписыванием. Хорошо, что знаком меньшего размера передаются менее употребительные варианты. Не вызывает возражений и то, что различие в употреблении вариантов, связанное с возрастными различиями носителей говора, сообщается в комментариях, а не в самой карте.

К сожалению, в «Атласе» нет последовательности в использовании отсылочных знаков. Так, на многих картах отсутствуют знаки, отсылающие к замечаниям в комментариях (см. №№ 47, 62, 68, 84, 93, 95 и мн. др.). Реже бывает обратное

положение, когда на карте есть отсылочный знак, а в комментарии по этому поводу ничего не говорится. Например, п. 146 на карте № 13 помечен знаком для отдельных названий с корнем *крот-* (*крѣт-*), а в комментарии этот пункт не отмечен, так что остается неизвестным, каково название крота в этом говоре. См. также №№ 39, 73, 93 и др. В легенде на карте № 75 отсутствует отсылочный знак для отдельных единичных названий, указанный на карте при п. п. 208, 210.

В предисловии (стр. 10) сказано, что ударение в «Атласе» обозначается знаком акута (^). Между тем очень часто ударение обозначается и знаком ` (см. №№ 82, 91, 94, 105, 111 и мн. др.).

К сожалению, в «Атласе» отсутствует физическая карта Закарпатья. Необходимость ее очевидна, если иметь в виду горный ландшафт области.

Наконец, надо сказать, что «Атлас» удобен для работы. Он не велик по формату. Краткие комментарии даны рядом с картой на обратной стороне предшествующего листа.

В заключение хотелось бы специально отметить инициативу Ужгородского университета, предпринявшего и быстро осуществившего издание первой части «Атласа», и пожелать скорейшего выхода в свет новых томов этого поучительного труда. Диалектологи имеют теперь наглядный пример возможностей издания чрезвычайно необходимых для славянского языкознания областных атласов.

В. М. Илич-Сешич, Г. К. Венедиктов

«Атлас болгарских говоров в СССР». Сост. С. Б. Бернштейн, Е. В. Чешко, Э. П. Зеленина. Под ред. С. Б. Бернштейна. — М., Изд-во АН СССР, 1958. 83 стр., 109 карт (Ин-т славяноведения).

Осенью 1958 г. вышел из печати давно ожидаемый «Атлас болгарских говоров в СССР». Он является результатом многолетнего и всестороннего изучения всех 104 болгарских говоров на юге Советского Союза. В настоящее время в СССР живет около 250 тысяч болгар. Компактные болгарские колонии имеются главным образом на территории Бессарабии (в бывшей Измаильской, теперь Одесской области УССР и в Молд. ССР), а также в Запорожье (УССР, вблизи Азовского моря). Начало болгарской колонизации в России относится ко второй половине XVIII в. Наиболее ранние волны колонизации шли из северо-восточной Болгарии (Ольшанка — 1773 г., массовая колонизация 1806—1812 гг.) и из юго-восточной Болгарии, т. е. из Фракии (1801—1806 гг.). Позже все больше иммигрирует население из южнобалканских областей, особенно из Ямбола и Сливена (массовая колонизация 1828—1830 гг.). Сначала болгары селились у Черного моря к северу от Одессы и Николаева. В конце русско-

турецкой войны 1806—1812 гг. появляются первые болгарские села в Бессарабии. Здесь возникает главный очаг болгарской колонизации с центром в Болграде. В 1861—1862 гг. более 20 тысяч колошников было перемещено в районы, прилегающие к Азовскому морю (Запорожье).

«Атлас» состоит из двух основных самостоятельных частей: первая (83 стр.) содержит вступительные статьи и комментарии к картам. Вторая часть состоит из 109 карт. Во «Введении» (5—8 стр.) освещаются различные методологические проблемы, связанные с лингвистическим картографированием, и подводятся наиболее существенные итоги, достигнутые исследованием всех 104 болгарских говоров на юге СССР. На данных «Атласа» основывается группировка болгарских говоров СССР. Касаясь вводящих замечаний, следует отметить, что, признавая в полной мере значение «Атласа» для изучения болгарских говоров в СССР, а также и для изучения восточноболгарских диалектов вообще, мы все же полагаем, что выводы, сделанные авторами на основании изучения сильно смешанных говоров (причем соответствующих им исконных говоров на территории Болгарии мы, как правило, не знаем), представляются нам слишком далеко идущими. Общеизвестно, как значительны были перемещения населения на территории восточной Болгарии в течение XV—XX вв., как мало там коренного населения, особенно в северо-восточной части Болгарии, насколько сильным является переселенческий элемент также на территории балканских и фракийских говоров. С огромными трудностями сталкивается исследователь болгарских говоров на территории самой Болгарии. Что же касается сильно смешанных болгарских говоров СССР, то об их происхождении мы часто знаем весьма мало и во всяком случае не можем с уверенностью сказать, является ли непосредственный исходный пункт данного говора в Болгарии первоначальным постоянным местом жительства или только одним из этапов скитаний переселенцев. Нам представляются преувеличенными и на данном этапе изучения неубедительными сделанные на основе такого материала некоторые далеко идущие выводы, например о генетической связи шуменского говора с южной Болгарией (этот вопрос представляется авторам «Атласа» окончательно решенным), о генетической связи чийшийского говора с северо-восточной Болгарией, а также о первичности балканских и фракийских говоров с артиклем -о (описанных еще Милетичем, который, видимо, справедливо отмечал их связь с экспансией загорского населения)¹. Следует добавить, что Младенов и Кодовы авторы монографии о фракийских диалектах, являющейся до сих пор наиболее полной, решительно настаивают на типичности артикля -з(и), предполагая, что

¹ L. Miletich, Das Ostbulgarische. Wien, 1903, стр. 23, 26—34.

вариант -о заимствован с запада². Форма -ът типична также в диалекте Странджки, в противоположность загорскому -о³.

Большое значение для изучения болгарских говоров СССР имеет II глава первой части, посвященная истории болгарской колонизации на территории бывшей Новороссии, Бессарабии и Приазовья (стр. 9—16). На основе в равной мере как кропотливого изучения архивных документов, так и исследования всех болгарских говоров Советского Союза здесь прослеживается история отдельных волн колонизации, что позволило во многих случаях корректировать прежний подход к вопросу. История изучения болгарского населения СССР освещается в главе III. После характеристики историко-статистических работ Скальковского, Титорова, Клауса, относящихся к прошлому веку, авторы «Атласа» более подробно останавливаются на трудах Н. С. Державина, который положил начало подлинно научной этнографической и диалектологической работе в этой области. Ряд ценных поправок и замечаний к ним находим на стр. 19—20. Не располагая полным материалом, Державин не мог установить системы исследуемых говоров, связи между ними и ограничился только описанием языка отдельных населенных пунктов, что само по себе ценно, если учесть современное состояние науки в данной области. Жаль, что в этой главе хотя бы вкратце не сказано о внушительном развитии исследования болгарских говоров СССР, имевшем место по окончании последней войны. Сюда относятся прежде всего работы самого инициатора этих исследований проф. С. Б. Бернштейна, главного редактора «Атласа», а также его соавторов Е. В. Чепко, Э. П. Зетешной и многих других. Эти работы сосредоточены в специально созданном органе «Статьи и материалы по болгарской диалектологии» (Академия наук СССР, Институт славяноведения; вышло 9 томов, начиная с IX тома издание осуществляется совместно с Институтом болгарского языка Болгарской Академии наук). Был бы полезен по крайней мере библиографический перечень этих работ, среди которых имеется много монографических описаний.

Глава IV посвящена истории собирания материалов для «Атласа» (стр. 22—24). Замысел создания такого «Атласа» возник уже в 1936 г., однако серьезная работа началась лишь после войны, одновременно с созданием Института славяноведения в 1947 г. В 1948 г. после составления вопросника начались регулярные обследования, которые в основном были завершены во время трех главных экспедиций в 1948—1950 гг. Эта глава со-

держит список участников экспедиций, а также перечень обследованных пунктов. Очень жаль, что не дано хотя бы краткой характеристики этих населенных пунктов (даты основания деревни, данных относительно ее происхождения, а также краткой характеристики говора и основных информаторов). Отдельные данные о многих населенных пунктах, правда, представлены (в разных местах первой части и прежде всего во II главе), но они не могут заменить систематической характеристики обследованных населенных пунктов. На основе изучения 104 болгарских говоров южной части СССР для «Атласа» отобрано 64 пункта, главным образом на территории Бессарабии. Данные о Приазовье, подвергшемся вторичной колонизации после массового ухода населения из южной Бессарабии, были использованы в качестве очень ценного вспомогательного материала для характеристики бессарабских пунктов.

Вопросы, связанные с программой, методикой сбора и обработки материала, разработкой типа карт и принципов их построения, рассмотрены в V—VI главах (стр. 25—31). «Атлас» базируется на программе (вопроснике), содержащей 179 вопросов, которые легли в основу 210 карт (из них опубликовано только 109). К сожалению, неизвестно, будут ли опубликованы остальные карты. Не помещен также и вопросник — о нем мы можем судить лишь на основе опубликованных карт.

Поскольку качество атласа зависит прежде всего от вопросника, нужно рассмотреть подробнее вопросник «Атласа болгарских говоров СССР», еще раз оговорившись, что мы делаем это лишь на основании 109 карт. Последние делятся на три основные группы: 1) фонетика (48 карт), 2) морфология (22 карты), 3) лексика (36 карт). Фразеологии и семантике посвящено по одной карте. Первая карта «Атласа» тесно связана с VII главой первой части и отражает группировку болгарских говоров СССР.

Синтаксис и словообразование, как это видно из сказанного, вовсе не были затронуты, впрочем, как и во всех существующих атласах, что при современном состоянии исследований в обеих отраслях является вполне оправданным. Словообразованию, однако, следовало бы посвящать несколько вопросов. Например деминутивным суффиксам -че, -ле (из карты 46, отражающей произношение шч в слове *нобице*, следует, что -ле — явление западное, -че — восточное). Деминутивным суффиксам прилагательных. Суффиксам имен действия -не, -еж и прежде всего проблеме суффикса -ък, -ок. Что важно для изучения вокализации ретупированных в восточноболгарском диалекте (ср. шумен. *четертрок*, *петок*, *дубитук*)⁴.

Вопросник из области фонетики вполне исчерпывающий и охватывает все существ-

² См. «Тракийски сборник», кн. VI, («Бит и език на тракийските и малоазийските българи», ч. II — «Език»), София, 1936, стр. 78.

³ Ср. Ст. Стойков, Странджанският говор, «Български език», год. VII, 1957, стр. 208.

⁴ Ср. St. Mladenov, Geschichte der bulgarischen Sprache, Berlin und Leipzig, 1929, стр. 103.

венные болгарские черты. Совершенно справедливо большое внимание уделено важным языковым явлениям, которые обработаны на основе целого комплекса тщательно подобранных вопросов (например, произношению *ѣ* под ударением, развитию сонантов, следам среднеболгарского смешения юсов, развитию *ѡ*). Следовало бы еще учесть развитие первичного *ѡ* (например, тип *дошѣл*, *дошѣл*; *темнѣца*, *тѣмнѣца*), безударных *ѣ*, *ѡ*, *ѡ* (переходящих не только в *и*, но также в *'а*, *'ѡ*), параллель *ѡ* — *ѡ* в начале слова, случаи параллельности *ѡ* — *ѡ* (<*ѡ* — *ѡ*) в коренных слогах типа *гнѡсен*, *гнѡсен*; *скѡбѣн*, *скѡбѣн*, развитие первоначальных *чѣ*-, *чѣ*— перед согласным (о чем мы отрывочно узнаем из карт 10 и 37, посвященных другим вопросам), развитие *л* после *ж*, *ч*. В связи с рефлексом носового гласного в *дѣветдѣсе* (карта 17) хорошо было бы дать карту распространения по говорам слова *ѣндаѡ* «болезнь, рана» (праслав. *jeŋga*).

Проблемам ударения посвящено 6 карт: 4 — ударению в словах среднего рода (карты 9, 47—49), 2 — акцентуации императива (карты 70—71). Конечно, следовало бы принять во внимание целый ряд других явлений, например акцентуацию аориста, звательного падежа, существительных женского рода на *-а*, существительных типа *ѡма*, *срѣда*. В подготовляемом атласе исконных диалектов на территории самой Болгарии должны быть использованы последние работы Л. А. Булаховского по болгарской акцентологии.

В области морфологии также учтено огромное большинство наиболее существенных болгарских (особенно восточных) черт. Хорошо было бы также учесть некоторые другие важные черты, например: остатки инфинитива (хотя бы в императиве типа *нимоѣ* *ѡбди*); императив 2-го лица множественного числа (*-ете* — типичное для Фракии *-ите*; правда, в 8-м вопросе выяснялось возможное произношение *напраѣте*, *напраѣ'ите* или *напраѣйте*, однако проблема морфологии здесь не рассматривается, внимание сосредоточено на произношении *ѣ*); развитие энклитических* *те*, *те*, *се*; новое причастие, образованное от основы имперфекта; наконец, зафиксированный не только для македонских, но также и для фракийских диалектов тип перфекта *имам стѡрено*, *нѣмам пѡтено*.

Боле трети «Атласа» составляют карты лексикологические. Главное внимание уделяется здесь названиям одежд, утвари, орудий, растений, домашних птиц и т. д. Это слова по большей части новые, заимствованные, реже — унаследованные от праславянского состояния. Представляется необходимым в большей степени учесть сохранившиеся праславянские слова, как, например, известные в болгарских говорах *ръль*, *brvъ*, *brusnica*, *bordva*, *gumъno*: *tokъ*, *drъxъ*, *guditi gudjъ*, *istъba*, *klѣтъ*, *ktorъ*, *kutiti*; *kutjъ*, *lemeъ*, *pbstrъ*, *račiti*, *sanj*.

В главах V—VI находим сведения о выборе информаторов, способах получения и обработки собранного материала, а также о типах карт, о принципах их построения. Заслуживает внимания привлечение нескольких информаторов разного возраста (4—6 основных и несколько дополнительных). Вызывает беспокойство использование лиц, стоящих на разных культурных уровнях. К сожалению, нигде не приводится данных об информаторах (фамилий, возраста, характеристики). Следует подчеркнуть, что информация собиралась, как правило, на основе наблюдений над разговорным языком. Только в крайних случаях ставился прямой вопрос относительно данного предмета.

Основной целью работы было, с одной стороны, дать географический обзор распространения наиболее существенных фонетических, морфологических и лексических особенностей болгарских говоров СССР, с другой — что особенно важно для авторов «Атласа» — провести реконструкцию первичных черт начального периода их жизни на занимаемой теперь территории. Эта последняя задача находится в тесной связи с основным замыслом «Атласа» — установить генетические связи с исконными болгарскими диалектами. Необходимость реконструкции первичного состояния болгарских говоров СССР определяется тем, что многие из них, особенно на территории Бессарабии, являются сильно смешанными. Использование материалов Приазовья, а также исследование всех говоров в их совокупности сделало возможным достижение этой цели: мы имеем не только прекрасную характеристику современного состояния болгарских говоров СССР, но также и реконструкцию их состояния в конце XVIII и начале XIX в.

В связи со смешанным характером исследуемых диалектов делались попытки учесть первичные и вторичные варианты. Наличие вариантов и степень их распространения обозначены путем деления прямоугольников (которые соответствуют каждому отдельному говору) на части в горизонтальном и вертикальном направлениях. Говоры Приазовья обозначаются треугольниками. Почти все карты очень прозрачны. К каждой карте дается комментарий, основные задачи которого — подвести итоги по карте, сделать выводы, предупредить возможные неясности или трудности.

В результате изучения всех болгарских говоров СССР возникла их классификация, которой посвящена глава VII первой части (стр. 32—41) и карта 1. Первую попытку такой классификации С. Б. Бернштейн и Е. В. Чешко сделали еще в 1951 г.⁵ Оказывается, что болгарские говоры СССР не представляют собой «бессистемного конгломерата», который не укладывается в определенную систему, как счи-

⁵ С. Б. Бернштейн, Е. В. Чешко, Опыт классификации болгарских говоров СССР, «Уч. зап. Ин-та славяноведения [АН СССР]», т. IV, 1951.

тал когда-то Державин. Удалось показать несомненную связь отдельных говоров между собой, а также установить в некоторых случаях преемственность с исконными говорами Болгарии. Это, без сомнения, одно из больших достижений долгой и кропотливой работы над «Атласом». Конечно, не все группы определены в равной мере убедительно. Не всегда также можно согласиться с выводами, касающимися прошлого исконных диалектов Болгарии и сделанными авторами на основе изучения болгарских говоров СССР. Нам представляется, что окончательного решения этих вопросов нужно ждать до опубликования атласа исконных болгарских говоров, который сейчас готовится.

В говорах переселенцев из северо-восточной Болгарии авторы различают три типа: чумелийский, чийшійский и ольшанский. Совершенно ясным представляется нам чумелийский тип, являющийся безусловно продолжением болгарского шуменского диалекта. Очень интересен тип ольшанский, неизвестный до сих пор среди исконных диалектов Болгарии. Артикль -о и отсутствие следов среднеболгарского смещения юсов связывает его с чумелийско-шуменским типом. переход *ъ*, а > *ѣ* родствен некоторым балканским диалектам в Болгарии (Тетевен, Еркеч). Вопреки существующим исследованиям (прежде всего работам Милетица), авторы «Атласа» считают первичным диалектом северо-восточной Болгарии чийшійский тип, отличающийся артиклем -ъ, следами среднеболгарского смещения юсов (*шѣна*, *жѣтеа*). 'а, е < *ѣ*. Диалект шуменский, а также исконный диалект ольшанской группы происходят, следовательно, из южной Болгарии. В свете современных научных данных об этнических и языковых отношениях в северо-восточной Болгарии принять эти гипотезы трудно, пока они не подтверждены более серьезными аргументами. Немногочисленные южные шуменские черты (произношение первичного *ѣ*, некоторые особенности словаря) могли развиться совершенно независимо. Гораздо важнее различия, противоречащие этой концепции.

Мало правдоподобна также гипотеза, будто бы чийшійская группа относилась к первичному северо-восточному болгарскому диалекту. Все говорит о том, что эти говоры очень близки балканским. Об этом свидетельствуют также языковые черты (очень важно, что это в огромном своем большинстве общие нововведения), как артикль -ъ, переход *ѣ* > 'а, е, сильная редукция безударных, тип *фѣр'а* и. *фл'аза*, аффриката *дз*. В некоторых балканских говорах встречается также типичное для чийшійской группы *шѣна*, *жѣтеа*; *пѣдна*, *гладна* и частица будущего времени *жѣ*. Есть также общие чийшійско-балканские черты в области ударения и лексики.

Что касается балканских и фракийских говоров с артиклем -о, то следует еще добавить, что есть балканские говоры с артиклем -о, имеющие целый ряд черт, ко-

торые их объединяют с чумелийской группой (например говор Кирсова: см. «Атлас», ч. 1. стр. 37); есть также интересные общие лексические черты в балканской подгруппе с артиклем -о и чумелийской группе (ср. например. карты 81, 94, 96).

Авторы «Атласа» неудачно назвали сохранившийся в остатках говор села Новосельское «восточнородопским» говором⁶. Местность Алан-Кайрак, откуда, видимо, происходят жители Сатунова (прежнее название этой деревни), расположена на юге от Бургаса на территории страджанского диалекта⁷. Последние исследования над «Атласом болгарских говоров» показали, что Алан-Кайрак (ныне Ясная Поляна) был до завоевания независимости турецкой деревней с незначительной долей болгарского населения⁸.

В заключение несколько замечаний частного характера. На стр. 35 констатируется отсутствие каких-либо описаний диалектов на северо-восток от шуменского диалекта. При этом опущена работа Г. Поп Иванова «Говорът в южна Добруджа»⁹.

На стр. 41 в связи с характеристикой восточнородопского диалекта примеры типа *цареѣн*, *црѣква*, *царница* рассматриваются как слова, где *ц* произносится вместо *ч* в начале слова. Это неточность: здесь речь идет о рефлексках праславянского *г* после *ѣ*, чему следовало бы посвятить специальную карту. На стр. 63 в комментарии к картам 47—49 содержится утверждение, что в сатуновском диалекте преобладающим является ударение на первом слоге. Карты 47—49, напротив, показывают преобладание окситонического типа ударения.

В комментарии к карте 72 следовало бы отметить, что *гал'чѣ* встречается также в Ольшанке, хотя в ином значении — «ругаться, браниться, ссориться»¹⁰. В Сатунове *гѣлчѣ* появилось не под чийшійским влиянием. Этот глагол в том же самом значении известен также в центральных Родопах, например в сел. Момчиловцы¹¹. Слово *бѣрни* (карта 74) встретившееся только в чийшійской группе, известно также в тайном языке каменщи-

⁶ Ср. также замечания Ст. Стойкова в его рецензии на «Атлас» («Български език», год. IX. кн. 2. 1959, стр. 188).

⁷ Ср. L. Miletic. указ. соч., стр. 208 и карта.

⁸ Ср. Стойков. указ. соч., стр. 206, замечание 3.

⁹ См. «Списание на Българската Академия на науките», кн. LXXI, Клон историко-филологичен, 34, 1950, стр. 161—182.

¹⁰ См. П. К. Бунина. Словарь говора ольшанских болгар. «Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР», вып. 5. М., 1954, стр. 16.

¹¹ См. Ст. Кабанов. Говорът на с. Момчиловци. Смолянско. «Известия на Института за български език», кн. IV, София, 1956, стр. 72.

ков деревни Смолско, Пирдопско¹². Характерное для чупмелийских говоров название колодца *убил* (карта 89) имеет соответствие в центрально-родопском *еббел* «источник» (**qebel*)¹³.

Перечисленные мелкие недочеты, которых нельзя избежать в изданиях такого рода, не уменьшают значения «Атласа». Он дает точное представление не только о современном состоянии болгарских говоров СССР, но также и об их состоянии в конце XVIII и начале XIX в., обогащает болгарскую диалектологию целым рядом новых фактов. По-новому освещая вопросы классификации восточноболгарских диалектов, «Атлас», несомненно, вызовет полезную дискуссию. Он, безусловно, является одним из самых выдающихся трудов последних лет, посвященных болгарскому языку, и очень важен как методический образец для подготавливаемого атласа искоших диалектов Болгарии. Весь коллектив и прежде всего редактор С. Б. Бернштейн заслуживают искренней благодарности за серьезное издание, являющееся первым полным атласом одного из южнославянских языков.

Фр. Славский

Перевела с польского

З. Н. Стрекалова

L. Kjellberg. La langue de Gedeon Krinovskij, prédicateur russe du XVIII siècle, I. — Uppsala—Wiesbaden, 1957. 196 стр. (Uppsala Universitets Årsskrift, 7, 1957.)

Исследование Л. Чельберга посвящено языку одного из виднейших проповедников середины XVIII в. Гедео́на Криновского (1726—1763 гг.)¹. Для языка Гедео́на Криновского, как отмечали его современники и позднейшие исследователи, характерны элементы разговорной речи, что очень важно для понимания особенностей «духовного красноречия» той эпохи; в связи с этим язык Гедео́на Криновского представляет особый интерес для изучения. Сближение языка проповеди с разговорной речью было сознательным стремлением Гедео́на. В предисловии «К читателю» в «Собрании

¹² См. И. Кънчев. Таен зидарски говор от с. Смолско, Пирдопско, там же, стр. 389.

¹³ См. С. т. Кабабанов, указ. соч., стр. 71.

¹ Гедео́н, епископ Псковский и Нарвский, человек словесный, ученый, просвещенный и искусный в красноречии и других науках. Сей, будучи придворным проповедником, сочинил много поучительных слов, которые собираи и напечатаны в 4 частях в Санктпетербурге в разных годах. Его сочинения весьма много похваляются, и некоторые проповеди равняются с Феофановыми. и он по справедливости почтается красноречивейшим и в числе Российских проповедников. Он скончался в 1763 г., имея не более 40 лет от рождения» («Словарь исторический...», ч. IV, М., 1790, стр. 95).

поучительных слов» (т. 1, СПб., 1755, стр. IX) он писал: «... ни о чем больше он (автор.— С.К.) не старался, только чтоб как можно внятнее представить народу, о чем когда намерен был говорить к нему. А понеже между пародом большая бывает часть псученных и простых, которым высококостильных бесед разуместь трудно и невозможно, то уж он ради произведения в действо своего намерения за такие меры и непременно приняться был должен, которые и самым не книжным простолудинам могли сделать слова его легко уразумительными».

Книга составляет первую часть исследования. В нее входит: введение, характеристика первых двух прижизненных изданий со стороны графики, орфографии, фолетических и морфологических особенностей, отраженных в печати. Ударение, словарь и синтаксис, а также библиография составят предмет следующей части.

Начало исследования посвящено характеристике личности Гедео́на, и здесь Л. Чельберг использовал едва ли не все опубликованные материалы. Значительное место отводится описанию литературного наследия Гедео́на. При жизни сочинения проповедника издавались дважды: первое издание печаталось Академией наук гражданским шрифтом, в четырех томах (СПб., 1755—1759 гг.), второе — церковнославянским шрифтом, в двух томах (М., 1760 г.)². Чельберг дает сравнительное описание обоих изданий, обращая внимание на различия в графике и орфографии. На этой счастливой возможности основана вся работа, на ней строятся наиболее ценные выводы исследования.

Графика первого издания не представляет большого интереса. Это «гражданка», несколько более модифицированная, чем в академических изданиях 30-х годов: второе издание, напечатанное церковнославянским шрифтом, в графике и орфографии обнаруживает заметные отступления от традиционной старославянской печати и в общем придерживается уже норм середины XVIII в. (см. библию 1751 г.). Как и в других изданиях этого времени. во втором издании проповедей Гедео́на употребление гласных и надстрочных букв в ряде случаев определяется позицией букв в слове или необходимостью различать грамматические формы.

Что касается орфографии, то в первом издании больше, чем во втором, прослеживается отражение живой и даже диалектной речи, например больше колебаний в пра-

² Это единственный источник, по которому можно знакомиться с языком Гедео́на, если не считать нескольких документов делового стиля, не представляющих интереса с точки зрения языка. Митрополит Платон, ученик Гедео́на, упоминал о существовавшей у него ученой переписке своего патрона, достигавшей сотни единиц. по стилю «гораздо острее и выше» проповедей. Для изучения языка и стиля Гедео́на эта переписка имела бы чрезвычайное значение.

вописании звонких и глухих согласных и в других случаях. Второе издание освобождается от некоторых архаических написаний. Несмотря на церковнославянскую графику, в этом издании вводятся орфограммы, которые впоследствии вошли в орфографическую систему.

В области фонетики исследователь останавливается на славянизмах, давая, например, полный список слов с неполногласными сочетаниями. Такие слова в языке Гедеоны чаще относятся к христианской символике. В анализе форм *хочу* и *хочу* по томам отмечается постепенное вытеснение славянизмов русскими образованиями.

Большая часть исследования отведена анализу морфологических особенностей, и этот раздел Чельбергом разработан наиболее тщательно. Здесь дается описание всех флексий обоих изданий. При сопоставлении отмечаются изменения, происходящие с той или иной флексией. Применяется статистический метод, вводятся точность в подобные характеристики. Средствами статистики, например, показывается устойчивость в дат. и предл. падежах ед. числа флексий *ѣ* и *и* в существительных *воля*, *душа*, *земля* в первом и втором изданиях. Отдельные особенности в распределении статистических данных автор сопровождает специальными толкованиями. Так, преобладание *и* в формах указанных выше слов объясняется их спецификой в семантике, в особенности в слове *земля*.

Сопоставление двух изданий проповедей Гедеоны показывает, как во втором издании, хотя оно и выполнено церковнославянской печатью, заметна тенденция устранять колебания путем подведения их под орфографические правила, которые закреплялись в русском литературном языке. Так, в именах типа *россиянин* и под. в первом издании в им. падеже мн. числа употребительна флексия *-и*: *римляни* (IV, 175), *россияны* (I, 267) и под., во втором издании *-ы* заменяется на *-е*: *римляне* (I, 563 об.) и др. То же обнаруживается и в целом ряде других форм. В этих изменениях проявляется тенденция к сближению языка «духовного красноречия» со светским языком, к усвоению грамматических норм литературного языка.

Мы остановились на изложении некоторых фактов исследования Л. Чельберга, чтобы показать, как оно обогащает наши представления о литературном языке XVIII в. и свидетельствует о необходимости при изучении языка этой эпохи обращаться к памятникам «духовного красноречия». Работа Чельберга ценна своим материалом и наблюдениями над малопроследованным в истории литературного языка периодом. Исследование Чельберга подкупает строгостью метода и осторожностью в обобщениях там, где они недостаточно подтверждаются фактами. Если мы намереваемся высказать несколько критических замечаний, то они не преследуют цели умалять значение этой работы. Хотелось бы лишь указать на ряд проблем, с которыми необходимо считаться при изучении сложных процессов развития ли-

тературного языка, особенно процесса формирования национального литературного языка XVIII в. Автор не всегда их учитывает, что в известной степени сказывается на его работе.

Прежде всего надо указать на то, что изучение языка отдельного писателя XVIII в. по печатным текстам без учета неустойчивости орфографии этого периода едва ли возможно. Колебания в орфографии были вызваны своеобразным сочетанием с одной стороны, традиционных написаний, идущих от церковнославянского и древнерусского языка, с другой — написаний, восходящих к живой речи, но ставших традиционными еще в приказном стиле XVI—XVII вв. И те и другие написания впоследствии вышли из употребления.

Известно, что орфография этого времени покоилась на морфологическом принципе, причем морфема на письме часто сохраняла свое фонематическое строение. В свою очередь грамматические и фонетические особенности нередко определялись стилем³. Однако во второй половине XVIII в. эти нормы теряют свою обязательность: появляются книги, которые по содержанию и жанру выходили за рамки трех стилей, установленных Ломоносовым, и придерживались в них существующих орфографических правил было бы затруднительно. Ведь если проповеди Гедеоны, как и произведения высокого стиля, рассчитаны были не только на чтение глазами, но и на произнесение, то, например, научные книги могли быть рассчитаны только на чтение глазами, и поэтому в орфографии можно было пренебречь особенностями живой речи, так или иначе отраженными на письме.

Вот, например, перевод И. Шлаттера книги Поганна Готтшалка Валерия «Минералогия, или описание всякого рода руд и ископаемых из земли вещей» (СПб., 1763. Книга издана Академией наук). Здесь правописание флексий прилагательных — им. падежа муж. рода ед. числа и род. падежа муж. и ср. родов ед. числа — не зависит от требований высокого и низкого стилей: в им. падеже муж. рода ед. числа употребляется всегда окончание *-ой/-ей* независимо от ударения: *аглицкой белой мел* (1 разд. 2), *бледной мел* (1 разд., 2), *пурпуровой мел* (1 разд., 2), *пыловатой, глинистой, золотой (песок), неровой жемчужной песок* (1 разд., 4), *пловучей или ключевой песок* (1 разд., 4), *фигурванной (мрамор)* (1 разд., 5), *кубической, шиферной, зернистой, прозрачной (шпат)* (1 разд., 5), *песочной камень, проступчивой (камень)* (1 разд., 6) и т. д. Такое окончание имеют и славянизмы: *блстающей (мергель)* (2 разд., 44), *такой леса изображающей каменной мергель* (2 разд., 47), *затвердевшей (камень)* (1 разд., 11), *испещренной мрамор* (2 разд., 79), *преизрядной мрамор* (2 разд., 81) и др.⁴ Здесь же род. падеж муж. и

³ См. об этом В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., 2-е изд., М., 1938, стр. 106—111.

⁴ Как исключение: *милостивый государь мой, покорный и обязанный слуга* (посвяще-

ср. родов ед. числа последовательно имеет флексию *-аго/яго* независимо от лексической природы слова: *ордена святого Александра Невского* (в посвящении), *другаго* (2 разд., 72), *онаго* (2 разд., 76), *длялучшаго знания, высокаго и живаго цвета* (2 разд., 76) и др. Примечательно, что на характер флексии прилагательного не влияет даже флексия определяемого им существительного. В приводимых ниже примерах прилагательные с флексией *-аго* согласуются с существительными, имеющими флексию низкого стиля *-у*: *от трения худаго запаху* (2 разд., 77), *мелкаго зворосту* (2 разд., 80), *уринаго запаху* (2 разд., 83), *еонючаго запаху* (2 разд., 20) ⁵.

Подобные факты можно наблюдать в «Топографических известиях, служащих для полного географического описания Российской империи» в издании Академии наук (т. I, ч. 4, СПб., 1774): в им. падеже муж. рода ед. числа последовательно употребляется флексия *-ой/ей*: *торговой день* (332), *доброй урожай* (318), *проецициальной город Ярославль* (289), *Рождественской монастырь* (328). Топонимические названия форпостов, уездов и под.: *Изборский уезд* (344), *Зеленовский брод* (371), *Кошелевской (форпост)* (381), *Каменный (ручей)* (374). Исключений нет. В род. падеже муж. и ср. родов ед. числа последовательно употребляется *-аго/-яго*: *географического (тигульный лист), Польскаго рубежа* (367), *епископа Ростовскаго* (291), *привознаго (хлеба)* (304), *Онуфрия преподобнаго* (345), *нерукотвореннаго образа* (368), *другаго мастерства* (367) и т. д. Флексия *-ова* встретилась: *до форпоста деревни Большова Савастеева* (382), но тут же *Малаго Савастеева* (382), *до форпоста Толстова*, тут же *форпост Толстой* (386), *против форпоста Зеленова* (377), *деревня Зеленоя* (377) ⁶.

Как видно из приведенных примеров, в книгах, не рассчитанных на обязательное «чтение устам», написания, отражавшие стилистические особенности языка, могли

ные, называемый (2 разд., 46); в оглавлении: *клас первый* (1 разд., 2), *клас третий* (1 разд., 12). Но тут же: *клас второй* (1 разд., 5), *клас четвертой* (1 разд., 20).

⁵ Два исключения в примечании, паб-ранном нетитом: *робятся из некоторого белаго соку* (2 разд., 605), *соляного росолу* (2 разд., 34), но в тексте — *солянаго спирта* (2 разд., 452).

⁶ Окончание *-ова* встретилось в названиях форпостов в Великолукской провинции на границе с Польшей (стр. 369—386) (шод влиянием притяжательных прилагательных па *-ов* и названий деревень в им. падеже на *-ова*): *Высочинской форпост* (385), *до форпоста Высочникова* (385), *до форпоста Орлова* (382), *форпост Рожное*, *до форпоста деревни Рожное* (*деревня Рожное*) (396); *деревня Арезнава* (374), *речка Арезнава* (374) и род. падеж *из озера Арезнава*, но *форпост Арезнавской* (374), *деревня Крупошева* (375), *деревня Хвостова* (375), *деревня Григоркова* (380) и др.

стираться, и на месте их возникали последовательно проводимые правила, независимо от фонетического состава слова.

Таким образом, в XVIII в., переходном периоде для русской орфографии, печатный текст уже не может служить надежным средством изучения особенностей звуков и отчасти форм языка. Это в первую очередь касается орфограмм, в которых можно было бы ожидать отражения живой речи (типа *верзгу*, *е первом* и под., которые не обязательно свидетельствуют о мягкости *р*, а могут быть традиционными написаниями). Приводя написания *кленуся* (III, 56), *кленут* (II, 109), Чельберг сам замечает, что они традиционны. И такие случаи не являются исключением.

Второе наше замечание касается структуры самой работы. Нам кажется, язык писателя следовало бы изучать, начиная с синтаксиса и лексики. Именно здесь наиболее ярко выявляется своеобразие стиля Гedeона и вообще жанра «духовного красноречия». Автор часто сопоставляет стиль Гedeона с высоким стилем, находя между ними много общего, но, например, в синтаксисе язык проповедей очень удален от высокого стиля. Здесь мы часто находим прямое нарушение правил риторики. Вот как необычно начинается одна из проповедей Гedeона «Слово о краткости и бедности жития человеческого и о неизвестной его кончине»: «Проходят лета, протекают месяцы, летят дни, часы и минуты, как бы невидимо, слышатели! Вот уже мы и в новый год вступили! Вот уже и его несколько дней прожили! Вот уже и сей самый день за половину опроводили: а все то ничто другое делает, как что мы нечувствительно приближаемся к смерти!» (III, 13). Здесь интонации разговорной речи, словарный состав очищен от славянизмов, отсутствуют архаические и церковнославянские формы.

Предварительное изучение лексики и синтаксиса имеет значение для морфологии, фонетики и даже орфографии. Автор эту зависимость осознает и в ряде случаев старается объяснить колебания в употреблении форм особенностями того или иного стиля, точнее, особенностями лексики, связанной с определенным стилем. К сожалению, такие объяснения часто не приводят автора к нужному результату. Так, на стр. 118—119, анализируя флексию *у* в предл. падеже имен существительных с основой на *-о*, автор должен признать, что замена этой флексии флексией *е* не имеет той стилистической дифференциации, о которой говорит Ломоносов в своей грамматике (§ 190). Но эти отступления от норм Ломоносова имеют свои основания, и их очень важно вскрыть. В сочетаниях *в дому божии* (IV, 261), *в дому божием* (IV, 263) *-у* может быть старым окончанием основы на *-у*, тем более что это устойчивое сочетание, идущее из церковнославянского языка. Что же касается других приводимых автором примеров: *во истом своем доме* (I, 131), *в его доме* (III, 52), *в доме архиеврея* (IV, 237), *в доме Иеровамоном* (II, 296), — то их следует рассматривать как формы уже

нового литературного языка, в которых определения придают определяемому большую конкретность, отчего во всем словосочетании ослабляется обстоятельность. Таким образом, в ряде случаев, там, где автор заканчивает анализ, интересы исследователя требуют его продолжения. Если грамматическому анализу предпослать анализ лексики и синтаксиса, то многое в области употребления форм приобрело бы большую ясность.

Наконец, вызывает возражения попытка Л. Чельберга говорить о фонетике речи Гедсона. Правда, автор постоянно подчеркивает условность и относительность своих предположений. Чельберг, например, предупреждает, что он не хотел бы, поддавшись соблазну, говорить что-либо о произношении Гедсона, но все же, несмотря на орфографические условности, готов по ряду признаков считать, что они могут быть и не только фактом печати (стр. 94).

Но для того, чтобы убедиться в реальности подобных фактов, нужно доказать, что Гедсон принимал непосредственное участие в печатании своих книг, например правил корректуру. Однако убедительными доказательствами этого мы не располагаем. Больше того, по крайней мере для второго издания проповедей Гедсона допускаются «типографские исправления» (стр. 81). Но если даже допустить участие Гедсона в проверке корректуры, остается открытым вопрос, в чем это участие могло проявиться. Ведь Гедсон при проверке мог ограничиться лишь исправлением содержания и стиля своих проповедей, доверив орфографию корректору. Как бывший учитель Гедсон, конечно, отличался безукоризненной грамотностью, и трудно поверить, чтобы при правке орфографии он мог пропускать «ошибки», свидетельствующие о его собственном произношении: это могли быть лишь «ошибки», находившие то или иное оправдание в существовавшей орфографии.

Нам кажется, что исследователь, прежде чем приписывать орфографические «фонетизмы» языку Гедсона, должен более тщательно выяснить отношение их к существовавшей орфографии⁷ и к русским говорам. Автор готов их отнести к московскому наречию. Главным признаком при этом является аканье и редукция. Впрочем примеры на аканье весьма немногочисленны и

в то же время не бесспорны. Чельберг приводит слово *салдат* (III. 36) и др., тут же оговаривая, что такое написание было традиционным. В слове *кагда* (II. 61) он склонен видеть опечатку. Сравнительно много фактов на замену в безударном положении буквы *я* буквой *е*, что может указывать на явление редукции: *шелаша* (III. 14), *окончевая* (II, 163), *сребрение* (II. 286), *кладать* (I, 214) и под. Грамматической аналогией объясняется *я* на месте *е* в словах типа *время: времени* (I, 49), *имянно* (I. 52) и др. Но сама аналогия, как справедливо замечает автор, могла возникнуть в условиях редукции. К примерам, приводимым автором, можно было бы присоединить следующие, в которых, как следствие редукции, возникает *и: еять (еять) — еять известно то дело* (I, 87), *ноинькое. чудинькое* (I, 87); твор. падеж мн. числа существительных на *-ими* вместо *-ами* в тех случаях, где *а* не под ударением. Это явление встречается в некоторых южно-русских, среднерусских и владимирско-половских говорах, где распространена редукция. См. в предисловии Гедсона ко второму тому: *не только всеми желаемыми временными, благословит здесь благими, кои вечно на небесах* (I, VI).

В ряде случаев мы находим сохранение церковнославянских и древнерусских начертаний, которые могли поддерживаться особенностями живой диалектной речи: *окиан* (I, 44), *возвизает мне* (I. 104), *облизывал* (облизывал) (I, 138), *блещашую* (I.104). В последних двух примерах *о* и *а* могут быть обозначением редукции.

Из других отражений живой речи в книгах Гедсона Чельберг отмечает написание *ерь* на месте древнего *ьр*, что, как и редукция, связывается им с московским говором: *еерьховный* (II, 173), *на перьвом* (II. 256), *церкось* (I.110) и др. от этих же основ. В ряде случаев встречается *жк* на месте *жк* и *жк*: *лехайиши* (IV, 24), *умязчила* (IV. 126) и др. С московским говором связывается также ряд других форм: появление *-ут*, *-ют* в глаголах II спряжения не под ударением: *дышут* (I, 271), *слышут* (IV. 233). В полных прилагательных в род. падеже муж. и ср. родов ед. числа окончание *-ова*, *-ева*: *другова, гнилова* (III. 26) и др.

Не возражая против того, чтобы в приводимых фактах видеть отражение диалектных явлений, мы все же не считаем убедительным отнесение их к московскому наречию и прежде всего объяснение редукции аканьем. Известно, что редукция распространена и за пределами акающих говоров, например в большей части владимирско-половских говоров.

Во владимирско-половских говорах можно встретить и явление ассимилятивного аканья. Примеры на аканье, приведенные из книг Гедсона, относятся к ассимилятивному аканью: *кагда*, *салдат*. В этих же говорах известны и некоторые другие явления, встречающиеся у Гедсона. Окончание прилагательных *-ова* в род. падеже муж. и ср. родов ед. числа, употребляемое Гедсоном, распространено в акающих говорах и не имеющих редукции, например на

⁷ К сожалению, Л. Чельберг, хорошо изучивший литературу предмета, недостаточно внимательно обратил на ряд статей, посвященных вопросам орфографии XVIII и начала XIX в. Здесь можно назвать ряд статей Г. О. Винокура, В. П. Чернышева и др. См. статьи Г. О. Винокура «Орфографическая теория Тредиаковского» (ИАН ОЛН, 1948, вып. 2), «К истории нормирования русского письменного языка в конце XVII века (Словарь Академии Российской. 1789—1794)», «Вестник МГУ», 1947, № 5. См. также полемику между Винокуром и Чернышевым об орфографии и языке Пушкина в академическом издании его сочинений [Ин-та лит-ры АН СССР], 6, М. —Л., 1941).

территории Ярославской, Костромской и других областей. Мягкое *р* на месте старого *ѣр*, как и *-ы* в им. падеже мн. числа имен с суффиксом *-ин*, отмечается далеко за пределами акающих говоров.

Формы им. падежа мн. числа *они* и *оне* в первом издании обнаруживают колебания. В муж. роде преобладает *они*, но на 114 случаев *они* автор встретил 15 *оне*. В жен. роде — 5 раз *оне* и 2 *они*, в ср. роде — 4 *оне* и 5 *они* (стр. 175 исследования Чельберга). Относительно большое количество *оне* в муж. роде, возможно, говорит о том же влиянии северновеликорусского наречия. С флексией *е* местоимения *он* обычно сочетается падежные формы *одне*, распространенной преимущественно в сев.-в.-р. наречии [у Гедеона: мн. число *одне* (люди) (IV, 69), *одне* ноги (I, 169), *одне* слова (II, 167)] и ставшей в этих говорах основой твор. пад. ед. числа и косвенных падежей мн. числа: *однем* и т. д. Ср. примеры, приводимые Л. Чельбергом: *за одним столом* (II, 172), *с одним и тем же Духом* (III, 133), *одним... словом* (III, 53); *одне евангельские слова* (II, 167), *одних своих односторонцев* (II, 99), *от их сил одних* (IV, 70), *одним добродетелям* (I, 89). В книгах Гедеона мы находим *ь* в суффиксах *-ств* и *-ск-*: *царьствие* (I, 3; I, 10), *господьскую молитву* (I, 150). Как известно, в северновеликорусских говорах в этом случае до сих пор сохраняется мягкость *с*.

В словообразовании прилагательных северновеликорусских говоров распространена твердая основа: *малолетний отрок* (I, 90), *излишний труд* (II, 30), *осмодесятолетний* (I, 235), *тысяцелетний* (I, 45)⁸. Иной в первом издании употребляется с двумя *н*: на *инное* (II, 71), в *инном переводе* (II, 198), *инных* (III, 42). Если бы ударение было на начальном слоге, то ему легко можно было найти соответствие в северновеликорусском наречии. Ср. в пошехонских говорах: *на йнной годъ*⁹. Неслучайно в словаре Срезневского слово *инный* в значении «другой» иллюстрируется примером из Новгородской летописи. Слово *хотеть* у Гедеона употреблено с *ч* в основе 2-го лица мн. числа *хотече* (III, 144), так же, как часто в северновеликорусских говорах.

Заслуживают внимания некоторые глагольные образования, распространенные в северновеликорусском наречии. Глагол *встречать* употребляется без начального *в*: *стречает* (I, 43); *схотел* «захотел» (если бы *схотел* любви вашей — I, 130).

Ср. подобное образование *схохотатъ* «захохотал» (Тотемский уезд Вологодской обл.)¹⁰. В северновеликорусском наречии

возможны образования без суффикса *-ыва-*: *оспорять*, *накладывать*, *укладаться*, *излажаться* и под. См. у Гедеона: *откидают* (I, 91), *смочала* (II, 201). Автор проходит мимо диалектного суффикса *-ы* в наречиях. Такие образования возможны в средневеликорусских и северновеликорусских говорах: *всюды* (III, 75), *куды* (IV, 141), *сюды* (I, 256), *туды* (II, 69), *отсюды* (II, 259), *откуды* (I, 160), *отсюды* (IV, 36), *оттуды* (II, 3).

Обращает внимание лексика Гедеона. В составе ее встречаются слова северновеликорусского или средневеликорусского происхождения. Некоторые из таких слов церковнославянского происхождения, но встречаются в то же время и в русских говорах, и можно думать, что употребление их Гедеоном подкреплялось его родным говором. Приведем некоторые факты. Глагол *разорил* (IV, 127) во втором издании исправлен в соответствии с этимологическим *орити* — *разорити*. В северновеликорусском наречии употребляется как глагол *разорить*, так и *зорить* «разрушать». *Узол* (I, 164) — церковнославянское; у Даля помета: *вост. Наднять, надымать* (I, 35; I, 94) — церковнославянское; у Даля: «ненасыть маненько наднялось» с пометой *казанск. Озобать* (I, 24) — церковнославянское, но в северновеликорусском наречии также — *озобать*. Даль отмечает производное от *зоб*: *озобок*, помета: *владим. Состреляться* (I, 84), по Далю — *арх.*; в Ярославской обл. — *стрелить* (кого?). *Рассмаковать* (II, 15), у Даля *смаковать*, помета: *юж., зап., прм., влд., кстр.* *Оболюсь* (II, 197), в северновеликорусском наречии — *оболюко*, *оболюкаться* с богатым составом производных.

Мы привели факты, показывающие связь языка печатных книг Гедеона с северновеликорусским наречием и средневеликорусскими говорами. Думается, что они более убедительны, чем те, которые приводит Чельберг для доказательства связи языка Гедеона с московским наречием. Возникает вопрос, кому принадлежат данные особенности — речи наборщиков или речи самого Гедеона. Вероятнее всего, автору проповедей. Казань, родина Гедеона, лежит в зоне владимирско-поволжских говоров. Если говор Казани не содержит всех перечисленных особенностей, то ведь вполне допустимо предположение, что они были унаследованы Гедеоном от родителей, которые могли быть уроженцами сельской местности. В этом случае не актуален вопрос, «кака» или нет Гедеон. Вероятнее всего, пребывание в Москве и при дворе не повлияло на речь

Русская диалектология, М. — Л., 1928, стр. 88. См. также Н. М. Васнецов, Материалы для объяснительного областного словаря Вятского говора. Вятка, 1908; в приводимой автором лексике префикс *с/со* соответствует литературным *за* и *по*: *сцрикать* «зашкрикать» (стр. 310), *состонать* «застонать» (стр. 298), *сметить* «заметить» (стр. 295), *сболеть* «заболеть» (стр. 285), *сознакомить* «познакомить» (стр. 297), *совердить* «повредить» (стр. 296) и т. д.

⁸ Список таких образований для начала XIX в. см. у Л. А. Булаховского («Русский литературный язык первой половины XIX века. Фонетика, морфология, ударение, синтаксис», М., 1954, стр. 96—97).

⁹ См. С. А. Копорский, О говоре севера Пошехонско-Володарского уезда Ярославской губернии, «Труды Ярославск. пед. ин-та», 1929, стр. 122.

¹⁰ С. А. Еремин и И. А. Фалев,

Гедеона, и он продолжал «говорить на о»: ведь даже высшее духовенство в XVIII в. вело жизнь обособленно от аристократии, сохраняя оканье. Но в печать указанные особенности могли проникнуть только при поддержке существующей орфографической традиции с ее колебаниями, объясняемыми недостаточным развитием орфографии. Есть основания утверждать, что в 60-х годах XVIII в. в некоторых изданиях еще сохранялись особенности орфографии первой половины XVIII в.¹¹

В заключение следует сказать, что исследование Л. Чельберга дает интересный материал для характеристики ряда процессов в русском литературном языке XVIII в. Особенно ценно в этом отношении сопоставление автором двух изданий проповедей Гедеона.

С. А. Копорский

A. Kent. Machine literature searching and translation — an analytical review. — Cleveland (Ohio), 1959. 179 стр. [ротанпрвт].

В серии подготовительных материалов к Международной конференции по машинным и информационным языкам и по машинному переводу, состоявшейся в сентябре 1959 г. в городе Кливленде, был выпущен справочник библиографического характера, отражающий современное состояние исследований по машинным и информационным языкам и по машинному переводу. Весь сборник делится на две части: первая посвящена машинно-инфор-

мационному поиску и автоматическому реферированию, вторая — машинному переводу текстов с одного языка на другой. Каждая из этих частей в свою очередь организована следующим образом: вначале идет краткая преамбула, в которой сообщаются задачи применения машин к обработке текстов и специфика этого применения, а также в общей форме говорится о достигнутых результатах; за вступлением следует подробный (построенный в виде таблицы) обзор исследований, посвященных данной проблеме, с указанием фамилии исследователя, учреждения, страны, используемого языка и названия статьи или доклада. Большинство сообщений снабжено краткой аннотацией.

В первой части справочника говорится о машинном поиске литературы и о построении информационных языков. Подчеркивая важность исследований по данной проблеме, автор справедливо отмечает недостаточность результатов по сравнению с начатыми в то же время исследованиями по машинному переводу как таковому. Причину этого отставания А. Кент видит в отсутствии (за очень небольшими исключениями) контакта между исследователями в этих двух сферах. Будучи одним из авторов наиболее капитального труда по машинному поиску литературы², Кент как бы подводит итог работам в этой области. Особый интерес вызывают сообщения о главных проблемах и трудностях в области: а) ввода информации, б) кодирования для машинного поиска.

Вторая часть — обзор достижений по машинному переводу, который в целом представляется автору состоящим из четырех основных направлений: 1) кодирование абстрактов, написанных на естественном языке, на языке машины; 2) разработка пословного перевода, при котором неясности и многозначность устраняются постредактором-специалистом; 3) разработка пословного перевода, при котором многозначность устраняется в процессе автоматической обработки текста; 4) построение искусственного языка посредника, являющегося как бы мостом между языком входного текста и языком выходного текста.

Дополнительно автор указывает на спонтанские трудности машинного перевода, которые устраняются следующим путем: определением части речи всех слов текста, изменением порядка слов, выбором оптимального лексического значения с анализом окружающего контекста, подготовкой микрословарей-иллюстраторов. Приводимая далее литература (323 на-

¹¹ Например, изданный в 60-е годы перевод Тредьяковского «Римской истории» П. Роллева содержит ряд особенностей, которые характерны для первого издания проповедей Гедеона. Но особенно интересны в этом отношении «Указы вверсвельнейшей, державнейшей, великой государыни императрицы Екатерины Алексеевны» (М., 1763). Вот некоторые примеры из этой книги: *росолы* (рассолы), *роспросам* (177); *проишествии* (22), *присудственных мест* (119); *изъяны* (110); *во взятые* (103), *уложенья* (183), *по доношения* (7), *изъятия* (61); *в Казане* (176); *никуда* (96); *сенюкосу* (197); *подряду* — род. падеж (107), *из подушного збору* (84), *с начала выходу* (194); *два рубли* (85), *три рубли* (84); *Василей* (39), *прошеней* — род. падеж мн. числа (35); *с товарищи* (180); *в докладах* (6), *е... городех* (59), *но и в городах* (190); в заимствованиях: *маскиными кистями* (58) *ундер-офицеров* (54), *гасуругов* (165), *каван* (148), *маштан* (154), *гидроулике* (151). Прилагательные в род. падеже ед. числа муж. и ср. родов последовательно имеют *-аго/-яго*: *императорскаго* (14), *пожарнаго* (случаю) (190), *верьянаго* класса (162), *всякаго* (61) и т. д. Как исключение: *из белова каменна* (156), *у прописного* (176). Окончания им. падежа муж. рода ед. числа употребляются в двух вариантах со стилистической дифференциацией: *нижеименованный* (из присяги) (4), *правительствующий* Сенат (26), *по каждой* ... *разумной* и *благонамеренной* сын отечества (137), *пятой* и *шестой* пункты (134) и т. д.

¹ Единственным примером соединения этой проблематики, как указывает А. Кент, является доклад В. я. ч. В. II в. а. н. о. в. а. о лингвистических проблемах машинного перевода для информационных машин, прочитанный на конференции в Москве 7 мая 1957 г.

² J. W. Perry, A. Kent, M. M. Berry. Machine literature searching, New York — London, 1956.

званием) даст достаточно полную картину основных тем и достижений по машинному переводу. Показательно, что СССР, согласно этим данным, занимает по разработке указанных проблем первое место — 172 работы принадлежат советским ученым.

Изданный справочник безусловно полезен и нужен. Он в некоторых отношениях выгодно отличается от более теоретического, но менее объективного обзора по тем же темам, написанного И. Бар-Хиллелом³; форму организации подаваемой литературы также следует считать вполне удачной. Однако составителям можно сделать ряд упреков. Автор сообщает не всегда точные сведения (в частности, о советских исследователях, работающих в отдельных коллективах). Запись и обработка статей и докладов не в должной мере единообразна; не все издания аннотированы. В разделе, посвященном машинному переводу, приводятся статьи о построении информационных языков⁴, и, наоборот, в первом разделе мы находим работы различных ученых о машинном переводе.

В заключение отметим, что выход в свет этого необходимого справочника еще раз указывает на насущную потребность в создании и выпуске двух достаточно полных и серьезных изданий, посвященных рассматриваемым проблемам: 1) полной библиографии работ по применению машин для обработки языковых текстов; 2) исследования монографического характера, обобщающего все достижения по этим вопросам за последние 10 лет.

Т. М. Николаева

М. Ф. Фазылов. Изобразительные слова в таджикском языке. Отв. ред. В. А. Лифшиц. — Сталинабад, 1958. 188 стр. (Ин-т языка и лит-ры АН Тадж. ССР).

За последние годы на Восточном факультете Ленинградского ун-та записано несколько кандидатских диссертаций, посвященных исследованию особой группы слов в восточных языках, именуемых то как изобразительные, то как звукоподражательные, то как междометные (таджикский язык, корейский, монгольский, туркменский). «Изобразительными» называются подобные слова и в одной из очень интересных теоретических работ Д. В. Бубриха¹, а также и в рецензируемой книге.

М. Ф. Фазылов поставил перед собой задачу систематизировать изобразительные слова, употребляемые в современном таджикском

языке и в одном из таджикских говоров (канибадамском), а также определить место этой группы слов в составе таджикской грамматики. В словаре, занимающем более половины всей работы (стр. 63—140), приводится большое количество изобразительных слов, подкрепленных многочисленными примерами из произведений современных таджикских писателей. Несколько менее убедительными, в какой-то мере искусственными в силу своего однообразия, представляются примеры из родного для автора книги канибадамского говора, приводимые здесь для сравнения. Следовало бы эти примеры из словарных статей перенести в приложение (первое), где автором даны примеры из другого, близкого канибадамскому, говора Чорку, а также примеры из трех говоров юго-восточной группы — ховалингского, тавильдаринского и калайхумбского².

Приложение второе (стр. 161—185) содержит материалы для словаря изобразительных слов узбекского языка, почерпнутых из современной узбекской лит-ры.

Книга «Изобразительные слова в таджикском языке» делится на ряд небольших глав, в которых последовательно рассматриваются семантические и фонетические особенности изобразительных слов, морфологические аффиксы изобразительных слов, образование имен существительных и прилагательных от этих слов, изобразительные слова в предложении и две небольшие главы, в которых таджикские изобразительные слова сравниваются с такими же в узбекском и русском языках.

Как можно видеть по этому перечню, материал дает представление о различных функциях и формах изобразительных слов в таджикском языке. Наиболее сильной и оригинальной частью работы представляются главы, посвященные семантике и фонетике изобразительных слов, а также глава об аффиксации. Интересны наблюдения и выводы автора относительно той роли, которую играет характер гласного и согласного звуков в изобразительных словах для передачи различных оттенков природных звуков и шумов: *tan-tan*, — пишет автор, — не означает просто «стук», а изображает определенные звуки: удар твердым предметом о что-либо мягкое... *тух-тух* — с гласным *у* — передает звук, также образующийся при ударе деревянным предметом о твердую поверхность, но не плашмя, а только концом предмета» (стр. 31). Интересно замечание автора о том, что изобразительные слова с гласным *у* образуют сравнительно небольшую группу слов, причем гласный *о* в этих словах почти не встречается, а гласный *е* не отмечен вовсе (стр. 33).

Приводимая автором семантическая классификация изобразительных слов вполне удовлетворительна; именно эта классифи-

² К сожалению, примеры из говоров тавильдаринского и калайхумбского содержат неточности, к тому же нет никаких указаний на то, где и от кого они записаны, что также снижает достоверность.

³ Y. Bar-Hillel, Report on state of machine translation in the United States and Great Britain, Jerusalem, 1959 [mimeogr. изд.].

⁴ См., например, В. Я. В. Иванов, Лингвистические вопросы создания машинного языка для информационной машины, сб. «Материалы по машинному переводу», I, Л., 1958.

¹ Д. В. Бубрих, К проблеме изобразительной речи, «Уч. зап. Карело-фин. гос. ун-та», т. III, вып. I (1948), 1949.

кация, предложенная автором, в настоящее время принята в школьных и вузовских грамматиках таджикского языка.

Менее убедительной представляется нам глава, посвященная образованию имен существительных и прилагательных от изобразительных слов. В особенности спорным является утверждение автора об образовании от изобразительных слов прилагательных и возникновении у них функций определения (стр. 35, 48). В качестве примеров «изобразительного» прилагательного автор приводит два слова: *гарч* «скрипучий» и *шалақ* «расплатанный», но при этом неясно, на каком основании автор относит последнее из них в разряд изобразительных слов, отмечая тут же факт изменения слова *шалақ* по степеням сравнения. Поскольку же нет оснований считать слово *шалақ* изобразительным словом, постольку нельзя делать и общий вывод о том, что изобразительные слова могут изменяться по степеням сравнения. Что же касается утверждения автора о том, что изобразительные слова могут выступать в функции определения (стр. 48), то и здесь следовало бы говорить об этом менее категорично и не ставить эту функцию изобразительных слов в один ряд с их более важной функцией — выражением обстоятельства образа действия. Это в равной мере относится и к другим функциям, приписываемым автором изобразительным словам, а именно — к выражению прямого или косвенного дополнения (стр. 48).

Д. В. Бубрих в упомянутой выше работе писал, что такие слова, как *голос*, *звук*, выступают при изобразительных словах с ослабленной семантикой, как бы «держателем» изобразительного слова. Это положение хорошо прослеживается на материале таджикских изобразительных слов: *садои гумбур-гумбур* «звук грохота, грохот», *садои ша-шаг боридани жсла* «звук падения с шорохом града», *свози чарс-чарс сўзтани хезима* «звук треска горящих дров». В подобных примерах слова *садо*, *овоз* («воз») «звук, голос» выступают не как определяемые, а как «держатели» изобразительных слов, не имея самостоятельного значения. Примеров же употребления изобразительных слов в качестве определения без слов *овоз* или *садо* чрезвычайно мало.

Во введении к своей работе автор приводит довольно обширное извлечение из грамматики разговорного кабули (афганско-персидский) Фархади³, касающегося изобразительных слов. В дальнейшем исследовании автор много раз ссылается на кабули. Однако автор обходит молчанием ряд работ, в которых также нашли свое отражение описание изобразительных (звукоподражательных) слов и приводятся многочисленные примеры из других иранских языков или говоров таджикского языка. Среди подобных работ можно назвать «Ягнобские этюды» Н. Г. Залема-

на (корректурные листы хранятся в Архиве Института востоковедения АН СССР, и недавний экземпляр этой работы был опубликован Бенвенистом⁴), где приводятся большое число изобразительных слов с суффиксом *-аст* в ягнобском языке. Этими же словами с суффиксом *-аст* интересовался и М. С. Андреев⁵, а также В. Иванов, отметивший этот суффикс в одном из старых литературных памятников⁶. Указанный суффикс описан и в работах по каратегинским и дарвазским говорам таджикского языка. Мы особо отметили эти работы, поскольку их авторы специально подчеркивают наличие суффикса *-аст* в звукоподражательных словах. Этот же суффикс встречается и в некоторых группах осетинских слов. Все это лишь раз подчеркивает выдвинутую рядом авторов гипотезу о том, что юго-восточные говоры таджикского языка вобрали в себя некоторые элементы из восточно-иранских языков, что способствовало своеобразию этих говоров по сравнению с северо-западными говорами (в этих говорах изобразительные слова оформляются суффиксом *-ос/-ас*, который закрепился и в литературном таджикском языке). Этот интересный вопрос не нашел отражения в работе М. Ф. Фазылова, который даже не упоминает о суффиксе *-аст*, хотя в примерах из юго-восточных говоров, приведенных им в приложении, имеется целый ряд слов, оформленных суффиксом *-аст*.

В одной из последних глав, рассматривая таджикские изобразительные слова сравнительно с узбекскими, автор приходит к правильному выводу о близости этих слов в обоих языках, как по своим формам и фонетическому облику, так и по синтаксическому употреблению. Вместе с тем М. Ф. Фазылов указывает и на те особенности, которые отличают таджикские изобразительные слова от узбекских.

Последняя, восьмая, глава посвящена рассмотрению изобразительных слов в таджикском и русском языках. Здесь автор делает попытку передать авторские ремарки к последнему действию «Вшпиево-го сада» А. П. Чехова на таджикском языке. Однако этот перевод, принадлежащий М. Ф. Фазылову, нельзя считать адекватным оригиналу. Автор вообще придерживается той точки зрения, что изобразительные слова занимают скромное место в русской лексике, в языке художественной литературы и почти полностью отсутствуют в бытовой речи взрослых русских (стр. 59). Мне представляется, что этот вопрос следует рассматривать, исходя из различных стилей и жанров того или иного языка, и в частности русского. Так, в русской ли-

⁴ E. Benveniste, Un lexique du yagnobi, «Journal asiatique», t. CCXLIII, fasc. 2, 1955.

⁵ М. С. Андреев. По этнологии Афганстана. Ташкент, 1927, стр. 91.

⁶ W. Ivanov. Tabaqat of Ansari in the old language of Herat, «Journal of the Royal asiatic society», pt. I, II, 1923.

³ A b d u l - G h a f ū r F a r h ā d i, Le persan parlé en Afghanistan. Grammaire du kaboli, Paris, 1955.

температуре для детей изобразительные слова встречаются на каждой строчке: *дили бом, дили бом, загорелся кошкнн дом!*...; *а оттуди «пых!»*!; ср. также произведения К. Чуковского, С. Маршака, А. Барто и др. Сюда же относятся и басни Крылова или такой, например, рассказ, как «Ю-Ю» А. Куригина. Но не только в детской литературе мы находим изобразительные слова, и у русских классиков можно найти множество примеров употребления изобразительных слов⁷. При этом следует отметить, что до сих пор не установлено, к какой категории частей речи относятся изобразительные слова в русском языке, отсутствует и единая терминология. Одни авторы относят эти слова к междометиям, выделяя группу звукоподражательных слов, другие — к глагольным междометиям. Во всяком случае этот вопрос привлечет еще неоднократно внимание исследователей.

Книга М. Ф. Фазылова по-новому освещает всю проблему изобразительных слов. Основная на большом материале эта книга представляет ценный вклад в таджикское языкознание и представит большой интерес не только для лингвистов, но и для широких кругов лингвистов.

А. З. Розенфельд

«On Translation». Ed. R. A. Brower.—Cambridge (Mass.), Harvard university press.—1959. 297 стр. («Harvard studies in comparative literature founded by W. H. Schofield», 23).

Рецензируемая книга представляет собой сборник статей, посвященных переводу в самом широком смысле этого слова и рассматривающих его с разных точек зрения. В предисловии редактора перевод определяется как одна из основных проблем человеческого общения: та или иная форма перевода обязательно предполагает не только изучение иностранного языка и овладение родным языком, но и всякое выражение и сообщение мыслей, всякое усвоение выраженного другими, всякое приобретение опыта. Поэтому вполне понятна необходимость рассмотрения перевода с точек зрения: 1) сравнительного литературоведения, 2) истории мысли и культуры, 3) философии (собственно, «лингво-философии», или философии языка) и 4) языкознания.

Книга подразделяется на три части: 1) «Переводчики о переводе» (стр. 11—133); в эту часть включены конкретные исследования переводов в виде отчетов их авто-

ров — выдающихся переводчиков с разнообразных языков и в различных жанрах; 2) «Разные подходы к проблеме» (стр. 137—267); сюда входят статьи, в которых в обобщенно-теоретическом виде разбираются проблемы, затрагивавшиеся лишь в связи с анализом конкретного материала в работах первой части. Широкий охват разных подходов, включение таких крайних аспектов, как истолкование художественного творчества в различных культурно-исторических контекстах, с одной стороны, и опыты машинного перевода, с другой — вот то основное, что характеризует статьи, включенные в эту часть; 3) «Аннотированная библиография работ по теории перевода» (стр. 271—297) составлена в хронологическом порядке — от выдержек из Цицерона и Горация до «Тезисов Конференции по машинному переводу» (состоявшейся в Москве в мае 1958 г.). В кратком предисловии автор библиографии Б. К. Морган дает характеристику эволюции взглядов на перевод и основных направлений в теории как прозаического, так и поэтического перевода. Он находит возможным свести все разнообразие высказываний, содержащихся в собранной и аннотированной им литературе, к следующим трем тезисам: 1) хороший перевод требует знания иностранного языка и его реалий и искусного владения тем языком, на который переводят, потому что перевод в такой же мере является произведением искусства, как и оригинал; 2) в своей работе переводчик может руководствоваться только собственным вкусом и полагаться только на свой талант, так как он лишен объективных критериев для определения характера воздействия оригинала на первоначальную аудиторию и, следовательно, для объективного определения того, насколько воздействие его «версии» соответствует тому, какое имел на своих читателей или свою публику оригинал, и 3) подобно актеру, переводчик обращается к живой современной аудитории, почему модернизация переводов является совершенно необходимой.

Переходя к критическому рассмотрению первой и второй частей книги, представляется целесообразным не придерживаться принятого в ней порядка и сгруппировать статьи следующим образом: 1) проблемы перевода художественной литературы и особенно поэзии. Сюда надо будет отнести, во-первых, статьи, трактующие общие вопросы теории художественного перевода (т. е. разнообразные вопросы, связанные с интерпретацией художественных произведений), и, далее, связанные с этой проблемой различные конкретные вопросы — рассмотрение традиций художественного перевода, преобладающих в тот или иной исторический период, и т. п.; 2) лингво-философский и лингвистический аспект перевода, начиная от общесемантических вопросов, затем переходя к вопросам сопоставления конкретных языков и кончая специфическими задачами «автоматического» перевода.

Большая часть статей сборника посвящена первой из этих проблем, т. е. пробле-

⁷ Большое количество примеров приводится в специальной работе А. П. Германовича «Звукоподражания и звукоподражательные слова русского языка», «Известия Крымского пед. ин-та им. М. В. Фрунзе», т. XII, 1947, а также в книге В. А. Трофимова «Современный русский литературный язык. Морфология», Л., 1957, стр. 171—174, 274—276; в книге «Современный русский язык. Морфология (Курс лекций)», Изд-во МГУ, 1952, стр. 491—493.

ме художественного перевода. В статье «Версии, интерпретации и исполнения» («Versions, interpretations and performances») Д. Ж. Холландер исходит из принципиальной невозможности сведения «знания», содержания художественного произведения к простой сумме значений его частей. Поэтому художественный перевод, по его мнению, не может ограничиваться простым раскрытием значения отдельных предложений или фраз. Это — либо первая ступень в процессе художественного перевода (тогда это предварительная передача на своеобразный «язык значений», своего рода «кости», которыми приходится воспользоваться для того, чтобы научиться ходить), либо подстрочник, изготовляемый для учебных целей. Перевод в собственном смысле, по мнению Холландера, начинается только после того, как значение выслушано, схвачено, «освобождено» и начинает находить свое новое воплощение. Таким образом, художественный перевод выступает как создание новой версии произведения, как своего рода вариация на тему, подобно тому как, например, «тема» Лира или Отелло оказывается транспонированной в хореографию.

Место художественного перевода среди различных видов эстетической интерпретации (игра актера, работа постановщика, композитора, пишущего музыку для пьесы или балета, и т. п.) рассматривается в статье Р. Поджиоли «The added artificer» (английская перефразировка латинского *artifex additus artificii*). Специалиста переводчика по сравнению с другими «интерпретаторами» в том, что он пользуется теми же средствами, той же материальной средой, что и создатель оригинала. Но поскольку он занят художественной интерпретацией, то, по мнению Р. Поджиоли, его деятельность не может быть не чем иным, как транспозицией чужой эстетической индивидуальности в свою собственную. («Подобно автору оригинала, переводчик является Нарциссом, рассматривающим свое изображение не в роднике природы, а в бассейне искусства».) Отсюда — естественное выживание во главу угла проблемы самовыражения и привлечение всей той весьма туманной терминологии, которую невозможно переводить с одного языка на другой и которой пользуются, когда пытаются проникнуть в «таинство» эстетического переживания и выражения. Но автор не ограничивается подобными моментами общеэстетического характера в вопросе о художественном переводе. Он указывает также на необходимость учитывать роль переводчика как разъяснителя, воспитателя и т. п., помогающего национальным литературам возобновляться и возрождаться, иногда даже «спасающего» их от неизбежной гибели вследствие самоподражания.

Статья редактора сборника Р. А. Брауэра «Семь Агамемнонов» посвящена исследованию шести разных переводов Эсхилова «Агамемнона» на английский язык, начиная с XVI века. Автор показывает, как на этих переводах отразились воззрения

каждой из эпох и как путем подобного рода исследований можно изучать изменения, непрерывно происходящие в данном обществе во взглядах на поэзию, ее правила, на свойства поэтического языка. Сопоставительное изучение различных переводов имеет, следовательно, значение для истории литературы и истории мысли, истории идей.

Остальные статьи этого цикла посвящены анализу отдельных конкретных переводов без попыток широких обобщений. Интересная статья Д. Найта посвящена исследованию знаменитого перевода «Илиады» и «Одиссеи» Гомера А. Поупом. Найт раскрывает причины огромного успеха этого перевода, те его качества, которые делают его важным культурно-историческим памятником. В статье «Поэтические нюансы» Д. Фиттс на разнообразном и интересном материале вполне убедительно обосновывает свое понимание художественного перевода: поэтический перевод не сводится к передаче идей и образов; он обязательно должен передавать оттенки речевого построения, звука, тона. Конечно, переводчик поэзии должен обладать достаточной стиховедческой подготовкой для того, чтобы ему была ясна внутренняя механика, стихотворческий механизм подлинника. Но он непременно должен быть и сам в такой степени поэтом, чтобы его перевод был поэтическим произведением, а не набором выписок и толкований кропотливого и поэтически неодаренного комментатора. Фиттс решительно восстанавливает против нигилистического взгляда на художественный перевод и вместе с тем подвергает критике «метод Набокова», об идеях которого можно судить по включенной в рецензируемый сборник статье «Путь рабского подражания».

Вопросы поэтического перевода обсуждаются Д. Ж. Метьюсом в статье «Мысли о переводе поэзии» в связи с рассмотрением переводов Э. Паунда с китайского и в связи с анализом высказываний П. Валери по вопросам перевода. Очень интересны и насыщены тщательно проанализированным материалом статьи Р. Латмора «Практические замечания о переводе греческой поэзии» и Р. Хамфриза «Латинский и английский стих — некоторые практические соображения».

Как уже было сказано выше, лингво-философский и лингвистический аспект проблемы перевода освещается в сборнике очень широко. В статье «Значение и перевод» У. В. Кэпайн подвергает обстоятельному рассмотрению проблему сопоставления значений в разных языках, которая становится тем более сложной, чем меньше возможность выведения их из невербальных стимулов, т. е. из неязыковых ситуаций, и чем дальше друг от друга сравниваемые языки в генетическом и культурно-историческом отношениях. Возможность корреляции значений на сопоставляемых языках через внеязыковую ситуацию дает эмпирическое значение, которое может определяться без- (или вне-)

языковыми реакциями на высказывания в данной ситуации.

То, что именно проблема значения является основной при обращении к вопросам перевода с точки зрения языкознания, вполне подтверждается статьей Р. Якобсона «О лингвистических аспектах перевода». Полемизируя с Расселом (утверждающим, что для того, чтобы понять слово, необходимо быть знакомым с обозначаемым им предметом), Якобсон настаивает на том, что значение есть лингвистический, точнее — семиотический факт. Поэтому как для языковедов, так и для всех, естественно пользующихся языками, значение лингвистического знака (конкретно — слова) есть не что иное, как перевод его посредством другого знака, обычно знака, полное развитие. Перевод бывает трех видов: 1) внутриязыковой, т. е. истолкование словесных знаков посредством других знаков того же языка; 2) межъязыковой, т. е. собственно перевод или истолкование словесных знаков языка посредством словесных же знаков другого языка; 3) интересемиотический, или «трансмутация» (transmutation), т. е. истолкование словесных знаков посредством несловесных (non-verbal) знаковых систем. Наиболее распространенный и до сих пор практически наиболее важный вид перевода — перевод межъязыковой — обычно предполагает не замену отдельных знаков одного языка отдельными знаками другого языка как кодовых единиц, а замену целых сообщений им сообщениями на другом, т. е. эквивалентность при различии. Это и есть основная проблема языка и основной предмет лингвистики, так как без этого невозможно ни описание языков, ни их сравнение, ни составление словарей и двуязычных грамматик.

Все, что доступно познанию, может быть выражено на любом из существующих языков. Отсутствие грамматического соответствия может быть восполнено лексическими средствами. Отсутствие специальных выражений легко восполняется заимствованиями, кальками, неологизмами, семантическими сдвигами и описаниями. Поскольку языки различаются прежде всего не тем, что они могут выразить, а тем, что они обязательно должны выразить, многократный перевод сообщения в пределах двух языков приведет к его обеднению. Однако чем полнее контекст, тем меньше будет потеря информации.

Способность говорить на данном языке подразумевает способность говорить и об этом языке; познавательный (или интеллектуальный) уровень языка не только допускает, но и требует интерпретации через перемену кода или перевод. Поэтому на познавательном или интеллектуальном уровне не может быть и речи о непереводимости. Но в мифологии, магических формулах, поэзии и т. п. положение коренным образом меняется. Здесь речь идет уже не о переводе в собственном смысле, а о творческой транспозиции, которая тоже может быть трех видов, т. е.: 1) внутриязыковой транс-

позицией — из одной поэтической формы в другую; 2) межъязыковой транспозицией — из одного языка в другой; 3) интересемиотической транспозицией — из одной системы знаков в другую, т. е. из сферы художественного слова в музыку, танец, кинематограф или живопись.

Статья известного лингвиста и миссионера Э. Найда «Принципы перевода (на примере перевода библии)» дает развернутую систему принципов и определений, выведенных из богатейшего опыта перевода библии на разнообразнейшие языки. Э. Найда начинает изложение с характеристики этнолингвистической структуры коммуникации при двух-, а затем трехъязыковой модели. Различия собственно языковые наиболее рельефно проявляются: 1) в различных классификациях слов (несовпадения классов слов и связанных с ними обобщенных значений); 2) в различных системах грамматических категорий, особенно в плане несопадения обязательной грамматической информации. [Например, перевод IV, 3 от Матфея на Вилла Алты оказался затруднительным вследствие того, что на этом диалекте языка запотек (южная Мексика) обязательной грамматической информацией является противопоставление впервые совершаемого и повторного действия; а узнать, посещал ли Христос Капернаум до описываемого там случая, нет возможности]; 3) в различном соотношении абстрактных и конкретных слов; 4) в различных семантической структуры слов (несовпадение их семантических сфер); 5) в специфике фразеологических связей (эндоцентрические и экзоцентрические конструкции на семантическом уровне); 6) в различных соотношениях лингвистической формы и семантической функции и др.

В сборнике помещена статья А. Фанта «Некоторые мысли о трудностях перевода», посвященная общим и специфическим трудностям перевода с китайского языка, и статья Ю. О'Брайена «От английского к французскому», рассматривающая проблемы, которые возникают при сопоставлении французского и английского, т. е. языков, близко связанных как генетически, так и культурно-исторически. Интересны краткие заметки Э. Мюра «Перевод с немецкого».

Сборник заканчивается статьей известного специалиста по вопросам математической лингвистики и автоматического перевода А. Г. Эттингера под названием «Automatic transference, translation, remittance, shunting». Статья рассчитана на широкого читателя неспециалиста и является прекрасным введением в предмет и его популяризацией.

Можно надеяться, что сделанный по необходимости далеко не полный обзор материалов этого очень интересного сборника все же даст представление о различных подходах к проблеме перевода, которая действительно выдвигается теперь на одно из центральных мест в ряду основных проблем языкознания.

О. С. Азманова

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ *

Круг моих научных работ носит, преимущественно, литературоведческий характер. Поэтому ограничиваюсь здесь информацией лишь о тех филологических студиях, которые, вероятно, могут представить интерес для читателей лингвистического журнала.

Прежде всего это работа над переводом «Авесты», которым занимаюсь последние восемь лет. Предполагаю начать публикацию переводов с 1961—1962 гг., — вначале «Яшты», затем «Гаты», а потом уже другие части «Авесты». В исследовании «Яштов» считаю плодотворным обращение к архаическим элементам таджикского фольклора, что частично мною осуществлено в монографии «Из истории таджикской народной поэзии» (М., 1956). Наибольшую сложность представляет, конечно, перевод «Гат». Показательно, что за последние несколько лет появились три новых перевода «Гат». Трудности перевода, на мой взгляд, не только и не столько лингвистические, сколько мировоззренческие. Когда в «темных местах» «Гат» видят выражение абстрактно-мистических понятий, то, по моему, добраться до истины невозможно: главы же об анимизме у доброго старого Тейлора помогают большие пных хитроумных гипотез. В настоящее время, однако, предпочитаю ограничиться лишь этим кратким замечанием и сосредоточить усилия на завершении перевода с аргументированным его обоснованием.

Заканчивая в этом году текстологические замечания к редактируемому мною тексту и русскому переводу стихов Рудакки, а также редактирование критического текста «Дивана» замечательного таджикского лирика XIV в. Камола Худжанди (критический текст составлен по шести старейшим рукописям; это тем более важно, что текст его «Дивана» полностью у нас еще ни разу не издавался). Продолжаю и всю семилетку буду осуществлять (в составе редколлегий из трех человек) редактирование том за томом критического текста

«Шахнамэ» — работу, начатую и завещанную Е. Э. Бертельсом и эффективно исполняемую коллективом молодых прагматистов.

И. С. Брагинский
(Москва)

Только что закончил II том своей книги «Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология», всецело посвященный проблематике глагола. В III томе будет исследована морфологическая проблематика местоимений и числительных, а также так называемых служебных частей речи. Особое внимание будет обращено на общелингвистическую проблематику местоимений.

В области славянской морфологии я работаю в настоящее время над вопросом грамматических времен. Представляется, что структурный подход к видо-временным формам славянского глагола и их значениям открывает некоторые новые перспективы, позволяющие во многом преодолеть традиционно «логическое» изложение таких грамматических понятий, как «настоящее» или «будущее» время.

Ближайшей своей задачей в области сравнительного и сопоставительного изучения славянских языков считаю создание университетского курса по русской лексикологии в сопоставлении с лексикологией чешской и словацкой. В основном содержание этого курса составит синхронный анализ лексики указанных языков с особым учетом живых приемов пополнения и расширения словарного состава исследуемых литературных и разговорных языков в сопоставительном плане.

Назревает вопрос создания пособия по истории русского языка для чехословацких университетов. До сих пор историко-лингвистические дисциплины разбиты по разным курсам: историческая грамматика (в основном, фонетика и морфология), историческая лексикология (обычно включаемая в курс лексикологии современного языка) и так называемая «история литературного языка» (с весьма расплывчатым предметом исследования). В условиях изучения русского языка за пределами СССР историко-лингвистические дисциплины должны быть, по нашему мнению, сосредоточены в одном лекционном цикле. Нель-

* В этом номере редакция продолжает публиковать сообщения ученых-лингвистов об их научной работе и планах на ближайшее будущее. Редакция обратилась также к зарубежным лингвистам с просьбой рассказать читателям журнала «Вопросы языкознания» об их научной работе.

зя изучать, скажем, историческую фонетику в отрыве от развития книжного языка древнейшего периода письменности на Руси, т. е. в отрыве от развития древнерусского письменного языка как такового. Поэтому в условиях постановки изучения русского языка в чехословацких университетах нам кажется вполне обоснованным создание общего курса «Истории русского языка», к которому я и намереваюсь приступить в ближайшее время.

Опыт, накопившийся в Чехословакии в процессе создания самых разнообразных типов славянских двуязычных словарей, не был до сих пор надлежащим образом использован и обобщен. Вместе с профессором Л. В. Конечким я предполагаю написать небольшую работу, посвященную «Вопросам славянской двуязычной лексикографии».

А. В. Исаченко
(Оломоуц)

Некоторые наблюдения, сделанные мною в процессе работы над книгой «L'arophonie en indo-européen», побудили меня заняться исследованием параллельных явлений в семитических языках. Одновременно имеется в виду цель — применить и испытать так называемый метод внутренней реконструкции в области неиндоевропейской семьи языков.

По моему мнению, как характер семантических изменений и передвижений, которым подвергаются грамматические категории флексии и словопроизводства, так и явления дифференциации и так называемой поляризации принципиально повсюду одинаковы, но доступны исследованию только в результате самого тщательного анализа грамматической формы. Единство это замаскировано именно разностью грамматических приемов.

Одним из этих приемов, важным для индоевропейских языков и самым важным для семитических, является чередование гласных. Термин «чередование» двусмыслен. Если чередование обусловлено фонетически (фонологически), употребляется выражение *альтернация*. Например, аканье в русском литературном языке является альтернативой *о : а*, обусловленной ударением. Если же имеют место условия морфологические, мы говорим об *апофонии*. Ср. русск. *вывести : вывод, привезти : привоз, донести : донос* и т. д. Чередование *е : о* обусловлено здесь определенной категорией производных слов, отглагольных основ на *-о-* (конечно, от корня с гласной *е*).

Альтернация может перейти в апофонию. Так, например, чередование *е : ъ* являлось сначала в русском языке альтернативой: *е > ъ* под ударением и одновременно перед твердым согласным. Но переход *ъ > е* отменил первое условие. Между *сѣла* и *[она] села* нет разницы фонетических условий. Таким образом, противоположность *село : мн. число сѣла* должна считаться *апофонией*, которая влечет за со-

бой случай *всегда : звѣзды* (где *е < ъ*) и прочие случаи, в которых переход *е > ъ* является добавочным признаком образования множественного числа, помимо разницы ударения. Но альтернатива может сохраниться рядом с создающейся апофонией. Такие примеры, как *платить : [он] платит (платит)* или (в просторечии) *пальто : пальта, посадить : посбдит*, возможно, являются предвестником будущей апофонии.

Таким образом, при исследовании апофонии в семитических языках следует строго различать явления, при которых фонетические условия еще налицо, и явления, при которых фонетические условия совершенно исчезли. Можно сказать, что здесь мы находимся в лучшем положении, чем исследуя сравнительную грамматику индоевропейских языков. Из четырех видов семитической апофонии, различаемых автором, а именно: 1) краткий гласный : нуль; 2) *и : і*; 3) *и, і : а*; 4) краткий гласный : долгий гласный — фонетические условия переходов 2-го и 4-го случаев в классическом арабском языке еще очевидны, в 3-м случае их нетрудно восстановить, в 1-м для 1-го случая они гипотетичны. Функцию апофонии эти чередования приобрели в морфологических оппозициях (противоположениях).

Самой важной задачей является восстановление правильных противоположений *А : В*, в которых форма *В* (производная или флексийная) детерминируется в данный момент формой *А* (в качестве ожидаемой формы). Нельзя, однако, сопоставлять две любые родственные формы.

Общей чертой обеих языковых семей является большая роль, какую играет *глагол* в создании и в распространении апофонических явлений. Таким образом, приходится исследовать глагольную систему — как восточную, так и западносемитическую (между которыми, как известно, существуют серьезные различия) с тем, чтобы, опираясь на их изучение, проникнуть в общесемитическую глагольную систему. Эта система состоит из нескольких парадигм, различающихся между собой вокалитической степенью; отглагольные же имена, в зависимости от категории, принимают ту или другую из этих степеней, встречаемых в спряжении.

Лишь вторично, посредством *глагольных форм*, качественная апофония (*и : і*; *и, і : а*) входит в отыменное словопроизводство, а в южносемитических языках даже в склонение (в виде так называемого внутреннего множественного числа, как, например, арабское *kutub : kutub*).

Количественная апофония, например *qatil : qatil*, характерна первично для отыменного словопроизводства. Удлинение гласной второго слога служило для образования абстрактных существительных от прилагательных. Здесь, наоборот, прием этот вторично использован и в отглагольном словопроизводстве.

После реконструкции старших стадий главной задачей является объяснение из-

меняющихся функций разных видов апофонии преимущественно, хотя и не исключительно, в связи с эволюцией глагольной системы, которая подвергается сильным изменениям не только в аккадском, но и в более консервативной западной ветви семитических языков. Внутри этой последней изменения в спряжении продолжают, приводя к замечательным различиям в функциях апофонических приемов между арабским и еврейским и т. д.

Е. Р. Курилович
(Краков)

В настоящее время я работаю над темой «Взаимодействие языков и теория субстрата». В ближайшем будущем намереваюсь заняться изучением микенских надписей. Приступил к изучению истории урартоведения, результаты исследования думаю обобщить в статье, подобной моим «Очеркам по изучению хеттского пероглифического языка» («Иберийско-кавказское языкознание», т. IX—X, Тбилиси, 1958). Готовлю также обстоятельные рецензии на книги «Исследования по сравнительно-историческому языкознанию» В. Георгиева и «Язык и культура Микенской Греции» С. Я. Лурье.

М. Я. Немировский
(Ростов-на-Дону)

Моя работа по сербскохорватской лингвистике в настоящее время, как и до сих пор, обусловлена уровнем развития югославской славистики, в первую очередь сербскохорватской. Одна из основных характерных черт югославской лингвистики — это использование устарелых методов, применявшихся в зарубежной лингвистике примерно в начале XX в. В силу этого главной задачей югославской лингвистики в настоящий момент является, по моему мнению, коренная реорганизация методологического характера, модернизация югославской лингвистики и достижение интернационального уровня. В соответствии с этим я считаю своим основным долгом бороться, насколько возможно, не только теоретически, но и практически за эту реорганизацию. Все мои труды, над которыми я сейчас работаю или которые находятся в фазе планирования, подчинены этой цели. Перехожу к конкретной стороне вопроса.

Одна из важнейших характерных черт современного языкознания — это, несомненно, учет достижений лингвистической географии. Однако в югославской славистике метод лингвистической географии не представлен. Стремясь восполнить этот пробел, я уже опубликовал некоторые работы по сербскохорватской лингвистической географии¹, а в близком будущем

планирую также целый ряд исследований, посвященных лингвистико-географическому изучению элементов сербскохорватского и других южнославянских языков, прежде всего лексических (в немецком падении мосей «История сербскохорватского языка», которая выйдет в свет в ближайшее время, большое внимание уделяется именно этому вопросу). Речь идет об изоглоссах, особенно изоглоссах, связывающих так или иначе территории распространения сербскохорватского и прочих южнославянских языков с остальными славянскими областями. Хотя я непосредственно и не участвую в составлении славянского лингвистического атласа, тем не менее я стремлюсь своими индивидуальными трудами всемерно содействовать включению сербскохорватской славистики в работу над атласом². В тесной связи с вышесказанным стоит необходимость коренным образом реформировать сербскохорватскую диалектологию в направлении применения лингвистико-географического метода к исследованиям сербскохорватских диалектов. До нашего времени сербскохорватские диалекты исследуются почти исключительно путем монографического фиксирования отдельных диалектов и говоров, причем, конечно, полученная картина является в очень большой степени субъективной. Поэтому я попытался — хотя в небольшом объеме — картографировать изоглоссы и показать связь развития сербскохорватских диалектов с историей их носителей³. В настоящее время я подготовил к печати обширную монографию, которая, как я ожидаю, покажет значение южнославянских изоглосс для изучения славянской лингвистической географии в целом, а также преимущество этого современного лингвистического метода в области исследований сербскохорватского и прочих южнославянских языков.

Еще один недостаток сербскохорватской славистики — это отсутствие систематической работы по лексике (за исключением лексикографии как таковой); до сих пор югославские лингвисты исследовали почти исключительно заимствованные слова, но не исконно славянские лексические элементы (только в работах Тентора, Братанича и автора этих строк обращается внимание и на славянский фонд лексик). В связи с этим я намереваюсь посвятить несколько обширных монографических трудов отдельным лексическим категориям, имеющим значение и для истории сербов и хорватов (так, например, всегда подчеркивался слой чужих элементов в сербскохорватской скотоводческой терминологии, однако слой славянских элементов сохранился здесь все-таки очень хорошо, и в частности этот факт заслуживает быть выявленным надлежащим образом).

С отсутствием вообще в сербскохорватском языкознании интереса к лексике непосредственно связан и тот факт, что в настоящее время ни в одном из югославских филологических институтов не ведутся

¹ Ср. сб. «Славянское языкознание», М., 1959, стр. 35—47; ВСЯ, вып. 4, М., 1959, стр. 32; «Annali [Istituto Universitario orientale]», Sezione linguistica, 1/2, Napoli, 1959, стр. 177—190.

² См. «Сборник ответов на вопросы по языкознанию», М., 1958, стр. 253—254.

³ ZfSlPh, Bd. XXVII, Hf. 1, 1958, стр. 147.

этимологические исследования (насколько я мог узнать, публикование рукописи покойного П. Скока не ожидается в скором будущем). В этом плане я поставил перед собой задачу предпринять обширные этимологические исследования славянского фонда сербскохорватского языка⁴, а также сделать и некоторые обобщения с тем, чтобы способствовать ускорению составления сербскохорватского этимологического словаря.

Наконец, очень важной тематикой является и топонимастика. За исключением большой гидронимической работы Э. Дикенмаша и некоторых работ П. Скока и Б. Финки, до сих пор в сербскохорватской топонимике исследовалась главным образом ее дославянская часть. Теперь надлежит предпринять систематическое изучение топонимии славянского происхождения; у словенцев уже работают над этой проблематикой; с другой стороны, существуют очень интересные исследования болгарских ученых, где частично затрагивается также сербская и хорватская топонимика (И. Дуриданов); по моему мнению, нужно начать систематическое исследование в этом направлении областей распространения сербскохорватского языка. Я начинаю эту работу в Северной Сербии и посвящаю первую подробную монографию изучению местных названий окрестностей Белграда.

Конечно, есть и другие важнейшие задачи сербскохорватской славистики. Но я лично займусь в близком будущем работой по этимологии, лексике, лингвистической географии и топонимии, с убеждением, что эти мои труды будут способствовать в какой-то мере реорганизации сербскохорватской лингвистики, о чем говорились выше, и побудят молодые кадры к более современной трактовке сербскохорватского языка.

И. Попович
(Белград)

Являясь заведующим секцией фонетики и диалектологии Бухарестского Института языкознания Академии наук РНР остановлюсь прежде всего на коллективных работах секции, которые ведутся в двух направлениях.

I. Фонетика и фонология: 1) экспериментальным путем исследуется фонетическая система румынского языка; 2) изучается система фонем румынского языка; некоторые из достигнутых результатов опубликованы в сб. «Recherches sur les diphtongues roumaines» (Bucarest — Copenhagen, 1959).

II. Диалектология: 1) сбор материалов для составления фонограммного архива румынского языка по анкетам начался в 1958 г. и будет проводиться ежегодно; решено охватить 1000 населенных пунктов; 2) разрабатываются анкеты по сбору материалов для нового румынского лингвистического атласа (подготовка осуществляется в сотрудничестве с Клужским

институтом языкознания); 3) в текущем году будет проведено анкетирование трех населенных пунктов на Черноморском побережье для средиземноморского лингвистического атласа; 4) в связи с разработкой балканского лингвистического атласа в июне текущего года в Бухаресте состоится совещание ученых балканских государств; 5) подготавливается монография с лингвистическим описанием населенного пункта Валя Жиу; 6) подготавливается монография, посвященная лингвистическому описанию территории по р. Биказ, где строится гидростанция им. Ленина; 7) проводятся исследования по тюркской диалектологии (как известно, на территории Румынской Народной Республики проживают турки, татары, погайцы, караимы).

В подкомиссии по математической лингвистике, зам. председатели которой я являюсь и которая входит в состав комиссии автоматизации при Академии наук Румынской Народной Республики, работают несколько научных сотрудников секции фонетики и диалектологии Бухарестского института языкознания. С 1959 г. здесь проводятся статистические исследования в области румынского языка и подготавливается материал для машинного перевода.

Индивидуальная работа. Занимаюсь исследованиями по общей лингвистике и фонологии; недавно окончены работы: «К вопросу о теории слога» (Гаага, 1959); «Введение в фонетику» (2-е издание на португальском языке подготавливается в Лиссабоне). В сборнике, посвященном В. Дорошевскому (Варшава, 1960), публикуется статья о глоссематике Л. Ельмслева. Работа о системе гласных румынского языка будет издана в «Annali [Ist. Universitario orientale]» (Napoli, 1960); исследование о полугласных — в «Phonetica» (1960). Продолжаю экспериментальные исследования звуков румынского языка. Статья, связанная с проблемой среднего рода в румынском языке, опубликована в «Studia linguistica» (vol. XIII, № 2, 1959).

В результате моей работы в области истории румынского языка вскоре появится 3-е переработанное издание первого тома «Истории румынского языка» — «Латинский язык». Второй том — «Балканские языки» — будет готов для печати в июне 1960 г. Недавно в сотрудничестве с Б. Казаку и Л. Ону я сдал в печать обширную «Историю румынского литературного языка» — т. I, содержащий сведения об этом языке от его происхождения до XIX в. В качестве главного редактора работаю над большой «Историей румынского языка» (в 5 томах), которая составляется при Академии наук Румынской Народной Республики коллективами научных сотрудников институтов языкознания Бухареста, Клужи и Ясс. В области славистики в плане славяно-румынских отношений работаю над вопросами фонетики и лексики (в журн. «Linguistique balkanique» находится в печати мое исследование по лексике).

А. Росетти
(Бухарест)

⁴ Ср. «Annali [Istituto Universitario orientale]», Scheda bibliografica, I/2, 1959.

В настоящее время я занимаюсь вопросами культуры Великой Моравской державы, историей словацкого языка, темой языковых связей словаков с другими славянами, особенно с чехами и восточными славянами, и, наконец, проблемами культуры словацкого языка, специфически в классическом пении (в сотрудничестве с Делфиной Станислав, бывшей солисткой Братиславской оперы).

В последние годы вышла моя «История словацкого языка». До настоящего времени были изданы три тома (I — 1956, 2-е изд. — 1958, II — 1958, III — 1957). Первый том содержит введение и историческую фонетику; второй том посвящен исторической морфологии. Сейчас я работаю над четвертым томом, который будет содержать исторический синтаксис и который, вероятно, будет готов еще до очередного съезда славистов в Софии. Кроме того, веду подготовительные работы к составлению словацкого исторического словаря, который будет включен в план моей работы на ближайшие годы.

В 1957 г. вышла в свет моя книга «О русско-словацких культурных связях во времена Яна Голлога и Людовита Штура»; в сборнике «Пражский университет Московскому университету 1755—1955» (Прага, 1955) опубликовано мое исследование «К вопросу о взаимоотношениях между Московским университетом и словаками: М. П. Погодин и О. М. Бодянский и словаки». В настоящее время я продолжаю изучать русско-словацкие взаимоотношения. В частности, была исследована работа Тимофея Флоринского в области изучения словацкого языка по его произведению «Лекции по славянскому языкознанию. II (Петербург—Киев. 1897). Являясь обзором познаний по словацкому языку в конце XIX в., соответствующая глава в «Лекциях» Флоринского была в то время единственной научной грамматикой словацкого языка, предназначенной для славистов. Результаты этого исследования еще не опубликованы.

Продолжением работы о взаимоотношениях словаков и восточных славян в эпоху средневековья явилось мое обширное исследование, которое еще также не опубликовано. Собрав несколько малоизвестных или совершенно неизвестных документов по этому вопросу и составив обзор этих взаимоотношений начиная с древних веков, я перехожу затем к исследованию восточно-славянских (украинских) элементов в словацких литературных текстах, а также к изучению словацких элементов, особенно в молдавских текстах XIV—XV вв. Результаты исследования реферированы в краткой статье «Наши взаимоотношения тысячелетней давности», напечатанной в журнале «Predvoj» (1959, № 47), и о них

доложено в лекции, прочитанной на языковедческой секции Словацкой Академии наук во время месячника чехословацко-советской дружбы в ноябре 1959 г. Мое исследование из того же цикла о взаимоотношениях чехов и словаков в средние века «К вопросу о словацзмах в старочешских памятниках» опубликовано в «Zeitschrift für Slawistik» (Bd. I. Hf. 4, 1956, Bd. II, Hf. 1, 1957). Этой проблематикой я буду заниматься и в дальнейшем, в частности имею намерение внести свой вклад и в исследование польско-словацких отношений в прошлом (здесь примечателен тот факт, что в словацком городе Ружомберок в середине XVI в. жил польский писец, хорошо писавший по-словацки и редко употреблявший полонизмы). По вопросу о взаимоотношениях между словаками и южными славянами я поместил небольшую статью в сборнике, посвященном 70-летию со дня рождения Ф. Вольтмана (1959 г.)⁵.

По вопросам взаимоотношения речи, музыки и пения совместно с Делфиной Станислав я написал несколько исследований и статей, где речь идет главным образом об использовании результатов экспериментальной фонетики в теории классического пения. При разработке этих вопросов учитывались исследования советских и немецких специалистов; надо сказать, что словацкая теория пения до настоящего времени еще не создана. В сотрудничестве с Делфиной Станислав написана также книга «Речь и пение» (еще не издана), где авторы основываются главным образом на выводах советской литературы.

Многу проведены исследования обзорного характера о значении чешской лингвистики для словацкого языкознания и о словацкой славистике за период 1945—1959 гг. Первое исследование будет опубликовано в сборнике философского факультета Университета им. Коменского, а второе — в журнале Словацкой академии наук «Jazykovedný časopis». Ранее в «Jazykovedný časopis» был помещен мой обзор исследований о славянской топонимике в неславянских землях. По этому вопросу я намереваюсь писать еще в следующем номере «Jazykovedný časopis». В журнале «Вопросы языкознания» публикуется моя статья «Из истории словацкого языка». Наконец, мною написана «Грамматика словацкого языка», которую редактирует проф. Г. Г. Вильфелдт и которая будет опубликована в «Slawistische Bibliothek» (Halle).

Ян Станислав
(Братислава)

⁵ J. Stanislav, Zo slovensko-južnoslovenských súvislostí. «Franku Wollmanovi k sedmdesátinám. Sborník prací», Praha, 1958.

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 22 по 24 октября 1959 г. в Кракове состоялась международная ономастическая конференция, организованная Славянским комитетом ПАН. Научная программа и подготовка конференции была выполнена специальной комиссией под председательством проф. В. Ташицкого и при сотрудничестве секретаря Славянского комитета проф. П. Зволинского (члены комиссии: проф. С. Роспанд, проф. С. Храбец, доц. М. Карась и А. Сюдут). Цель конференции состояла в том, чтобы выяснить состояние и результаты научных исследований в области славянской ономастики и определить топонимическую и ономастическую проблематику для подготовки к V Международному съезду славистов, который состоится в 1963 г. в Софии. В последнем отношении конференция являлась осуществлением решений IV Международного съезда славистов в Москве, где особо обращалось внимание на необходимость четкой организации славянских ономастических исследований. Это обстоятельство определило международный характер конференции. В ней приняли участие многочисленные польские ономасты, а также следующие иностранные ученые: из Болгарии — В. Георгиев, И. Дуриданов, Й. Запков, из Чехословакии — В. Шмиллауэр, Я. Свобода, из Югославии — Ф. Безлай, Б. Финка, из ГДР — Р. Фишер, Е. Эйхлер, из СССР — К. К. Целуйко.

На конференции были поставлены следующие доклады: проф. В. Георгиев «Современное состояние ономастических исследований в Болгарии», проф. В. Шмиллауэр «Состояние ономастических исследований в Чехословакии», доц. Б. Финка «О состоянии и перспективах развития сербскохорватской ономастики», проф. Р. Фишер «Достижения ономастики в ГДР», доц. К. К. Целуйко «Основные направления и перспективы развития украинской топонимистики», проф. Ф. Безлай «О проблемах словенской ономастики», проф. Я. Отрембский «Об исследовании водных и местных названий на территории Литвы», проф. С. Роспанд «Состояние и перспективы польской ономастики», проф. С. Храбец «Карпатские географические названия», проф. П. Зволинский «Состояние и перспективы польской гидронимии». В названных обзорных докладах были также определены проблемы, требующие новых исследований и дальнейшего изучения. Кроме общих докладов-отчетов, были представлены доклады и по более частным, конкретным проблемам, а именно: проф. В. Ташицкий «Польские комеморативные названия», доц. И. Дуриданов «Принципы и методы ономастических исследований в полевых условиях», доц. Я. Свобода «Проект нормализации славянской ономастической терминологии», проф. В. Шмиллауэр «Хронология личных и локальных суф-

фиксов в чешских топонимах», проф. С. Урбанчик «К вопросу хронологии топонимических наименований», доц. Р. Смочиньский «О морфологическом словообразовании в славянской ономастике», доц. Б. Финка «Диалектологические проблемы в топонимике северного закарпатского района», И. Запков «Классификация болгарских гидронимов», доц. М. Карась «Польская терминология названий частей деревни», А. Сюдут «Славянские названия улиц», проф. Л. Заброцкий «Структурные прусско-польско-немецкие транспозиции в области топографических наименований на территории Мазовецкого Поморья», проф. Т. Милевский «Генезис славянских сложных имен».

В течение трех дней на конференции было заслушано 22 доклада, которые вызвали живой интерес собравшихся и послужили основой для широкой дискуссии. В обсуждении приняло участие 40 человек. И общие и конкретные доклады касались центральных проблем ономастики, в связи с чем научные достижения конференции следует признать весьма значительными, что и отмечали многие участники дискуссии; таким образом, конференция станет важным этапом в подготовке к V съезду славистов. Кроме чисто научных, конференция разрешила и ряд других вопросов — во время конференции состоялись два организационных собрания, в которых участвовали делегаты представленных на конференции стран, а именно: от Болгарии — В. Георгиев и И. Дуриданов, от Чехословакии — В. Шмиллауэр и Я. Свобода, от Югославии — Ф. Безлай и Б. Финка, от ГДР — Р. Фишер, от СССР — К. К. Целуйко и от Польши — В. Ташицкий, С. Роспанд, П. Зволинский и в качестве секретарей — А. Сюдут и М. Карась. В ходе заседаний по предложению В. Георгиева была выбрана ономастическая секция V съезда славистов в следующем составе: председатель — В. Ташицкий, секретарь — М. Карась, представители — И. Дуриданов, В. Шмиллауэр, Ф. Безлай, Р. Фишер, К. К. Целуйко, С. Роспанд. Вопрос о не представленных здесь странах будет решен при дальнейшей подготовке к V съезду. Было принято решение уведомить о создании ономастической секции и о начале подготовительных работ национальные (славянские) комитеты, а также просить их образовать при комитетах свои ономастические секции.

Согласно проекту В. Георгиева, была создана группа для подготовительной работы над славянским топонимическим атласом. Председатель ее — В. Шмиллауэр, члены — Ф. Безлай, К. К. Целуйко, И. Дуриданов, Р. Фишер и С. Роспанд. Предварительный проект атласа будет подготовлен к сентябрю 1960 г.

На основании доклада Я. Свободы было принято решение предложить подготовку

словаря славянской ономастической терминологии Я. Свободе; национальные комитеты каждой страны выделяют для подготовки необходимых сведений специальных докладчиков.

Много внимания было уделено проблемам гидронимии. Важным шагом в этой области стало решение продолжать и в будущем во всех славянских странах сбор гидронимических материалов и передавать эти данные П. Зволинскому. Кроме того, был выдвинут проект собирания местных и территориальных названий, а также синонимов номенклатурных географических терминов.

На конференции был поставлен вопрос об ономастической проблематике к V съезду славистов в Софии. Участники данного собрания и другие ономасты должны переслать предполагаемые вопросы по ономастике В. Ташицкому до конца сентября 1960 г. В конце 1960 г. список вопросов будет окончательно отредактирован. В качестве примера польские ономасты выдвинули следующие проблемы, требующие самого внимательного рассмотрения: границы топонимии и ономастики; отношение *nomina appellativa* к *nomina propria*; принципы классификации собственных имен; место ономастики как научной дисциплины; значение ономастики для исторической и описательной диалектологии; разноязычные пласты в ономастике. Окончательная редакция проблематики будет осуществлена дополнительно.

В. Георгиев предполагает в сентябре 1960 г. провести в Софии собрание председателей секций с целью обсуждения состояния подготовительной работы. Предусматривается организация научных, подобных краковской, конференций в других славянских странах (ближайшая в 1961 г.; место ее будет установлено позднее).

Подводя итоги, можно сказать, что краковская ономастическая конференция как с научной стороны, так и со стороны организационной является важным событием в развитии славянской ономастики. Широкое участие зарубежных делегатов, большой интерес польских ученых, значительное число докладов и оживленное их обсуждение — все это свидетельствует о том, что по мере дальнейшего развития ономастики возрастает и значение этой области знания для языковедения и истории. Принятые конференцией организационные решения позволяют координировать изучение славянских имен и названий и обеспечить надлежащую подготовку ономастической проблематики к V съезду славистов в Софии.

М. Карась
(Краков)

Перевод с польского

ванной в издательстве АПН РСФСР в 1958 г. под названием «Механизмы речи». Эта книга подводит итог многолетним исследованиям автора, сделавшим его имя известным как у нас, так и за рубежом, и притом не только среди психологов, но и среди физиологов, акустиков и лингвистов. Такой известностью он обязан с одной стороны, примененной им методике исследования, с другой — теоретической и практической значимости своих работ. Часть книги составляет «Альбом рентгенограмм», содержащий 99 таблиц приблизительно с тысячей рентгенограмм. Систематическое и разностороннее применение рентгенографии речевого аппарата является одним из основных методических приемов Н. И. Жинкина, которое позволило ему решить ряд научных вопросов, относящихся к работе этого аппарата.

*

Можно сказать, что диссертация Н. И. Жинкина является значительным событием в области современной фонетики. Широко привлекая современную технику, он разработал интересную и оригинальную методику и получил результаты, которые явились основой для нового и вместе с тем достаточно убедительного решения такого сложного вопроса, как вопрос о природе слога, отчасти также вопросов о внутренней речи, об особенностях развития речи у детей, о природе би- и полилингвизма (имеющего первостепенное значение для изучения иностранных языков, устного перевода и др.), не говоря уже о некоторых важных вопросах патологии речи. Современная техника позволяет измерить едва заметные на слух слоговые толчки в звуковом составе слова, разложить гласные на составляющие гармоники, точно измерить длительность элементов в отрезке речи, документировать на пленке движение языка, глотки, диафрагмы и даже перистальтику бронхиальных веточек в процессе речевой фонации. Поэтому недоступное для психологии и фонетики раньше, теперь, подготовленное в разных смежных областях, становится не только достижимым, но и необходимым.

Безусловно новой, очень интересной и продуктивной является постановка вопроса о природе органов речи. Сущность этой новой постановки состоит в следующем: под органами речи обычно понимают такие органы, как язык, губы, небная занавеска и т. п. Обычно в литературе не отмечается, что органам, связанным с механизмом речи, являются также реберные мышцы, бронхи, диафрагма, брюшной пресс. Указать на этот важнейший факт — не значит просто увеличить номенклатуру органов речи, удлинить их список.

В основе традиционного учения об органах речи лежит представление о том, что можно изучать их работу, не ставя вопроса об управлении. И только теперь, когда на помощь языковедению из области смежной дисциплины пришло понятие о «речедвигательном анализаторе», стала очевидна

30 ноября 1959 г. на заседании Ученого совета Института психологии МГУ состоялась защита Н. И. Жинкиным диссертации, монографически опублико-

известная ограниченность старых представлений, стало ясно, что изучать органы речи надо так, чтобы в конечном счете был раскрыт полностью механизм речедвигательного анализатора. Было выдвинуто и третье понятие — понятие «речевого эффектора», получившее новый смысл в новом контексте. Важность этого понятия станет особенно очевидной, если представить, что под речевыми эффекторами понимается не усложненный синоним для термина «органы речи», т. е. не простые исполнители движений, заданных из «центрального управления», а одновременно и в такой же мере участники формирования аналитико-синтетической системы или часть анализатора, позволяющая не только проследить конец процесса, но и его формирование.

Представляется ясным, что уже объединение усилий лингвистов и психологов дает качественно новые результаты. Но для подлинного проникновения в природу речевого эффектора и законов его функционирования недостаточно объединения усилий только лингвистов, психологов и физиологов. Стремительное развитие точных физико-математических наук начинает все больше и больше оказывать влияние на рассмотрение речевого процесса как своеобразного живого механизма. Этому в значительной мере способствуют успехи теории и практики в области исследования линий связи, техники звукопередачи и автоматизации вычислительных операций. На основе этих значительных достижений в области смежных наук становится не только возможным, но и необходимым несколько иной подход к вопросу об авторегулировании в системе основных звеньев речевого механизма. Речевые кинезисы рассматриваются теперь как обратная связь, по которой центральное управление все осведомляется, что выполнено из тех приказов, которые посланы на исполнение.

Как уже было сказано выше, ограничение органов речи «видимыми» органами приводило к ложному представлению о возможности изучать их работу не ставя вопроса об управлении. Иногда считалось, что достаточно знать, в каком положении находится язык, когда производится тот или другой звук, для того чтобы обеспечить выполнение важнейшей и распространяющейся практической задачи — обучения языкам и исправления неправильностей произношения. Это совершенно неправильное понимание основывалось на убеждении, что все движения органов речи являются произвольными, что если определены положения языка и других активных органов речи при произнесении того или другого звука, то практически достаточно поместить язык в соответствующее положение для того, чтобы обеспечить возникновение требуемого звука.

Это примитивное представление о природе речевого механизма постоянно опровергается тем непомерным количеством времени и усилий, которые обычно за-

трачиваются на овладение произношением иностранного языка, хотя количество усваиваемых фонем не превышает обычно 30—40. Заслужено Н. И. Жинкина явилось раскрытие ошибочности концепции, сводящей дело к описанию положений «активных органов речи». Подлинная речевая дифференциация звуков должна происходить не только в ротовом, но и в глоточном резонаторе. Поведение глоточной трубки — вот проблема, на которую до сих пор не было обращено должного внимания при обучении иностранному языку. При обучении иностранному языку показом ротовой артикуляции можно добиться лишь самых общих дифференцировок.

Из сказанного очевидно, какое значение имеют для решения проблемы обучения произношению на иностранном языке выработанные Н. И. Жинкиным методы исследования произвольных и управляемых движений. Теперь совершенно ясно, как важны современные междисциплинарные исследования для решения вопроса о наиболее рациональных и эффективных способах осуществления дифференцировки произвольных и управляемых речевых движений — вопроса, который принципиально не может быть разрешен традиционными приемами, сводящимися в лучшем и наиболее полном виде своем к объяснению системы фонем иностранного языка, рисункам и муляжам органов речи и разъяснению деталей устройства речедвигательного анализатора.

*

Очевидна огромная важность проблемы отбора речевых звуков, которая члится на: 1) отбор звуков для составления слов (или, что то же, отбор речевых движений для составления двигательного стереотипа слова) и 2) отбор слов для составления сообщения. Иными словами, отбор звуков и отбор соответствующих им речевых движений позволяют различать слова и сформировать словарь, который не играет сам по себе самостоятельной роли, а является лишь фондом, откуда черпаются слова для составления сообщений.

Поскольку прием звуков производится слуховым, а не речедвигательным анализатором, отбор речевых движений для производства звуков, входящих в словесный звуковой комплекс, происходит в процессе специальной выучки, формирующей словарь, который приобретает через слуховой анализатор, но складывается в двигательном и им же воспроизводится. Выучка эта состоит в составлении устойчивого стереотипа (подпрограммы) речевых движений, на которые распадается запущенное по одному импульсу слово. В процессе выучки при взаимодействии прямой и обратной связи от мышечных речевых синергий составляется точная схема последовательности возбуждающих и тормозных процессов на все речевые движения, необходимые для воспроизводства статичности и динамики данного слова. Все эти положения получают точную проверку в произведенных Н. И. Жин-

киным обширных и тонких исследованиях. При помощи кипорентгено съемки надставной трубки Н. И. Жинкина удалось проследить не только последовательное разветвление стереотипа, но и обратное явление — резкое торможение речевых эффектов в том случае, когда подлежащее произнесению слово попадает в зону торможения.

Одной из сложнейших проблем фонетики, не решенной до сих пор, несмотря на огромное количество работ, ей посвященных, является проблема слога. В наиболее общем своем виде она может быть представлена следующим образом: функционируя в качестве «звуковой стороны языка», т. е. служа для различения звуковых оболочек слов и морфем, фонемы фактически не воспроизводятся в виде отдельных изотипированных звуков, а сцепляются друг с другом, образуя определенные последовательности или объединения. Моделью такого объединения является слог, основным принципом построения которого обычно считают противопоставление отдельных его частей друг другу.

Вопрос о природе слога получает интересное и весьма плодотворное объяснение в предложенной Н. И. Жинкиным концепции глоточного слоогообразования. Следует подчеркнуть, что предложенное им решение аргументировано настолько тщательно и основано на таком богатом экспериментальном материале, что, какими бы ни были возражения по отдельным ее деталям, в целом она не может не вызвать самого серьезного внимания. Как показал Н. И. Жинкин, слог — это единственная речевая произносительная единица, формирующаяся на выходе речевых эффекторов. Слоогообразование и слоогоотделение составляют динамическую систему речи. Отторможение произнесенного элемента и упреждение подлежащего произнесению (т. е. удержание и упреждение) были бы невозможны, если бы возбуждающие и тормозные процессы не регулировались слоогоотделением, которое выступает, таким образом, как важнейший фактор механизма речи. Слог — это место встречи акустического и фонетического рядов: он не принадлежит ни к одному из них и не получил поэтому ни в одной из этих наук в отдельности удовлетворительного объяснения. Следует согласиться в основных чертах и с тем объяснением, которое Н. И. Жинкин дает неудовлетворительному состоянию науки о слоге в современной фонетике. Причина в том, что современная фонетика, оставаясь по преимуществу статической, способна лишь показать (и то без необходимой полноты), где и каким образом образуются звуки, но она оказывается неспособной показать, как звуки сливаются в динамические образования — в слог и слова, — вследствие чего основная произносительная единица (слог) выпадает из поля ее наблюдения. Не может служить основой для изучения вопроса о природе слога и статическая рентгенография, данные которой в лучшем случае дают лишь общую описательную классификацию форм

полости рта и глотки. И только кадры кипорентгено съемки документируют образование слогового кванта, регистрируемого в акустических записях как дуга громкости. Из этих кадров видно, что слоговая дуга громкости образуется в результате модуляции глоточной трубки при постепенном сужении которой возникает нарастание громкости (в момент максимального сужения дуга образует вершину), тогда как при постепенном расширении трубки появляется ветвь падения громкости. На основании этого на первый взгляд крайне простого наблюдения создается прочная база для построения общей теории слога и для проникновения, наконец, в природу более сложных случаев слоогообразования.

Итак, слог оказывается не только основной, но и предельной, т. е. далее не делимой произносительной единицей. Тогда термин «фонема» приобретает уже принципиально новое содержание как один из элементов слога, как «неполный» речевой звук. Физически — неполный звук — это та часть спектра, которая соответствует набору формантных признаков (т. е. составляющих спектра, которые конструктивны для неполного речевого звука). Остаток спектра, получающийся после вычитания из полного звука формант, выполняет сложные и многообразные функции, связанные с более «высокими» ярусами членения речи.

Официальный оппонент доктор мед. наук проф. В. А. Артемов, давая самую высокую оценку работе Н. И. Жинкина, обратил внимание на то исключительное значение, которое его исследования будут иметь для развития новых направлений в изучении речи.

В наше время речь служит одной из центральных проблем комплексного ее изучения представителями ряда самых разнообразных наук: математики, физики, биофизики, биологии, физиологии, психологии, логики, математической логики, языкознания, теории информации, теории коммуникации, кибернетики, техники связи, искусствоведения, театроведения, антропологии, дефектологии, медицины, педагогики, полиграфии, теории рекламы, теории ораторского искусства, статистики, статистической механики, теории перевода (обычного, устного и машинного), электро моделирования и, наконец, некоторых других.

Всем этим в значительной мере и объясняется тот факт, что в наши дни речь стала одной из центральных проблем современной науки, а также кибернетики и техники связи.

Официальный оппонент действ. член АПН РСФСР проф. Б. Г. А н а н в е в охарактеризовал работу Н. И. Жинкина как серьезный научный труд, содержащий ряд открытий, новые идеи и принципы, обогатившие не только психологию, но и все науки, составляющие единый комплекс наук о языке и речи. Советская психологическая наука может радоваться такому труду, который стал возможным благодаря ее успехам на основе марксистско-ленинской философии и павловского уче-

ния. Он указал на то, что после этого труда более ясна необходимость комплексного изучения всех звеньев механизма речи. Ныне открывается возможность специального изучения мозгового конца речедвигательного анализатора и его места во всей второй сигнальной системе. Следует напомнить, что наука пока не располагает гочными данными о соотношении ядерных и рассеянных клеток мозгового конца речедвигательного анализатора в левом и правом полушариях головного мозга.

Н. И. Жинкин лишь в самой общей форме говорил о корковом произвольном управлении всего саморегулирующегося механизма речи. Однако именно в отношении коры проблема «речевых центров» и рассеянных клеток в обоих полушариях до сих пор не решена. Новые данные клинической патологии речи при мозговых данных и электрофизиологии коры заставляют усомниться в том, что только одно из полушарий является «говорящим», а другое — «немым». Разумеется, что уточнение знаний о субстрате коркового управления речью весьма важно для завершенности научных знаний о механизме речи.

Теперь, после внимательного изучения Н. И. Жинкиным природы «базального компонента» механизма речи, открываются реальные пути к познанию собственно мозговых механизмов, и особенно — комплексный путь объективного изучения деятельности этих механизмов.

Ученый совет Института психологии МГУ единогласно присудил Н. И. Жинкину ученую степень доктора педагогических наук (по психологии).

О. С. Азмапова
(Москва)

С 30 ноября по 2 декабря 1959 в Киеве проходило Первое республиканское топонимическое совещание, организованное Институтом языковедения АН УССР. На совещании присутствовали топонимисты Украины, РСФСР, Латвии, Литвы, Белоруссии.

В течение трех дней было заслушано и обсуждено более 20 докладов. О задачах топонимистов Украины на ближайшие годы говорил в своем докладе К. К. Целуйко (Киев). Они включают в себя: создание программы для сбора материала, создание топонимических словарей, подготовку топонимического атласа Украины, а также специальное изучение гидронимов Украины, организацию совещания по гидронимике и др. В связи с докладом на совещании было решено в порядке подготовки к V Международному съезду славистов в первую очередь принять участие в разработке славянского топонимического атласа, топонимической терминологии и в вопросах по топонимике. Доклад А. И. Попова (Ленинград) был посвящен значению топонимики для исторических исследований. А. И. Попов считает необходимым создание критического обзора существующей топонимической литературы, а также разработку методологии исследования топонимических материалов во из-

бежание многих ошибок, допускаемых топонимистами. Отдельные примеры использования данных топонимики для изучения истории края были приведены в докладе Н. П. Милонова (Рязань). Значение местных терминов в образовании географических названий послужило для Э. М. Мурзаева (Москва) темой доклада, построенного на богатом фактическом материале. Докладчик указал на необходимость учета географической среды при исследовании топонимов, на значение наблюдений над миграцией отдельных терминов, на вопрос о переходе части географических терминов в категорию имени собственного географического.

Ряд докладов был посвящен исследованию топонимики отдельных районов Украины, преимущественно западных: Львовщины — доклад Е. М. Посацкой-Черняховской (Львов), Буковины — доклады В. С. Лимаренко (Черновцы) и Н. Ф. Станевского (Черновцы), Северной Дрогобычщины — доклад П. Ф. Шило (Львов) и др. Об исследовании топонимии в связи с изучением говоров и этнографии было сообщено в докладах В. В. Немчук (Киев) и Н. В. Подольской (Москва). Были прочитаны доклады, посвященные исследованию личных имен. В. П. Петровым (Киев) и И. Д. Сухомлиным (Днепропетровск). Особенно интересен был по своей методологии доклад В. П. Петрова, построенный на материале памятников эпиграфики Северного Причерноморья. На совещании рассматривались вопросы и прикладной области топонимии: передача географических названий средствами другого языка — доклады Г. П. Бондарук (Москва) и И. П. Сулицовой (Киев), — а также практические и весьма актуальные вопросы наименования новых поселений и переименования старых.

Участниками совещания была заслушана информация о специальной подготовке кадров по ономастике во Львове и в Черновцах, где для студентов организованы просеминарии по этой отрасли науки. Было предложено также подготовить и лекционный курс по ономастике.

Институтом языковедения АН УССР была подготовлена и роздана для обсуждения получившая затем одобрение участников совещания «Краткая программа сбора материалов для изучения топонимии Украины». Работники Центрального государственного исторического архива издали «Указатель населенных пунктов» к памятнику социально-экономической истории Украины «Генеральный опис Лівобережної України 1765—1769 рр.». О принципах его составления было доложено на совещании Л. А. Поповой (Киев).

На заключительном заседании были подведены итоги совещания и намечены планы дальнейшей работы. Совещание приняло также решение ходатайствовать перед Президиумом АН УССР об учреждении постоянного республиканского комитета по топонимике и ономастике и о со-

здании соответствующего специального отдела при Институте языковедения АН СССР.

Н. В. Подольская
(Москва)

1—4 декабря 1959 г. в Москве состоялся симпозиум по методам спектрального анализа звуков речи, созданный секцией речи Комиссии по акустике АН СССР и Лабораторией экспериментальной фонетики и психологии речи 1-го МГПИИЯ (сокращенно ЛЭФПР). Задача симпозиума, как отметил во вступительном слове В. А. Артемов (Москва), состояла в обсуждении следующих вопросов: 1) о фонологических моделях, соответствующих данным спектрального анализа; 2) о связи акустических характеристик звуков речи с их фонологическими (различительными) признаками; 3) о специальных методах спектрального анализа.

По первому вопросу с докладом «О приемлемости фонологических моделей» выступил Вяч. В. Иванов (Москва), который указал на то, что в фонологическую теорию должны быть внесены существенные изменения, обусловленные, в частности, практическими потребностями. «Имеет смысл оперировать только конструктивными лингвистическими объектами... О фонеме, например, имеет смысл говорить только, если могут быть указаны правила порождения фонем и выделения их в речи. Поэтому точка зрения разумно мыслящего лингвиста практически должна совпасть с точкой зрения техника, конструирующего устройство для автоматического анализа или синтеза звуков речи. Более того, только успешная работа такого устройства может оказаться окончательным критерием, позволяющим проверить правильность той или иной фонологической модели».

Далее докладчик рассмотрел фонологические модели, различные с точки зрения выделяемых единиц. Наиболее удобной моделью он считает модель, в основу которой положено понятие дифференциального признака. По отношению к целому ряду практических и теоретических задач фонему можно понимать просто как определенное обозначение определенного множества дифференциальных признаков. Докладчик считает, что наиболее известные фонологические модели, в которых в качестве основного понятия берется фонема, менее удобны, если ставится задача соотношения фонологической модели с данными спектрального анализа. Кроме того, в некоторых фонологических концепциях «фонематический анализ предполагал уже произведенным разбиение речи на дискретные звуки, что, по существу, равносильно принятию фонематического анализа как наперед заданного». Наконец, докладчик указал на необходимость рассмотрения моделей, основной единицей которых является морфема или слово, так как именно такие

модели лучше всего объясняют проблемы звукового восприятия.

А. А. Реформатский (Москва) заявил, что докладчик «зачеркнул» все достижения традиционной фонологии и, в частности, фонему. «Утверждать, что фонема — это фикция, удобная рабочая гипотеза, — значит вступить на путь прагматизма. Однако практические цели не могут снять онтологическую проблематику». А. А. Реформатский настаивал на том, что «фонемы являются реальностью в структуре языка и центральным понятием фонологии. Входя в ряд вышестоящих единиц, фонемы далее не могут быть так же членимы. В этом смысле фонема — точка, определяемая как член той или иной оппозиции и характеризующаяся в первую очередь дифференциальными признаками, без игнорирования недифференциальных». А. А. Реформатский считает, что для структурно-фонологического анализа спектральный анализ может дать и дает совокупность некоторых предварительных данных, но выявить и определить фонемы по данным звукового континуума ни спектрограф, ни какая-либо иная машина не могут. В заключение А. А. Реформатский указал на ряд практических приложений фонологии, таких как: а) построение алфавита бесписьменных языков и реформа и рационализация существующих алфавитов, б) разработка принципов орфографии и транскрипции, в) обучение произношению, г) первичное описание бесписьменных языков и диалектов, д) диагностика психических расстройств и т. п.

О. А. Норк (Москва) в своем выступлении отметила, что «призыв Вяч. В. Иванова к акустикам не обращать внимания на лингвистические тонкости не представляется правомерным». Языкознание отноло не является чисто теоретической наукой, но, как всякая другая наука, имеет свои теоретические и практические задачи. О. А. Норк присоединилась в этом вопросе к мнению А. А. Реформатского, перечислив ряд практических проблем, решаемых на основе разработки глубокой теоретической проблемы фонемы. В частности, усиленная работа фонетиков над исследованием спектра звуков речи и интонации поможет решению проблемы устного ввода при машинном переводе.

П. С. Кузнецов (Москва) считает, что упрек традиционной фонологии в предвзятости необоснован: то понимание фонемы, которому следует московская фонологическая школа, оформилось при решении определенных практических задач. Понимание фонемы как звукового типа у Д. Джоунза, Л. В. Щербы и отчасти у Р. Якобсона также находит себе практическое применение — при исследовании передачи по каналам связи, при создании синтетической речи и т. п. Но при этом необходимо избавиться от непосредственности, которые есть у Щербы. Оба понимания фонемы необходимы как в теоретическом, так и в практическом пла-

не, но необходимо разграничить их терминологически. П. С. Кузнецов предпочел бы сохранить название фонемы за тем понятием, которое представлено в московской фонологической школе.

И. И. Ревзин (Москва) в докладе «Фонологическая модель и спектральный анализ» высказал мнение, что спектральный анализ, представляющий каждый звук речи в виде набора акустических признаков как единиц определенного кода, создает объективные предпосылки для создания дескриптивных фонологических моделей, т. е. таких моделей, в которых при определении основных единиц не используется критерий смыслового различения. С точки зрения докладчика, на основе дистрибуции (распределения) можно провести различение между признаками релевантными, т. е. не связанными хотя бы в одной позиции («дифференциальные» признаки), и нерелевантными, т. е. связанными во всех позициях. Докладчик привел примеры двух фонологических моделей, первая из которых, по его мнению, формализует ситуацию, рассматриваемую в школе Щербы, а вторая — ситуацию, рассматриваемую в московской фонологической школе. Ревзин остановился на соотношении «смыслоразличительной» и «дистрибутивной» фонологии, высказав следующее утверждение: два звука речи, относящиеся к разным фонемам по смыслоразличительному критерию, будут разными фонемами и с точки зрения дистрибуции, между тем как обратное неверно: два звука речи могут по дистрибуции быть отнесены к разным фонемам, составляя со смыслоразличительной точки зрения одну фонему (в качестве примера докладчик привел *ich-Laut* и *ach-Laut* в немецком языке, которые явно различаются как разные фонемы по критерию дистрибуции, но несут весьма слабую смыслоразличительную нагрузку, ибо противопоставлениями типа *pfauchen* и *das Pfauchen* можно пренебречь).

А. А. Реформатский подверг доклад И. И. Ревзина подробному критическому анализу и, в частности, отметил, что «дескриптивный метод, учитывающий встречаемость и распределение вычлененных единиц, явно недостаточен для описания фонологической системы». А. А. Реформатский обратил внимание на важность «морфологической членимости» данного высказывания при определении фонем и на существование особых «морфологических» позиций, что идет дальше морфологических границ¹. В частности, в паре примеров *das Pfauchen* «маленький павлин» и *pfauchen* «шипеть» важна именно морфологическая позиция. Вообще все рассуждение о возможности чем-то пренебречь сомнительно. «В каком смысле пренебречь? Для каких-то узко практических целей можно, но если речь идет о системе фонем данного языка как онтологической данности, то ничем пренебрегать нельзя, так как это будет фальсификацией действительности».

К этой точке зрения присоединилась О. А. Норк, которая подчеркнула, что рассмотрение языка в качестве системы предполагает рассмотрение как сильных, так и слабых противопоставлений. Это особенно необходимо в связи с устойчивостью фонологической системы языка и медленностью ее развития.

П. С. Кузнецов высказал сомнения в том, что систему фонем данного языка можно определить только на основе дистрибуции. Он привел конкретный пример, когда дистрибуция не дает надлежащих результатов. Предположим, в данном языке наблюдается колебание между *t* и *d* в одной и той же позиции (и в одних и тех же значимых единицах). На основании чистой дистрибуции будет установлено для данного языка наличие фонем *t* и *d*, но, опираясь на отношение смысловых единиц, можно свести *t* и *d* в этом языке к одной фонеме.

Р. Г. Пиотровский (Ленинград) в докладе «Фонология и спектральный анализ звуков речи» исходил из известной модели «акустического треугольника», излагая противопоставления между гласными в терминах пар дифференциальных признаков по Р. Якобсону, Д. Лотцу, Г. Фанту и М. Халле. Сравнивая данные этих авторов с результатами, полученными при синтезе речи, а также привлекая материал «современных региональных и жанровостилистических вариантов треугольника», автор, между прочим, приходит к выводу, что для получения «окопчатой» изоморфной акустико-лингвистической параметризации французских неназализованных гласных признак «напряженность — ненапряженность» следует считать вспомогательным.

А. А. Реформатский указал на то, что подгонка таблицы французских гласных к форме треугольника произвольна и неубедительна. Это происходит из-за устранения оппозиции двух *a* (ср. *pâte* — *patte*), которая может быть как качественно-количественной, так и только количественной. По мнению А. А. Реформатского, сама идея обязательности треугольника противоречит действительному положению вещей (ср. хотя бы *Vierecks-systeme*, установленные Трубенкиным наряду с *Dreiecks-systeme*). А. А. Реформатский считает, что разбивка полученного так треугольника на дихотомические биномы (по Якобсону), приводит только к разрушению системы и что еще более бесплодной оказалась такая операция, произведенная над русскими гласными, ибо в русском языке при разграничении фонемных зон основную артикуляционную роль играют губные уклады, акустический эквивалент которых и следует установить.

По мнению А. А. Реформатского, необходимо еще доказать применимость к другим фонологическим моделям признаков, перечисленных в работах Якобсона, Фанта, Халле и др.

С. К. Шаумян (Москва) в докладе «О семитической природе дифференциальных элементов» подошел к понятию

¹ Ср. его «Фонологические заметки» (ВЯ, 1957, № 2).

дифференциального элемента с точки зрения теории абстракции, как она развивается в современной логике науки. По мнению докладчика, в фонологии необходимо различать две ступени абстракции: ступень наблюдения и ступень конструкторов (понятий о ненаблюдаемых объектах). Поэтому докладчик считает необходимым расщепить общепринятое в современной фонологии понятие дифференциального элемента на два соотносительных понятия: дифференциатор и дифференцианд. Дифференциатором С. К. Шаумян называет дифференциальный элемент, рассматриваемый как «абстрактный диакритический элемент, способный реализовываться в разных физических субстанциях: акустической, графической, цветовой, тактильной и т. п.». Дифференциандом С. К. Шаумян называет акустический элемент, репрезентирующий тот или иной дифференциатор. Таким образом, докладчик предлагает различать три понятия: акустическое свойство как чисто физическое понятие, дифференцианд как реляционно-физическое понятие и дифференциатор как чисто реляционное понятие. Тождество на одном уровне абстракции может сопровождаться различием на другом уровне. Например, с точки зрения С. К. Шаумяна, рассмотрение системы исландских гласных на уровне реляционно-физических понятий приводит к мысли, что звук, реализующий одну и ту же фонему, может быть в одних позициях компактным, а в других диффузным.

А. А. Реформатский поддержал основную мысль С. К. Шаумяна о том, что фонологические явления можно и должно рассматривать на разных уровнях и тождество на одном уровне может не быть тождеством на другом, приведя соответствующий пример из севернорусских твердых говоров.

З. М. М у р ы г и н а (Москва) считает, что признак компактности /диффузности есть признак ингерентный, существующий лишь для фонетического уровня (или уровня дифференциальных признаков). На этом уровне дифференциальный признак определяется как выбор между двумя членами оппозиции. Она полагает, что этот уровень не имеет ничего общего с уровнем семантическим, на котором релевантными являются признаки просодические, с пока не раскрытой акустической характеристикой.

Касаясь пар дифференциальных признаков, перечисленных в работах Якобсона, Фанта, Халле и др., З. М. М у р ы г и н а подчеркнула, что реальность этих признаков доказана акустическими, физиологическими и психологическими исследованиями. Фонологичность указанных признаков представлена определенной моделью, справедливость которой подтверждена исследованиями детской речи, патологических расстройств речи и т. п.

И. А. З и м н я я (Москва) высказала ряд предложений в связи с обсуждением терминов для противопоставлений, выдвинутых Р. Якобсоном (типа *sharp/plain*). Она считает, что простой перевод этих

терминов недостаточен. Необходима не черпывающая характеристика соответствующих противопоставлений с трех точек зрения: а) спектральной картины, б) артикуляционных движений и в) традиционных лингвистических противопоставлений.

П. С. Кузнецов отметил, что в докладах, прочитанных на симпозиуме лингвистами, отражались те положения, которые содержатся в трудах Якобсона, Халле, Фанта и др., но дальше этого докладчики не шли. Между тем, по мнению Кузнецова, большое число явлений, прагматических реальную роль во многих языках мира, в терминах этой системы вообще не может быть изложено. Эти явления нуждаются в акустической характеристике. Кузнецов считает, что в некоторых лингвистических докладах не всегда проявлялось отчетливое понимание предмета, о котором идет речь. Так, в докладе Р. Г. Пиотровского не были разграничены различные системы (например, система французского литературного языка и его диалектов). С точки зрения Кузнецова, докладчики не всегда отдавали себе отчет в том, что спектральные характеристики имеют не фонемы, а их модификации.

Обзор современной литературы по спектральному анализу был сделан Л. П. Б л о х и н о й и З. М. М у р ы г и н о й, которые остановились на таких основных понятиях, как ф ор м а н т а (область в спектре, характеризующаяся наибольшим уровнем энергии), ф ор м а н т н ы й у р о в е н ь, ф ор м а н т н ы е п о л о с ы, ф ор м а н т н а я м о д е л ь, у р о в е н ь и н т е н с и в н о с т и, а также на методике спектрального анализа гласных и согласных с помощью аппарата *visible speech* («видимая речь»).

В сообщении, посвященном спектральному анализу звука слуховой системой, Л. А. Ч и с т о в и ч (Ленинград) поставил вопрос о том, что спектральный анализ лучше всего производить аппаратом, максимально приближающимся к тому типу анализаторов, каким является слуховая система человека. Улитка — это быстродействующий анализатор с малой разрешающей способностью, т. е. частотный анализ звука улиткой является весьма грубым. Вместе с тем большую роль играет характер изменения сигнала во времени. Докладчица привела ряд данных психоакустики, которые показывают большую чувствительность слуха к переходным процессам. Существенное значение имеет поставленный докладчицей вопрос о дальнейшей анализе информации, поступающей из улитки и нервных волокон, высшими отделами нервной системы. Слуховая система накапливает информацию, проводя определенное интегрирование по времени и частоте. Интересно, что время интегрирования в слуховой системе (100—150 мс) то же, что и в зрительной (ср. эффект кино). Докладчица приходит к выводу о наличии по крайней мере двух систем анализа звука: частотной и временной.

В докладе «К вопросу о методе структурного анализа речевых спектров» В. А. Артемов подчеркнул, что спектральным инвариантом является структура формант, а не отдельные их значения). Докладчик настаивал на отличии спектрального анализа, направленного на удовлетворение практических нужд промышленности (он называет такой анализ «прагматическим»), от «структурного анализа речевых спектров, проводимого в языковедческих и психолингвистических целях» (такой анализ он называет «семантическим»). Именно к последнему направлению относятся работы по спектральному анализу в «семантическом плане», проводимые в ЛЭФПР. Для такого анализа, по мнению докладчика, наиболее подходящими из существующих аппаратов являются аппарат visible speech и спектрограф ЛЭФПР, которые позволяют точно описывать различные переходные процессы. К этой точке зрения присоединилась М. А. Нейланд (Рига), рассказавшая о спектральном анализе дифтонгов латышского языка сравнительно с английским. Инженер ЛЭФПР С. Я. Маслов доложил о быстродействующем анализаторе спектра речевых сигналов, сконструированном в этой лаборатории. И. А. Зимняя в своем сообщении сравнила результаты, полученные на аппарате ЛЭФПР и аппарате visible speech.

Л. Р. Зиндер (Ленинград) не согласился с мнением В. А. Артемова, что спектральный анализ, проводимый для лингвистических целей, должен отличаться от спектрального анализа, проводимого для технических целей. С точки зрения Зиндера, можно оспаривать необходимость такого анализа для лингвистов, но если такой анализ нужен, то он должен давать лингвистам такие же точные и ясные представления о спектре звуков речи, как и техника. Спектр — объективная характеристика звука речи, которая не меняется в зависимости от целей исследования. Л. Р. Зиндер считает, что задача нахождения объективных критериев чтения спектрограмм остается пока не решенной (в частности, по мнению Л. Р. Зиндера, из доклада В. А. Артемова не стало ясным, по какому принципу ту или иную концентрацию энергии следует считать формантой). Эта задача не будет решена до тех пор, пока не будут поставлены надлежащим образом психоакустические исследования. Зиндер отметил, что и методика получения спектров звуков речи нуждается в дальнейшем совершенствовании.

А. А. Хачатрян зачитала доклад Г. А. Оганесяна (Ереван) «Анализ гласных армянского языка по методу, применяемому в Ереванском гос. ун-те»².

² Результаты этих работ опубликованы в «Научных трудах [Ереванск. гос. ун-та], т. 35. Серия физ.-мат. наук, вып. 2, 1952, «Изд. [АН Арм. ССР]», т. VIII. Биол. и с.-х. науки, № 11, 1955, и «Изд. [АН Арм. ССР]», Обществ. науки, № 12, 1956.

Симпозиум показал полезность совместного обсуждения фонетических проблем языковедами, физиками, физиологами и психологами

И. И. Реезин
(Москва)

7 декабря 1959 г. в Москве, в Институте славяноведения АН СССР состоялась научная сессия, посвященная 30-летию со дня смерти выдающегося русского и польского языковеда Ивана Александровича Бодуэна де Куртене. Сессию открыл зав. сектором языкознания Института славяноведения АН СССР доктор филол. наук С. Б. Бернштейн. В своем вступительном слове он указал на многогранную деятельность крупнейшего слависта-теоретика, замечательного деятеля высшей школы России и Польши, прогрессивного общественного деятеля своего времени И. А. Бодуэна де Куртене, с именем которого связана целая эпоха в истории языкознания. По ряду важнейших теоретических вопросов Бодуэн де Куртене занимал свою, особую, позицию, критикуя младограмматическое направление часто с позиций языкознания XX в. Многие теории и идеи Бодуэна де Куртене сохраняют свое значение до сих пор и заслуживают пристального внимания и дальнейшей разработки нашими учеными. С. Б. Бернштейн говорил также о назревшей необходимости в квалифицированном издании избранных работ Бодуэна, в публикации его трудов, которые до сих пор хранятся в рукописях. По инициативе Н. И. Толстого Институт славяноведения АН СССР уже приступил к подготовке издания ценнейших словенских диалектологических материалов Бодуэна де Куртене.

С докладом об основных чертах лингвистической концепции П. А. Бодуэна де Куртене выступил науч. сотр. Института языкознания АН СССР А. А. Леонтьев, который остановился на философской стороне научных взглядов Бодуэна и на толковании им наиболее общих языковедческих проблем. Докладчик возражал против неправильной оценки лингвистической концепции Бодуэна де Куртене как «субъективно-идеалистической», указав, что взгляды ученого на ряд проблем обусловлены его наивно-материалистическим воззрением. Что же касается методики лингвистического исследования, Бодуэн де Куртене не ограничивался применением одного какого-то метода, напротив, он считал, что в языкознании должны применяться различные методы исследования в зависимости от направления работы. В заключение А. А. Леонтьев отметил ряд задач, поставленных Бодуэном перед наукой о языке, которые остаются актуальными по сей день, как, например, применение в языкознании точных, математических методов, сближение языкознания с другими науками и т. д.

С докладом «Бодуэн де Куртене и развитие фонологии» выступил науч. сотр. Института славяноведения АН СССР, канд. филол. наук В. Н. Топоров. Доклад-

чик указал на два пути, сыгравших особую роль при разработке Бодуэном де Куртене фонологической теории. Первый путь был связан с изучением живых языков и физиологии звуков: он привел Бодуэна к выводу, что есть звуковые особенности, позволяющие дифференцировать смысл высказывания, и есть такие, которые не влияют на смысл. Второй путь был связан с требованиями сравнительно-исторических задач. В. Н. Топоров отметил, что с помощью новой теории Бодуэн де Куртене пытался решить ряд практических задач; это привело его к созданию строгой теории чередований, ставшей фундаментом морфологии и открывшей новые возможности для исторического и сравнительного анализа. Генетическая связь трудов создателей фонологии с трудами Бодуэна де Куртене еще раз свидетельствует о ценности и актуальности того вклада, который внес большой ученый в развитие фонологии.

Ст. научн. сотр. Института точной механики и вычислительной техники АН СССР канд. филол. наук В. Я. В. Иванов выступил с докладом «Работы Бодуэна де Куртене в области типологии славянских языков», в котором говорилось об исследованиях Бодуэна, посвященных типологическому изучению славянских языков (типологический анализ фонологических систем славянского вокализма в связи с характером ударения). В докладе была показана пионерская роль Бодуэна де Куртене, положившего начало типологическим исследованиям в языкознании, и прослежено в основных чертах дальнейшее развитие структурно-типологического анализа в славянском языкознании. Докладчик подчеркнул необходимость типологических исследований в сочетании со статистическим обследованием.

В докладе научн. сотр. Института русского языка АН СССР канд. филол. наук В. П. Григорьева «П. А. Бодуэн де Куртене и интерлингвистика» говорилось о взглядах ученого на проблему создания международного искусственного языка. Докладчик остановился на материалах научного наследия Бодуэна де Куртене, находящихся на стыке общетеоретического и прикладного языкознания.

Последним был прочитан доклад научн. сотр. Института славяноведения АН СССР канд. филол. наук Н. И. Толстого «Работы Бодуэна де Куртене по словенскому языку». В докладе были охарактеризован огромный и ценнейший материал Бодуэна по словенской диалектологии, большая часть которого до сих пор остается неопубликованной. Придавая большое значение всестороннему изучению живых языков, Бодуэн де Куртене ставил перед собой задачу синхронного описания словенских говоров с целью проверки на нем общелингвистических положений. Признавая факты языкового родства в генетическом плане, Бодуэн де Куртене подчеркивал значение географического фактора, ведущего к взаимодействию языков разных семей и систем. Большой и надеж-

ный материал по словенской диалектологии, оставленный нам в наследство Бодуэном де Куртене, послужит для исследователей многих поколений.

Все доклады, прочитанные на сессии, будут опубликованы в отдельном сборнике, в котором будет также помещена полная библиография трудов П. А. Бодуэна де Куртене.

Р. Булатова
(Москва)

21 и 22 декабря 1959 г. в Софии состоялась юбилейная Научная сессия по языкознанию, литературоведению и этнографии, посвященная пятнадцатилетию со дня 9 сентября 1944 г.— Дня свободы. На сессии было представлено (на пленарном заседании и в языковедческой секции) шесть докладов по языкознанию.

Проф. Л. Андрейчин, директор Института болгарского языка БАН, в докладе «Болгарское языкознание после 9 сентября 1944 г.» кратко осветил развитие отечественного языковедения и дал критический анализ достижений болгарских языковедов после победы 9 сентября. Он отметил, что еще в первые послевоенные годы народная власть приняла все нужные меры для создания необходимой основы правильного развития языкознания. При БАН был создан Институт болгарского языка, в котором благодаря применению современных принципов коллективности и плановости в работе и щедрой поддержке необходимыми средствами со стороны государства в сравнительно короткие сроки проделана большая работа: завершен трехтомный словарь современного болгарского литературного языка и широко развернута работа по таким обширным проблемам, как составление диалектологического атласа, этимологического словаря, собирание и изучение болгарской топонимики; выполнена подготовительная работа по составлению многотомного толкового словаря, исторического словаря, диалектного словаря, нормативной грамматики, истории болгарского литературного языка и др. Докладчик остановился далее на ряде конкретных достижений болгарского языкознания в его различных областях за последние пятнадцать лет. В заключение доклада проф. Андрейчин отметил, что необходимо углубить работу по ряду теоретических и методологических вопросов языкознания и больше вопросов разрабатывать монографически; необходимо также обратить особое внимание на вопросы применения структуральных и математических методов к исследованию языка, в чем болгарское языкознание еще отстает.

Доклад на тему «Главные проблемы истории болгарского языка» сделал проф. К. Мичев. Вначале докладчик указал на большую сложность проблематики изучения истории болгарского языка по сравнению с историей какого-либо другого славянского языка. Церковный и литературный язык на болгарской земле еще в IX в. сложился на основе одного из мест-

ных народных говоров. Хотя с течением времени между литературным и народным языком и устанавливаются немаловажные различия, средневековые болгарские книжники продолжали смотреть на старый болгарский книжный язык, в отличие от книжников тех славянских стран, в которых в качестве книжного языка был воспринят латинский, как на свое национальное достояние, как на язык чисто славянского характера, и стремились сохранить его по возможности в чистом виде. Вопреки всем этим трудностям, говорит докладчик, в последнее время болгарским языковедам удалось установить известное число важных черт разговорной речи, которые случайно проникали в среднеболгарские памятники в момент утомления перепечата или в результате его технической невнимательности. Проф. Мирчев говорит далее о настоятельной необходимости издавать среднеболгарские памятники. Докладчик считает, что при переподписании истории болгарского языка хронологическая граница перехода от синтетизма к аналитизму должна быть отодвинута с конца XIV в., куда ее до сих пор относили, на одно или полтора столетия назад.

Доклад «Отражение новых явлений материальной и общественной жизни в болгарском словаре» сделал проф. П. Л е к о в. В связи с настоятельной необходимостью в среднем на первых порах по объему нормативном толковом словаре современного болгарского литературного языка, который бы в системе представлял современное словесное богатство, отражающее и изменение лексического наследства, докладчик считает весьма важным появление двух толковых словарей — одного (Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, И. Леков, Ст. Стойков и Цв. Тодоров, *Български тълковен речник*, София, 1955) и трехтомного [Речник на съвременния български книжовен език, т. I—III, София, 1954—1959. под ред. Ст. Романского (гл. ред), Л. Андрейчина. Ст. Илчева, И. Лекова, К. Мирчева. Ст. Стойкова и Цв. Тодорова]. От более старых болгарских лексикографических трудов эти словари отличаются пониманием того, что словарь является системой (а не беспорядочным, мозаичным собранием) лексических единиц; для словарей характерен тщательно продуманный и проверенный хорошим языковым чутьем подбор слов, разграничение устойчивых и периферийных областей лексики, характеристика каждого слова со стороны фонетики, грамматики и стиля, единство в способах подачи и толкования материала. После конкретного рассмотрения вопросов отражения новых явлений материальной и общественной действительности в болгарском словаре докладчик заметил, что сделанные замечания имеют целью положить начало сравнительному изучению словаря славянских языков с учетом сильного влияния на них русского языка и того противодействия, которое оказывают внутренние закономерности развития отдельного языка на вновь заимствуемое слово.

Доклад на тему «Современное состояние этимологических и ономастических исследований в Болгарии» сделал зам. председателя БАН акад. В. Г е о р г и е в. Акад. Георгиев говорит о начавшейся в 1957 г. работе по составлению нового этимологического словаря силами коллектива, в который входят В. Георгиев, И. Гылыбов, И. Запмов и Ст. Илчев. Докладчик приводит ряд примеров новых этимологий. Далее он делает обзор опубликованных за последние десять лет статей и отдельных заметок по вопросам болгарской этимологии. Одновременно акад. В. Георгиев отмечает, что в Болгарии работа в области этимологии существенно отстала. Во второй части доклада были рассмотрены вопросы болгарской ономастики. Докладчик подробно остановился на широко развнувшейся в этом направлении после 1945 г. работе в Институте болгарского языка по собиранию и исследованию (на основе специальной программы) местных названий. Уже опубликованы исследования П. Дурданова о Ломской и Первомайской и И. Заимова о Пирдопской околиях и готовятся к печати работы еще о семи околиях. Собран материал по другим 24 околиям; можно полагать, что по остальным 84 околиям материал будет собран, разработан и опубликован в течение ближайших 15—20 лет. В области антропонимии, отметил докладчик, работа находится в мало удовлетворительном состоянии.

Проф. Ст. С т о й к о в сделал доклад «Достижения и задачи болгарской диалектологии». Он указал, что перед болгарскими диалектологами стоят две основные задачи: составление болгарского диалектологического (лингвистического) атласа и словаря болгарских диалектов. Выполнение этих двух задач уже началось. Потребность в атласе народных говоров осознана давно, но к его осуществлению, говорит проф. Стойков, оказалось возможным приступать только в последнее время, в условиях народной власти, при братской помощи советских диалектологов-болгаристов. В 1955 г. Институт болгарского языка БАН и Институт славяноведения АН СССР приняли решение о совместной работе по составлению болгарского диалектологического атласа по специально для этой цели составленной проф. Ст. Стойковым программе, обсужденной в Софии и в Москве. К настоящему времени проведено четыре совместных болгарско-советских экспедиции, завершено собирание материала для первого тома (юго-восточная Болгария) и уже начато его картографирование в Софии и в Москве. В настоящее время ведется напряженная работа по составлению диалектного словаря. Создана обширная картотека, включающая около 150 тыс. карточек. Докладчик поясняет, что болгарский диалектный словарь будет дифференциальным и что в него будут включены только те слова, которые по своему значению или по своей форме не принадлежат к общенародной болгарской лексике и литературному языку не свойственны. Докладчик отмечает заметный рост в мо-

нографическом изучении отдельных говоров — территориальных и социальных, о чем свидетельствует ряд новых исследований.

В своем докладе «Достижения и задачи отечественного западного языкознания» доц. И. Ванков последовательно останавливается на романо-болгарских, германо-болгарских и славяно-романских языковых отношениях, на грамматических, лингво-стилистических и этимологических исследованиях, осуществленных болгарскими романистами и германистами за последние 15 лет. Докладчик говорит не только о достижениях, он указывает и на ряд нерешенных задач, намечая возможные пути работы. Тот факт, что западное языкознание в Болгарии мало продвинулось по сравнению с болгарским и славянским языкознанием, докладчик объясняет тем, что в распоряжении исследователей имеется лишь весьма незначительное количество легкодоступных материалов и документов. Кроме того, при недостаточных возможностях получения необходимых библиографических сведений исследователь рискует заняться темами уже изученными и притом при более благоприятных условиях для работы. Доц. Ванков рекомендует разрабатывать прежде всего вопросы романо-болгарских (романо-балканских) и германо-болгарских языковых связей и отношений в синхроническом и диахроническом аспектах. Сопоставительные исследования западных языков, с одной стороны, и болгарского — с другой, в области фонетики, морфологии и синтаксиса также обеспечивают самостоятельную научную ценность исследований.

Научное сообщение об изучении русского языка в Софийском государственном университете и достижениях русистики за годы народной власти сделал преподаватель филологического факультета Софийского государственного университета К. Б а б о в.

П. Пашов
(София)

Перевод с болгарского

С 21 по 24 декабря 1959 г. в Львовском гос. ун-те им. Пв. Франко проходила Вторая славистическая конференция, созванная по решению Украинского комитета славистов. В работе конференции приняли участие представители АН УССР, университетов и педагогических институтов Украины.

Конференция была открыта вступительным словом ректора Львовского ун-та члена-корр. АН УССР проф. Е. Р. Л а з а р е н к о. В тот же день были заслушаны 2 доклада: 1) «О разветвлении славистических исследований в связи с подготовкой к V Международному съезду славистов» члена-корр. АН УССР Е. П. К и р и л ю к а (Киев) и 2) «Спорные вопросы изучения стиля художественных произведений славянских литератур» проф. А. В. Ч п е р и н а (Львов).

22 и 23 декабря состоялись секционные заседания. На заседаниях языковедческой секции (руководитель проф. Е. В. Кроте-

вич) было заслушано 15 докладов и сообщений, посвященных в основном, восточно- и западнославянским языковым связям.

Некоторые новые теоретические положения были даны в докладе доц. П. П. К о в а л и к а (Львов) на тему «Словообразовательная омонимия и синонимия в именах существительных восточнославянских языков». Ковалик различает три вида омонимии и синонимии: лексическую, грамматическую и словообразовательную. Основной выявления омонимичности данной суффиксемы является словообразовательно-разрядное функционирование подчиненных ей суффиксов-омонимов. Словообразовательная (суффиксальная) синонимия выступает в рядах слов как с одинаковыми, так и с разными словообразовательными основами, но при обязательной одноразрядности суффиксов.

Исследованию славянского сравнительного синтаксиса был посвящен доклад проф. Е. В. К р о т е в и ч а (Львов) на тему «К вопросу о связи слов в славянских языках». Предложив дифференцированное изучение вопроса о связях слов с учетом всех особенностей таких образований, как словосочетание и предложение, докладчик указал, что к основным видам синтаксических отношений, какие устанавливаются между членами словосочетания и предложения, следует отнести: атрибутивные, объектные, circunstantивные и аппозитивные. Другие же средства для выражения синтаксических отношений (грамматические формы слов, служебные слова, порядок слов, интонация) между членами словосочетания (а не предложения!) первостепенного значения не имеют. Предикативные и полупредикативные отношения выступают только в предложении.

Проблему изучения еще не исследованных вопросов о лексических взаимоотношениях древнерусского языка эпохи Киевской Руси и польского языка поставил в своем докладе «Южнорусские и польские лексические взаимосвязи в XIII ст.» А. П. Г е н с и о р с к и й (Львов). На основании анализа текстов Галичско-Волынской летописи докладчик пришел к выводам о древности взаимозаимствований в области общественной, торговой и военно-экономической лексики, подчеркивая высокую для этого времени ступень развития древнерусского литературного языка.

В докладе на тему «Словацко-украинские языковые отношения» доц. М. П. О н и ш к е в и ч (Львов), используя материал своего рукописного словаря бойковского диалекта, выделил ряд характерных общих словацко-украинских языковых черт.

Разысканиям в области морфологии посвятил свой доклад на тему «Именительный-винительный единственного числа имен существительных среднего рода -*ijo*-основ в украинском и словацком языках» доц. Н. А. П у ш к а р (Львов). Опираясь на сравнительный материал, Н. А. Пушкар пришел к выводу, что в украинском языке существительные -*ijo*-основ ср. рода (тип *знання, збіжжя* и под.) выступают в большинстве диалектов (в том числе за-

карпатских) и в литературном языке; в словацком языке слова такого типа выступают в среднесловацком диалекте, где их появление автор приписывает фонематическому характеру гласного *-e* (*-ä*) при второстепенной роли других моментов (синтаксических, действия ритмического закона, аналогии).

Доклад «О причинах изменения в строе, составе и употреблении безличных местоимений в истории восточнославянских языков» был представлен доц. С. П. Самиленко (Запорожье).

Ст. преподаватель В. П. Токар (Днепропетровск) сделал доклад на тему «История восточнославянских имен существительных женского рода, образуемых с помощью суффикса *-k/-a* от основ имен числительных», указав на утрату продуктивности более древнего суффикса *-ица* в пользу суффикса *-k/-a*.

Были заслушаны также сообщения по отдельным малопроследованным проблемам: «Займствованные слова, их оформление и склонение в сербском языке» доц. З. Г. Розовой (Львов). «К истории формирования системы лужицкого именного склонения» и. о. доц. К. К. Трофимовича (Львов). «К истории функции дательного падежа в восточнославянских языках» канд. филол. наук Я. А. Спрынчака (Днепропетровск). «Роль поэтического стиля в развитии языка украинской советской художественной литературы» канд. филол. наук З. Т. Франко (Киев). «Субстантивированные прилагательные в обозначениях лиц в славянских языках» Д. Г. Гринчишина (Львов). «К вопросу истории названия *русь*» доц. В. В. Кобылянского (Львов). «Наблюдения над лексическими полионизмами в украинском актовом языке XV — начала XVII ст.» М. Л. Худаша (Львов).

Вопросы, которые ставили перед собой докладчики, живая дискуссия при обсуждении докладов показали возросший интерес со стороны широкой научной общественности республики к решению ряда проблем в области славистики. поставленных IV Международным съездом славистов в Москве. Все это несомненно является положительным моментом в стадии подготовки советских славистов к предстоящему в 1963 г. V Международному съезду славистов.

Материалы конференции будут изданы отдельным сборником.

В. Андел
(Львов)

Со 2 по 6 февраля 1960 г. в Ленинграде состоялась научная конференция кафедр русского языка пединститутов северного зонального объединения. На заседаниях было заслушано и подвергнуто обсуждению 15 докладов по вопросам русского языка и методики его преподавания. Конференция открылась докладом проф. Н. П. Гринковой «Задачи зонального объединения пединститутов».

Тематика лингвистических докладов группировалась по двум направлениям:

синтаксис сложного предложения и язык писателя. В ряде докладов были поставлены общие спорные вопросы синтаксиса. Оживленное обсуждение вызвал доклад проф. А. Г. Руднева (Ленинград) «Проблема бессоюзных сложных предложений в русском языке», автор которого, поддерживая традиционную точку зрения, отрицал возможность выделения бессоюзных сложных предложений в особый тип. Доклад В. И. Кодохова (Ленинград) был посвящен проблеме разграничения возможных аспектов изучения различных типов сложного предложения. Доц. С. Г. Ильенко (Ленинград) в докладе «Сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения» и доц. А. Н. Суровцев (Ленинград) в докладе «Сложноподчиненная конструкция с составными союзами» по-новому поставили конкретные вопросы толкования сложноподчиненных предложений указанных видов. Особенно на дискуссионном оказался вопрос о правомерности выделения сравнительных оборотов из системы придаточных предложений.

В области изучения языка писателя преобладающими на конференции были вопросы о принципах отбора писателем определенного слоя лексики. Таковы доклады доц. В. В. Степановой (Ленинград) «Словарь как средство создания колорита эпохи (по роману А. Н. Толстого „Петр I“)» и проф. Н. А. Мещерского (Петрозаводск) «Ипоязычная лексика в произведениях В. В. Маяковского». В докладе асп. Л. И. Донецких (Ленинград) «Относительные прилагательные с качественным значением в романах К. Федина „Первые радости“ и „Необыкновенное лето“» был поставлен вопрос об использовании писателем определенной семантико-грамматической категории в художественно-образовательных целях. Одной из особенностей литературного языка XVIII в. был посвящен доклад асс. Р. Д. Лебедевой (Киров) «Типы периодов в „Истории Государства Российского“ Карамзина».

В дополнение к общей тематике конференции были представлены доклады проф. А. П. Евгеньевой (Ленинград) «Тематические словари и их задачи» и доц. С. А. Фессалоницкого (Владимир) «Лексико-грамматические связи дательного слова».

При заслушивании и обсуждении методических докладов выявилась большая экспериментальная работа, которая ведется в отдельных вузах в области методики преподавания русского языка. Представители различных вузов провели взаимную информацию о характере своей научно-исследовательской работы.

Участники конференции одобрили введенную Министерством просвещения практику зональных объединений и высказали свои пожелания в отношении будущих заседаний.

В. Л. Георгиева
(Ленинград)

ПЕРВЫЙ ОПЫТ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА С РУССКОГО ЯЗЫКА НА КИТАЙСКИЙ

Десятилетие провозглашения Китайской Народной Республики ознаменовалось замечательным достижением китайских лингвистов — успешно осуществлен экспериментальный перевод с русского языка на китайский на первой отечественной производственной быстродействующей электронной вычислительной машине. Проверенный в ходе эксперимента алгоритм бинарного русско-китайского перевода разработан лингвистами и математиками Института языкознания и Института вычислительной техники АН КНР. Алгоритм составлялся на материале книги И. Г. Петровского «Лекции об уравнениях с частными производны-

ми». В ходе эксперимента переведено несколько разнотипных сравнительно сложных по синтаксической структуре фраз, одна из которых приводится ниже.

Введенная фраза на русском языке: *Задача Коши для этого уравнения состоит в нахождении решения удовлетворяющего следующим начальным условиям*. Полученный перевод на китайском языке: *Чжэга фанчэн дэ Кэси зэньти цзайюй цю маньцзусяе чуши тзюцзянь дэ цзе*. Вывод перевода осуществлен цифровым кодом.

А. А. Зезнов
(Москва)

ПЕРВЫЕ ПЛОГД РАЗВИТИЯ ГАГАУЗСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

30 июля 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета Молд. ССР была введена письменность для гагаузского языка¹. Гагаузский алфавит основан на русской графике с добавлением трех букв *ä, ü, ä* для обозначения специфических гласных гагаузского языка². Научные сотрудники НИИ школ Министерства просвещения Молд. ССР и сектора тюркских языков Института языкознания АН СССР совместно разработали правила орфографии этого языка³. Постановлением Совета Министров Молд. ССР от 16 ноября 1957 г. в школах районов с гагаузским населением с 1 сентября 1958 г. введено начальное обучение на гагаузском языке (начиная с подготовительного по 3-й классы; с 4-го класса обучение ведется на русском, а родной язык изучается как предмет).

До воссоединения Бессарабии с Советским Союзом в 1940 г. на гагаузском языке существовала лишь церковная литература, издававшаяся в Кишиневе гагаузом протоперем М. Чакиром⁴. Эти книги,

печатавшиеся с применением русского. а после 1918 г. — румынского алфавитов, являются библиографической редкостью. В настоящее время впервые в истории гагаузского народа на его родном языке издаются школьные учебники, газета, произведения художественной литературы.

Основную работу по составлению, редактированию и переводу с русского и молдавского языков учебников для гагаузской школы ведет научный сотрудник НИИ школ Д. Н. Танасоглу. Уже создан ряд учебников и программ для начальной школы на гагаузском языке⁵.

¹ Гагаузский язык относится к юго-западной (огузской) группе тюркских языков. Гагаузы в количестве 124 тыс. человек живут в южных районах Молд. ССР и Одесской обл. УССР.

² В гагаузском алфавите не получил отражения аффрикативный согласный, обозначаемый в ряде алфавитов других тюркских языков буквой *ç*.

³ См. «Правила орфографии гагаузского языка», Кишинев, 1958.

⁴ Нам известны в гагаузском переводе М. Чакира: евангелие, псалтырь, священная история Ветхого и Нового завета, история церкви, литургия, часослов, молебны и акафист, молитвенник (изданы в 10—30-х гг. XX в.). Кроме того, М. Чакир является автором краткого гагаузо-румынского словаря [M. Ciachir, Dicționar gagauso (turco)-român, Chișinău, 1938] и сочинения «Gagauzların istoriası» («История гагаузов») (год и место издания нам неизвестны).

⁵ См.: Д. Н. Танасоглу, Букварь (Букварь), Кишинев, 1958; егo же, Гагауз дили. Башланкы школань хазырлык классы ичин (Гагаузский язык. Для подготовительного класса начальной школы), Кишинев, 1959; егo же, Гагауз дили. Башланкы школань 1-жи классы ичин (Гагаузский язык. Для 1-го класса начальной школы), Кишинев, 1959; Н. П. Арабаджий, Л. А. Покровская, Д. Н. Танасоглу, Гагауз дили. Гагауз школасынын 4—5-жи класслары ичин (Гагаузский язык. Для 4—5-го классов гагаузской школы), Кишинев, 1959; А. С. Пчелко хем Г. Б. Поляк. Арифметика. Гагауз башланкы школань хазырлык классы ичин (Для подготовительного класса гагаузской начальной школы). Рус дилиндан чевирди Д. Н. Танасоглу, Кишинев, 1958; Г. Ф. Смирнова, В. А. Сычева. Русский язык. Учебник для 1-го класса гагаузской начальной школы, Кишинев, 1959; А. А. Тукан, Ана дили. Окумак клады хазырлык классы ичин (Родная речь. Книга для чтения для подготовительного класса). Кишинев, 1958; И. Н. Чакир хем Л. С. Славова, Ана дили. Гагауз башланкы школань 1-жи классы ичин (Родная речь. Для 1-го класса гагаузской начальной школы), Кишинев, 1959; А. С. Пчелко хем Г. Б. Поляк. Арифметика. Гагауз башланкы школань 1-жи классы ичин (Для 1-го

Создание в 1958—1959 гг. более десяти учебников и учебных пособий для гагаузской школы является большим достижением местных работников просвещения. Приходится отметить, однако, что плодотворный опыт развития письменности гагаузского языка и начального обучения на родном языке гагаузов Молдавии до сих пор не использован в УССР, где проживает около 30 тыс. гагаузского населения.

Первые гагаузские учебники по своему содержанию и языку стоят на достаточно высоком уровне. В них помещены как переводные тексты, так и очерки, рассказы и стихи, принадлежащие перу авторов учебников и гагаузских писателей и поэтов, а также фольклорные произведения. Тексты, взятые из русских и молдавских школьных пособий, даются в большинстве случаев в хорошем литературном переводе.

Сложнее обстоит дело с изложением в учебниках грамматических и арифметических правил: процесс создания учебно-научной терминологии в недавно бесписьменном гагаузском языке только сейчас начинается и связан с неизбывными трудностями. Большая часть новых терминов успешно создается при помощи средств самого гагаузского языка, например: *ѳреджи* «учитель», *ѳренжи* «ученик», *доорунаймак* «правописание», *кысым* «слог», *ургу* «ударение», *сбз пайлары* «части речи», *дорудак хал* «направительный (дателный) падеж», *ерлик хал* «местный падеж», *чыкыш хал* «исходный падеж», *толамак* «сложение», *чыкармак* «вычитание», *катламак* «умножение», *пайлаштырмак* «деление» и т. п. Грамматическая терминология создается и на базе международных и русских терминов, например: *вокал* *сеслэр* «гласные звуки», *консон* *сеслэр* «согласные звуки», *субъект* «подлежащее», *предикат* «сказуемое» и т. п. Вместе с тем в школьные учебники вводится целый ряд непонятных гагаузам слов арабского и персидского происхождения, заимствуемых из других тюркских языков, например: араб. *девет* «государство», араб. *хукümet* «правительство», араб. *нешират* «издательство», перс.-тюрк. *азадлык* «свобода», перс.-тюрк. *сербестли* «свободный», перс.-тюрк. *резберлик* «руководство, водительство» и т. п. Но если в азербайджанском, татарском, турецком, узбекском языках, имеющих давние письменно-литературные традиции и испытавших большое влияние исламской культуры, многие арабо-персидские заимствования

органически вошли в лексический фонд, то для гагаузского эти слова являются чуждыми. Введение их в гагаузский литературный язык представляется неоправданным, тем более, что в ряде случаев этот язык для выражения данных понятий располагает словами тюркского корня или заимствованиями из славянских (болгарского, русского, украинского) и молдавского языков. Например, вместо араб. *девет* можно было бы принять бытующее в гагаузском молд. *stat* «государство», вместо искусственного образования *мѳмкѳнлѳкѳлѳк* — существующее в гагаузском *колайлык* «возможность»; при наличии в гагаузском болг. *болыница* нецелесообразно вводить арабо-перс. *хастахане* «больница»; не представляется необходимым и заимствование неизвестного гагаузам араб. *айла* «семья», в то время как в этом значении обычно употребляется молд. *фамилie* (понятие «фамилia» передается словом *лап* < араб. *ла'акаб* «прозвище») и т. п.

В учебниках по гагаузскому языку можно заметить, кроме того, тенденцию ориентироваться в построении предложений и грамматическом их оформлении на родственные гагаузскому азербайджанский и турецкий языки. Использование богатого опыта старописьменных языков при создании учебной литературы на младописьменном гагаузском языке — факт сам по себе положительный. Но не следует при этом забывать и о специфике самого гагаузского языка⁶.

Ориентация на старописьменные тюркские литературные языки в области терминологии и синтаксиса может сильно отдалить гагаузский литературный язык от народно-разговорного и сделать его мало понятным для широких кругов гагаузского населения. Процесс формирования гагаузского литературного языка находится в начальной стадии. Поэтому представляется особенно важным именно теперь направить его по верному руслу и не допустить в современных условиях известных ошибок и заблуждений, имевших место в первые годы развития некоторых младописьменных тюркских литературных языков⁷. В связи с этим следует сказать несколько слов о первой гагаузской газете⁸, основной материал которой составляют статьи и заметки в переводе с русского языка. Часто употребляющиеся здесь кальки с русских предложений и фразеологических оборотов обуславливают известную искусственность языка гагаузской газеты. Эти

класса гагаузской начальной школы). Рус дилиндян чевирди Ф. А. Ангели, Кишинев, 1959; «Программнар бацланкы школанын хазырлык классы ичин 1958—1959 ѳретмā йылына» («Программы для пригготовительного класса начальной школы на 1958—1959 учебный год»), Кишинэу, 1958; «Программнар бацланкы школанын хазырлык хем биринжи класслары ичин 1959—1960 ѳретмā йылына» («Программы для пригготовительного и первого классов начальной школы на 1959—1960 учебный год»), Кишинев, 1959.

⁶ О своеобразии гагаузского языка см: Н. К. Дмитриев, Гагаузские этюды, «Уч. зап. [ЛГУ]», № 20. Серия филол. наук, вып. 1, 1939, стр. 3.

⁷ См. об этом, например: Н. А. Баскаков, Развитие языков и письменности пародов СССР (На материале тюркских языков), ВЯ, 1952, № 3, стр. 27.

⁸ Гагаузская газета-листок издается в Кишиневе как приложение к республиканской газете «Молдова социалиста» два раза в месяц и рассылается в районы с гагаузским населением.

недостатки и трудности, неизбежные в первые годы развития гагаузского литературного языка, со временем будут, несомненно, преодолены. При всем огромном общественно-культурном значении первой газеты на гагаузском языке нельзя не отметить тот вопиющий факт, что она до сих пор печатается вне соответствия с утвержденными правительственными органами Молдавии гагаузским алфавитом и правилами орфографии. Надо надеяться, что такое ненормальное положение с изданием гагаузской газеты в скором времени будет исправлено.

Значительным событием в развитии гагаузской национальной культуры является выход в свет первого литературного сборника на гагаузском языке⁹. Образцы гагаузского фольклора, составляющие первую часть сборника, имеют большую научную и художественную ценность¹⁰. Особенно это касается народных песен, представленных здесь подлинными текстами с сохранением на письме основных особенностей местных говоров гагаузского языка; следует, однако, сказать, что возможность использования языковедами этого диалектологического материала затруднена тем, что в сборнике не сохранены указания собирателей песен на те районы и села, в которых были сделаны записи. Большой интерес представляет и вторая часть сборника, заключающая в себе стихи гагаузских поэтов Н. Арабаджи, Н. Вабоглу, К. Василиоглу, М. Кёсё, Ф. Попаза, Д. Танасоглу, Н. Танасоглу, А. Тукана, П. Чакира. Среди них красочность языка особенно выделяются стихи молодого уч-

теля Д. Карачобана, первого гагауз-студента Литературного института им. А. М. Горького. Эти первые ростки гагаузской поэзии свидетельствуют о пробуждении богатых творческих сил гагаузского народа, создающего ныне свою национальную культуру.

В настоящее время в Молдавской республике ведется дальнейшая работа по составлению гагаузских школьных учебников, по созданию учебно-научной и общественно-политической терминологии, по разработке литературных норм языка и по составлению словарей. Недавно вышел в свет «Орфографический словарь гагаузского языка»¹¹: надо отметить, что этот словарь составлен на недостаточно высоком научном и методическом уровне. Готовится к печати школьный русско-гагаузский словарь, составленный учителем-пенсционером Н. Т. Танасоглу; продолжается работа над школьным гагауз-русским словарем. Ввиду того, что среди гагаузов пока еще нет специалистов-языковедов, местные работники-энтузиасты нуждаются в поддержке и помощи со стороны опытных лексикографов, работающих по составлению словарей других тюркских языков. В самой Молдавии уже сделан первый шаг в области организации научно-исследовательской работы по гагаузскому языку: в 1959 г. при Институте языка и литературы Молд. филиала АН СССР создана комплексная болгаро-гагаузоведческая группа, которая будет занята исследованием истории, этнографии, фольклора и языка болгар и гагаузов, живущих в Молд. ССР и УССР.

Перед гагаузской интеллигенцией стоят огромные и важные задачи в деле дальнейшего развития гагаузского литературного языка и приобщения гагаузского народа к лучшим творениям русской и мировой культуры.

Л. А. Покровская
(Москва)

¹¹ Д. Н. Танасоглу, Гагаузский орфографический словарь, Кишинев, 1960.

О ЯЗЫКЕ КАЗАХСТАНСКИХ ГАГАУЗОВ

В настоящее время на территории Казахстана, в основном в Кокпектинском (села Кокпекты, Романовка, Прохладное, Ивановка, Буконь), Жармынском (село Георгиевка), Чарском, Аксуатском, Аягузском и Урджарском районах Семипалатинской области, а также местами в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях проживают гагаузы (группами по несколько десятков человек). Это потомки гагаузов-колонистов, переселенных царским правительством из Бессарабии после столыпинской реформы в 1908—1914 гг.

До последнего времени казахстанские гагаузы не привлекали к себе внимания исследователей. Почти в изучении особенностей языка гагаузов, более полувека живущих в гуще казахского населения, сле-

лан покойным проф. С. А. Аманжоловым и Г. К. Калиевым. Летом 1955 и 1956 гг. они побывали в местах поселения гагаузов в Тарбагатайском р-не Восточно-Казахстанской и Кокпектинском р-не Семипалатинской областей, где собрали сведения о казахстанских гагаузах, записали несколько десятков слов и сказку «Ашык-Гариб», отметив при этом в языке казахстанских гагаузов ряд диалектных особенностей.

В июне—июле 1959 г. Институтом языка и литературы АН Каз. ССР был проведен экспедиционный выезд в Кокпектинский и Жармынский районы Семипалатинской области с целью изучения языка казахстанских гагаузов. Было выяснено, что здесь проживает около 400 гагаузов (главным

образом в Кокпектинском районе), являющихся в основном выходцами или потомками выходцев из сел Вулканешты, Етуля, Гаваносы, Чепмекёй и др. бывшей Бессарабской губернии. В документах они пишутся болгарам, в качестве самоназвания употребляя этнонимы «гагауз» и «гаджал», язык же свой именуют «түрк дили».

Из уст рассказчиков-гагаузов было записано значительное количество фольклорного материала; записывались также гагаузские слова по разнообразной тематике. В языке фольклора наблюдаются некоторые особенности, которые вызваны, по-видимому, диалектными различиями самого гагаузского языка. Таковы, например, преимущественное употребление формы настоящего времени на -ый вместо формы на -эр (алый «берет», беклий «ждет»), переход *x > f* (фороз < хороз «петух», фору < хору «тапец»), частичное нарушение сингармонизма в аффиксе множественного числа в глагольных временных формах (гидийлар «уходят», ўреншлар «учатся»), спорадическая редукция *p* в аффиксе множественного числа (терзилл «портные», отурыйла

«сидят») и др. В речи нескольких гагаузов Кокпектинского района замечены языковые особенности, характерные для гагаузского говора копчаклинцев, небольшое число которых проживает в Аягузском районе: боодай вместо буудай «пшеница», форма настоящего времени на -эр (оинээр «играет», гóрер «видит»).

Язык казахстанских гагаузов сохраняет следы сильного влияния славянских языков в области лексики, фонетики и грамматики. В речи отдельных гагаузов Кокпектинского района Семипалатинской области наблюдается переход *ч > ш* (кашты «убежал», ишти «выпил», ешти «переправился»), что связано, по-видимому, с влиянием казахского языка. Принимая во внимание, что говор казахстанских гагаузов может представить известный интерес как образец взаимодействия двух родственных языков разных подгрупп, Институт языка и литературы АН Каз. ССР намечает продолжить изучение языковых особенностей гагаузов Семипалатинской области.

А. С. Аманжолов

(Алма-Ата)

ОБ ИЗУЧЕНИИ УЗБЕКСКИХ ГОВОРОВ*

Изучение узбекских говоров Самаркандской области началось в Узбекском гос. ун-те в 30-х годах, когда под руководством проф. У. Т. Турсунова были организованы диалектологические экспедиции в кишлаки Самаркандской области. В результате этих экспедиций были обследованы узбекские говоры кишлаков Ўсман, Калтатай и Багдан.

Пленисивное и более плодотворное изучение узбекских говоров Самаркандской области началось с 1950 г., когда кафедра узбекского языкознания поставила перед собой задачу изучения этих говоров в монографическом плане. Первая диалектологическая экспедиция (1950 г.) исследовала бахмалский говор узбекского языка, бытующий на территории Кара-Кишлакского (ныне Галля-Аральского) района. Затем были организованы диалектологические экспедиции в Галля-Аральский (1951—1954 гг.), Катта-Курганский и г. Катта-Курган (1958—1959 гг.), Кара-Дарьинский (1958—1959 гг.), Пахтакорский (1951 г., 1954 г.), Митанский (1958—1959 гг.), Пай-Арынский и Наримановский районы (1955—1957 гг.). Было обращено внимание также на изучение говоров г. Самарканда и прилегающих к нему районов (Самарканд-сельский, Ўргутский и Комсомольский районы).

Изучение узбекских говоров в УзГу не ограничивалось обследованием говоров Самаркандской области; шахрисябзскому

(Кашка-Дарьинская область), гиждуванскому (Бухарская область), янгперскому (Ташкентская область), гурланскому и мангытскому (Хорезмская область) говорам посвящены более десяти дипломных и курсовых работ.

На основе собранных материалов написано несколько кандидатских диссертаций: «Галля-аральский говор Самаркандской области» В. Эгамовым (Самарканд, 1954) и «Бахмалский говор узбекского языка» Х. Данияровым (Москва, 1955), где указанные говоры изучаются в сопоставлении с другими джекающими узбекскими говорами, а также «Карнабский говор узбекского языка» Н. Раджабовым (Самарканд, 1958) и «Шахрисябзский говор узбекского языка» Б. Джуряевым (Москва, 1959), где исследуются окающие узбекские говоры Самаркандской и Кашка-Дарьинской областей. Над кандидатской диссертацией «Наймаанские говоры Катта-Кургана и прилегающих к нему районов» работает М. Валиев. За последние 3 года опубликован ряд статей, которые выполнены по диалектологическим материалам кафедры узбекского языкознания и представляют собой результаты последующего углубленного изучения различных сторон лексики, фонетики и грамматики бахмалского, буркутского, галля-аральского, карнабского и шахрисябзского говоров¹. Определенный вклад в изучение узбекских говоров

* В настоящем сообщении используются материалы статьи Х. Даниярова, Н. Раджабова и У. Т. Турсунова, предназначавшейся для публикации в журнале «Ўзбек тили ва адабиёти масалалари».

¹ См. «Труды Узб. гос. ун-та им. Алишера Навои». Новая серия. вып. 66. Филол. фак-т. Кафедра узбекского языкознания, Самарканд, 1956; т а м ж е, вып. 77, 1958; т а м ж е, вып. 91, 1959.

вносят также студенческие дипломные и курсовые работы; на заседаниях лингвистического кружка и научно-теоретических конференциях студенты УзГУ выступают с докладами, посвященными изучению узбекских говоров.

Исследование узбекских народных говоров позволяет разделить говоры Самаркандской области, в основном, на две большие группы: 1) йекающую и 2) джекающую.

Йекающая группа, среди характерных черт которой можно отметить, например, шестифонемный вокализм и наличие пяти падежей, охватывает говор г. Самарканда (к нему примыкают частично говоры Комсомольского, Самарканд-сельского и Ургутского районов), говоры городов Катта-Кургана и Джизака, а также говоры Карнаба (Пахтакорский район). Багдана (Фаришский район), Пайшанбы (райцентра Кара-Дарьинского района) и прилегающих к нему окрестностей, кара-тептинский говор (Ургутский район), тюркские говоры в Галля-Аральском, Митанском и Джизакском районах, арабские говоры (представители этих говоров живут в Паст-Даргомском, Катта-Курганском, Кара-Дарьинском, Пштыханском и Самарканд-сельском районах), туркменские говоры (туркмены живут западнее г. Самарканда и на юге Паст-Даргомского района) и иранские (носители их живут на территориях г. Самарканда, г. Джизака и в Комсомольском районе)².

В свою очередь йекающие говоры в соответствии со своими характерными чертами делятся на подгруппы, которые различаются друг от друга некоторыми фонетическими, морфологическими и лексическими особенностями. Например, в Самаркандском, Катта-Курганском и Пайшанбинском говорах имеет место смещение функций местного и направительного падежей при преобладающем употреблении направительного падежа. Наиболее интересной особенностью вокализма багданского и туркменского говоров является сохранение древнетюркской долготы гласных; первичную долготу гласных можно

наблюдать также, например, в кара-булакском, пиканском и хорезмском говорах.

Все остальные кишлачные говоры Самаркандской области, занимающие обширную территорию, относятся к джекающим говорам узбекского языка, которые сближаются по наличию в них ряда специфических черт в области фонетики (например, сохранение сингармонизма, отсутствие звуков *х, ф, ж, ц*, замена звуков *қ, ғ, к, ғ* губно-губным *в*, широкое распространение таких фонетических процессов, как ассимиляция, протеза, метатеза, элизия и др.), морфологии (например, наличие шести падежей, употребление личных местоимений единственного числа в формах *мэн, сэн, у<ул*) и лексики.

Однако здесь обнаруживаются также отдельные черты, характерные для одного джекающего говора и отсутствующие в других. Например, в галля-аральском, бахмалском и кыркском происходит замена звуков *е, п, ф* литературного языка звуком *б* (ср. *шыбақы* вместо *сыеқы*, *сыбай* вместо *сипоэи*, *сабыл* вместо *софдил*, *табақ* вместо *тооқы*), вместо *х* литературного языка употребляется *қ* (*бақмал* вместо *бахмал*, *қала* вместо *зола*, *қатын* вместо *хотин*, *усыңат* вместо *хусни хат*, *қалқ* вместо *халқ*). личные местоимения единственного числа в направительном падеже имеют формы *маған/мзэйн* (лит. *меня*), *саған/сзэйн* (лит. *тебя*), *уган/оган* (лит. *у него*). Во всех остальных говорах Самаркандской области, за исключением некоторых говоров, находящихся на территориях Наримановского, Джизакского, Зааминского, Митанского, Джамбайского, Фаришского (в кишлаках Карабал, Устухан) районов, эти явления не наблюдаются: в то же время здесь зафиксирован переход *қ* в *к* (*Қодир* > *Кадыр* > *қари* > *кары* и др.), направительный падеж личных местоимений единственного числа — *мэнә, сэнә, уңә*.

В настоящее время кафедры узбекского языкознания под руководством проф. У. Т. Турсунова работает над выполнением перспективного семилетнего плана изучения узбекских народных говоров, согласно которому предусматривается сбор и систематизация материалов по джекающим и йекающим говорам Самаркандской области, а также предполагается приступить к составлению диалектологической карты и атласа узбекских говоров Самаркандской области.

Н. Раджабов
(Самарканд)

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

Государственное издательство физико-математической литературы (Москва) начало в 1958 г. выпускать периодические сборники «Проблемы кибернетики» под ред. А. А. Ляпунова. В настоящее время вышли 2 сборника. Сборники состоят из нескольких разделов, в которых разрабатываются общие вопросы кибернетики, во-

просы программирования, теории управляющих систем, управляющих устройств и вычислительных машин, вопросы математической лингвистики и другие вопросы.

Несомненный интерес для языковедов представляет ряд статей в разделе «Общие вопросы». Это статья А. А. Ляпунова «О некоторых общих вопросах кибернетики»

(вып. 1, стр. 5—22), где определяются возможности вычислительной машины и ее соотношение с мышлением, проблемы переработки информации, логические схемы алгоритмов, общность кибернетики с другими науками. В статье С. В. Яблонского «Основные понятия кибернетики» (вып. 2, стр. 7—38) устанавливается содержание предмета кибернетики, понятия сети, памяти, элементов и элементарных подсхем, информации, управляющих систем и их особенностей. В статье В. А. Успенского «К проблеме построения машинного языка для информационной машины» (вып. 2, стр. 39—50) ставятся вопросы автоматизации процесса поиска нужной информации с целью быстрого и полного ее получения и создания в связи с этим абстрактного языка, на котором будет храниться информация в машине, вопросы перевода с реальных языков на абстрактный и записи информации в машину, вопросы, связанные с математической логикой (символическая запись понятий, суждений, контекста).

Лингвистический интерес представляют также статьи раздела «Вопросы математической лингвистики». В статье О. С. Кулагиной «Об одном способе определения грамматических понятий на базе теории множеств» (вып. 1, стр. 203—214) делается попытка построения формализованной системы грамматики для машинного перевода. Статья Т. Н. Молошиной «Вопросы различения омонимов при машинном переводе с английского языка на русский» (вып. 1, стр. 215—221) ставит целью описать в общих чертах систему правил распознавания и устранения омонимии при ма-

шинном переводе. И. А. Мельчук в статье «О машинном переводе с венгерского языка на русский» (вып. 1, стр. 222—264) излагает опытный вариант правил для машинного перевода научных текстов с венгерского языка на русский.

Статья О. С. Кулагиной «Об операторном описании алгоритмов перевода и автоматизации процесса их программирования» (вып. 2, стр. 289—303) рассматривает вопрос, имеющий, помимо теоретического, большое практическое значение. Алгоритм анализа переводимой фразы представляется ею в виде последовательности операторов, работающих в установленном порядке; при этом работают группы операторов (операторы проверки условий, операторы последовательности, результирующие операторы, нейтральные операторы). Практические результаты машинного перевода, полученные в результате работ 1956—1957 гг., изложены в статье О. С. Кулагиной и Г. В. Вакulовской «Опытные переводы с французского языка на русский на машине „Стрела“» (вып. 2, стр. 283—288).

В разделе «Хроника» сообщается о работе семинара по кибернетике при МГУ, научно-технического совещания по кибернетике в Лаборатории электро моделирования АН СССР, ленинградского общезинверситетского семинара по машинному переводу, Всесоюзной конференции по машинному переводу в Москве и II Международного конгресса по кибернетике в Намюре (Бельгия).

Н. Н. Леонтьева
(Москва)

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Информационный бюллетень ЮНЕСКО. — 1960, № 65 — 67.

Грамматика современного русского языка. Ученые записки Московского городского пед. ин-та им. В. П. Потемкина. Т. I. XXIII. Вып. 6. Кафедра русского языка — 1959. 423 стр.

Польсько-український словник у двох томах. Т. 2. Ч. 1 (О—Р). — Київ, 1959. 576 стр.

Тематика научно-исследовательских работ в Сибири и на Дальнем Востоке на 1959—1965 годы. Общественные науки. — Новосибирск, 1959. 122 стр.

Ученые записки Курского гос. пед. ин-та. Вып. IX (Гуманитарный цикл). — 1959. 615 стр.

М. Б. Балакаев. Современный казахский язык. Синтаксис. — Алма-Ата, 1959. 235 стр.

Т. М. Гарипов. Башкирское именное словообразование. — Уфа, 1959. 224 стр.

Ю. О. Карпенко. Суфіксальний словотвір прикметників у мові Ю. Федьковича (-н-, -ськ-, -ов-). Наукові записки Чернівецького державного університету. Т. XXXVIII, 1959. Серія філологічних наук. Вип. 9. Стр. 203—246. [отд. отт.].

Ю. О. Карпенко. Програма з спеціального курсу «Українська топоніміка». Чернівецький державний університет. Кафедра української мови. — 1959. 10 стр. [стеклограф.].

Л. Н. Рыньков. Переносное употребление слов в романах П. Пльфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». (Ученые записки Кустанайского гос. пед. ин-та. Серия филологическая. Т. IV. — 1959. Стр. 151—204) [отд. отт.].

А. Сунрун. О русских числительных. — Фрунзе, 1959. 172 стр.

А. Усманов. Краткий словарь интернациональных слов. — Ташкент, 1959. [на узбек. яз.].

Б. М. Юнусалев. Киргизская лексикология. Ч. I (Развитие корневых слов). — Фрунзе, 1959. 248 стр.

Cercetări de lingvistică. Anul III. — Januarie — decembrie 1958. 327 стр.

Język polski. XXXIX. — 1959. № 4. Стр. 241—320.

Mélanges de linguistique et de philologie. Fernand Mossé in memoriam. — Paris, 1959. 534 стр.

Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university. Ročn. VII. Rada archeologicko-klasická (E). Číslo 3. — Brno. 1958. 160 стр. + XVI табл.

Slavia orientalis. Roczn. VIII. Nr. 2—3—

Warszawa, 1959. 192 стр.

Travaux de l'Institut de linguistique. Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Paris. Vol. III. — 1958. 207 стр. [ротапринт].

Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. Festjahrgang zur 550-Jahrfeier. Jg. 8 (1958—1959). Hf. 4. Стр. 537—750.

Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. Jg. 9 (1959—1960), Hf. 4. Стр. 1—169. [Als Manuskript gedruckt].

Zpravodaj. Místopisnékomise SAV. Ročn. 1, 1960. — Praha. 55 стр. [стеклограф.].

O. Ducháček. Latin bellus — vieux français bel. Reprinted from «Studia neophilologica». A journal of Germanic and Romance philology. Vol. XXX, № 2. — 1958. Стр. 175—191. [отд. отт.].

O. Ducháček. La beauté, le beau — la jolisie, le joli. Philologica pragensia. II. — 1959. Стр. 45—49. [отд. отт.].

Z. Klemensiewicz. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Wydanie drugie. — Warszawa, 1960. 153 стр.

M. Kravar. Oko spora o Homerovu prospektivu. Živa antika. Antiquité vivante. God. V. Sv. 2. — Skoplje, 1955. Стр. 247—264. [отд. отт.].

M. Kravar. Upotreba latinskoga perfekta u «relativu». Živa antika. Antiquité vivante. God. VI. Sv. 1. — Skoplje, 1956. Стр. 10—15. [отд. отт.].

M. Kravar. Bilješka o historijskom prezentu u latinskom. Živa antika. Antiquité vivante. God. VI. Sv. 2. — Skoplje, 1957. Стр. 4—5 [отд. отт.].

M. Kravar. Vidske osobine latinskoga perfekta. Živa antika. Antiquité vivante. God. IX. Sv. 1—2. Стр. 137—150.

M. Kravar. Ime Σαρών u srpsko-hrvatskom liku. Živa antika. Antiquité vivante. God. IX. Sv. 1—2. — Skoplje, 1959. Стр. 151—153. [отд. отт.].

H. Kurkowska, S. Skorupka. Stylistyka polska. Zarys. — Warszawa, 1959. 368 стр.

O. Novak. Po stopách realistických tradic francouzského písemnictví. Spisy University v Brně filosofická fakulta. Číslo 54. — Brno. 1958. 372 стр.

K. Ohnesorg. Druhá fonetická studie o dětské řeči. Spisy University v Brně filosofická fakulta. Číslo 57. — Brno, 1959. 164 стр.

L. Sadnik. Slavische Akzentuation. (va I. Vorhistorische Zeit (Bibliotheca Slavic). — 1959. XVI, 172 стр.

SOMMAIRE

Articles: A. S. Mel'ničuk (Kiev). Vestiges of the laryngeal explosive in the Indo-European languages; E. Peruzzi (Florence). Structure et langue des inscriptions minoennes; **Discussions:** A. N. Gvozdev. Sur la composition phonétique des morphèmes; Sur la formation des langues nationales littéraires des slaves d'est; **Discussion sur le dictionnaire étymologique russe de M. Vasmer:** V. N. Toporov (Moscou). Les bases théorétiques de l'analyse étymologique; O. N. Trubačev (Moscou). Sur le dictionnaire étymologique de la langue russe; **Matériaux et notices:** Jan Stanislav (Bratislave). De l'histoire de la langue slovaque; R. M. Frumkina (Moscou). La structure statistique du vocabulaire de Puškin; I. I. Revzin (Moscou). Oppositions fortes et faibles dans le système des cas allemands; E. A. Krašenninikova (Moscou). La modalité irréelle en allemand; K. I. Bachman (Tartu). Sur le problème des moyens grammaticaux en esthonien; D. M. Nasilov (Samarkand). Sur les formes périphrastiques dans les langues turques anciennes; M. S. Širaliiev (Baku). Sur l'étymologie des formes des adverbes verbaux en *-убан, -убэн, -убан, -убэн*; **Linguistique appliquée et mathématique:** Z. M. Volockaja (Moscou). L'établissement des relations dérivatives entre les mots (essai d'une analyse transformationnelle); **Critique et bibliographie; Vie scientifique:** Plans de travail des savants; Chronique; A. A. Zvonov (Moscou). Les premiers résultats de traduction mécanique russe-chinoise; L. A. Pokrovskaja (Moscou). Sur le développement de la langue littéraire gaghaouz; A. S. Amantžolov (Alma-Ata). Sur la langue des gaghaouz en Kazakhstan; N. Radžabov (Samarkand). Sur l'étude des dialectes ouzbeks; Éditions nouvelles.

CONTENTS

Articles: A. S. Mel'ničuk (Kiev). Traces of explosive laryngeal in the Indo-European languages; E. Peruzzi (Florence). Structure and language of the Minoan tablets; **Discussions:** A. N. Gvozdev. On the sound-composition of morphemes; On the formation of East-Slavonic national literary languages; **Discussion of M. Vasmer's Russian etymological dictionary:** V. N. Toporov (Moscow). Some theoretical bases of the etymological analysis; O. N. Trubačev (Moscow). On the etymological dictionary of the Russian language; **Materials and notes:** Jan Stanislav (Bratislava). From the history of the Slovak language; R. M. Frumkina (Moscow). Statistical structure of Puškin's word-stock; I. I. Revzin (Moscow). On strong and weak oppositions in the German case-system; E. A. Krašenninikova (Moscow). Irreal modality in German; K. I. Bachman (Tartu). On the problem of grammatical means in Estonian; D. M. Nasilov (Samarkand). On periphrastic forms in the Old Turkish languages; M. S. Širaliiev (Baku). On the etymology of verbal-adverb forms in *-убан, -убэн, -убан, -убэн*; **Applied and mathematical linguistics:** Z. M. Volockaja (Moscow). The establishment of derivative relations between words (an experiment in transformation analysis); **Critics and bibliography; Scientific life:** Working plans of scientists; Chronicle; A. A. Zvonov (Moscow). First results of machine translation from Russian into Chinese; L. A. Pokrovskaja (Moscow). On the development of the Gaghaouz literary language; A. S. Amantžolov (Alma-Ata). On the language of the Gaghaouz in Kazakhstan; N. Radžabov (Samarkand). On the study of Uzbek dialects; New editions.



Технический редактор Р. Л. Костюковская

Т- 07108 Подписано к печати 31. V. 1960 г. Тираж 5575 экз. Заказ 313
Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Гум. л. 5 Печ. л. 13,70 Уч.-изд. л. 17

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

РЕДАКЦИЯ

О. С. Алмазова, И. А. Басханов, И. И. Бондаренко, В. И. Бондаренко (главный редактор)

В. М. Жирмунский (зам. главного редактора) *И. Ефимов,*
И. И. Конрад (зам. главного редактора) *В. Г. Гурьев, Г. Д. Санжеев,*
Б. А. Серебrennikov, Н. И. Тютюнник (оформитель редакция),
А. С. Чикобава, Н. Ю. Щедрина

Адрес редакции: Москва, К—31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55